



# Бельские просторы

Учредитель  
Правительство  
Республики  
Башкортостан

Соучредитель  
Союз писателей  
Республики  
Башкортостан

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с декабря 1998

## В номере

№ 1 (122) Январь, 2009г.

### КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Юрий Горюхин. ПОКОЯ НЕ БУДЕТ ..... 3

### ПРОЗА

Сергей Литвинов. ПИСЬМА К ПЛЕМЯННИЦЕ ..... 10

Казбек Исмагилов. МЕМУАРЫ БЕЗ МАКИЯЖА ..... 38

Сергей Матюшин. ПРОТОТИП. *Рассказ* ..... 59

Уильям Фолкнер. ПРИЛОЖЕНИЕ К РОМАНУ «ШУМ И ЯРОСТЬ».

*Перевод с английского Диляры Гариповой.* ..... 84

### ПОЭЗИЯ

Анатолий Яковлев. ОТТУДА, ГДЕ КРАСНЫЙ ЛЕД... ..... 4

Вячеслав Сиваков. ПО ДЕЛАМ И ВЕРЕ... ..... 32

Гильман Ишкинин. ОТВЕТ ПТИЦЫ ..... 56

Галарина. ОТНОСИТЕЛЬНО ИЗВЕСТНАЯ БЕЗДНА. .... 77

Михаил Богуславский. МЕНЯЕТСЯ ЖИЗНЬ ..... 96

### ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Ренат Беккин. НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ ПЕТРА ПОЛЕЖАЕВА. .... 102

Лев Усыскин. ПОЗДНИЙ БАБЕЛЬ. ОПЫТ ПРОЧТЕНИЯ. .... 110

### КУЛЬТУРА

Александр Гарбуз. «САРЫ БИЯ»: НОСТАЛЬГИЯ ПО ЦЕЛЬНОСТИ ..... 124

### ПОЛЕМИКА

Андрей Рудалев. ЗАЧЕМ НАМ НУЖНЫ ЭТИ ПАРТИИ? БЕГЛЫЙ ВЗГЛЯД ДИЛЕТАНТА. .... 131

Владимир Савичев. КОМУ МЫ НУЖНЫ ..... 135

### ПУБЛИЦИСТИКА

Аркадий Злочевский. НАМ ОСТАЛОСЬ ПЯТЬ ЛЕТ ВОЙНЫ. .... 139

Вячеслав Кузнецов. ВКУС К ЖИЗНИ ..... 146

Татьяна Семенюк. ЕВДОШКИН ДЕНЬ ..... 150

Зыфар Хакимов. ВОСПИТАНИЕ – ЭТО ОБОЮДНЫЙ ПРОЦЕСС. .... 154

### КРУГ ЧТЕНИЯ

Кирилл Анкудинов. ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ ..... 156

### ДЕТЕКТИВ. ФАНТАСТИКА. ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Николай Андреев. Я – ЯСОН ..... 160

### ЮМОР

Виктор Уразбаев. ИСТОРИИ ПРО МУСЬКУ ..... 185

### ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Мустай Карим. ПЕТУШИНАЯ МЕЛЬНИЦА. *Маленькая сказочная повесть* ..... 188

### КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

БЕЛЫЙ ФОНТАН. *Итоги конкурса поэтического перевода* ..... 200

ЛИТЕРАТУРА. КУЛЬТУРА. ИМЕНА. .... 207

Уфа.

Редакция журнала «Бельские просторы»

2009

---

Главный редактор

**Горюхин Ю. А.**

Редакционная коллегия:

**Баимов Р. Н., Бикбаев Р. Т., Игнатенко С. В., Карпухин И. Е., Лукманов Р. Р., Паль Р. В., Сулейманов А. М., Фенин А. Л., Филиппов А. П., Фролов И. А., Хрулев В. И., Чарковский В. В., Чураева С. Р., Шафиков Г. Г.**

**Редакция**

**Приемная**

Иванова Н. Н. (347) 277-79-76 (факс)

**Главный бухгалтер**

Давлетшина М. А. (347) 277-79-76

**Заместители главного редактора**

Чарковский В. В. (347) 223-64-01

Чураева С. Р. (347) 292-77-61

**Ответственный секретарь**

Фролов И. А. (347) 223-91-69

**Отдел поэзии**

Грахов Н. Л. (347) 223-91-69

**Отдел прозы**

Фаттахутдинова М. С. (347) 223-91-69

**Отдел публицистики**

Чечуха А. Л. (347) 223-64-01

Семенюк Т. В. (347) 292-77-61

**Технический редактор**

Калимова Р. С. (347) 223-91-69

**Корректоры**

Казимова Т. А.

Симонов А. А.

**Выпускающий редактор**

Чураева С. Р.

Подписной индекс 50751.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации № 792, выданное

Министерством печати и массовой информации РБ 26 декабря 1998 года.

Подписано в печать 31.12.08 г.

Формат бумаги 70x100/16. Бумага офсетная.

Гарнитуры «FreeSet», «Петербург».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,9.

Уч.-изд. л. 19,59. Тираж 2600 экз.

Заказ № 2.0003.09 Цена договорная.

**Адрес редакции:**

450001, РБ, г. Уфа, пр. Октября, 2

E-mail: bp2002@inbox.ru

<http://www.hrono.ru/proekty/belsk/>

Отпечатано с готовых файлов на ГУП РБ «Уфимский полиграфкомбинат».

450001, РБ, г. Уфа, пр. Октября, 2

Телефон (347) 223-97-00

*Мнение редакции не всегда*

*совпадает с точкой зрения*

*того или иного автора.*

*При перепечатывании материалов*

*ссылка на «Бельские просторы» обязательна.*

*Рукописи не рецензируются*

*и не возвращаются, принимаются*

*только в напечатанном виде.*

*Электронная версия ускорит обработку рукописи.*

# ПОКОЯ НЕ БУДЕТ

Нет на бельских просторах покоя. Только, казалось, вернулись мы из годовой «кругосветки», а пора опять поднимать паруса и отправляться в новое плавание. И за кормой уже десять таких «экспедиций». «Подумаешь», – пожмет плечами многоопытный читатель и будет не прав, потому что десять лет – это тот самый период, за который социум предполагает сделать из маленького беспомощного человечка готовую к взрослой жизни личность.

Стал ли журнал такой личностью? Хочется громко и пафосно сказать, что стал, но внутренний главный редактор уже морщится: «Как-то все не о том». Действительно, журнал не подросток, которому необходимо самоутвердиться и непременно что-то доказать окружающим. Журнал – это транслятор существующей культурной ситуации, зеркало для писателей и читателей, то есть для героев по нынешним временам. И в этом отражении действительности нет случайности. Поэтому создавали журнал именно те, кто в тот момент олицетворял литературный процесс, и закономерно, что тогдашние начинающие авторы «Бельских просторов» через десять лет пришли на смену старшим товарищам, и таким же закономерным будет процесс прихода следующего поколения созидателей. Но кто бы ни стоял у штурвала и как бы замысловато не определял свою концепцию издания, все сведется к простому принципу: «Талантливый автор – хороший журнал». И общеизвестно, чем проще сформулирована задача, тем сложнее ее решить. Претворить замыслы в жизнь может помешать что угодно, и кризис, и доброжелательные коллеги, и просто безвременье, когда, сколько ни лови своим «зеркалом» солнечных зайчиков, кроме рыбьих глаз, ничего не поймаешь.

Нам, сегодняшним, повезло, мы ощутили состояние культуры нашего южноуральского пространства, мы видим людей, которые могут воплотить это состояние в слово, мы почувствовали, что наши инициативы не растворяются в воздухе. Пусть не всем мы понятны, не все принимают то, что мы делаем. Нас это не пугает, будем продолжать собирать все культурные силы Республики вокруг журнала, проводить круглые столы, превращать своими конкурсами читателей в писателей, чествовать победителей и утешать проигравших так, чтобы они осознавали свою культурную миссию.

Движение не остановить, литературную жизнь не прервать, по крайней мере в ближайшее время. Своей цели – донести миру уникальную ситуацию, когда в предгорьях Урала сошлись, проникли, дополнили друг друга культуры самых разных народов, – мы достигнем. Людям необходимо знать, что столкновение Европы и Азии не только вздыбило землю в горный хребет, ставший колыбелью многих цивилизаций, но и сейчас здесь, возможно, зреют новое искусство, литература, философия, синтезирующие духовную жизнь проживающих вместе наций.

Нет на бельских просторах покоя. И уверяю: пока наши паруса наполнены ветром, покоя не будет.



колонка редактора

## Оттуда, где красный лед...

---



\* \* \*

Когда-нибудь в небе рваном,  
Оттуда, где красный лед,  
Придет караван с шафраном,  
К тебе караван придет.

И клены порежут кроны  
О бритвенную синеву,  
И станет закат зеленый –  
Отчаянно наяву...

И рухнет с плечей рутина,  
Что вынесли на веку,  
И блудная Русь, как льдина,  
Прибьется к материку...

А что до ответа где-то  
На смертном, читай, одре,  
То кровь не имеет цвета,  
Когда она на заре.

Мне это сказал священник,  
Мне это сказал судья,  
Мне это сказали тени,  
Которыми падал я,

Прибой мировой и ветер,  
Что берег мой истончил.  
А больше никто на свете  
Мне это не говорил.

### НА ТРАКТЕ

На тракте от деревни в полумиле,  
тождественные горю от ума,  
олигофрены бабочку ловили,  
похожую на марку от письма.

А бабочка красиво пролетала  
между ладоней, хлопающих в такт, –  
а бабочка курсивом трепетала  
в конце строфы *пересекая тракт*.

Она звала их прямо в сверхземное,  
она была как на глазу бельмо.  
Но что-то до мурашек основное  
до них не доходило, как письмо.

Они бежали вслед, олигофрены,  
но в бабочке, летящей направо,  
не видели трепещущей Вселенной!  
Я с ними был. Я был один из нас.

### Я ПРИДУ

Я приду к тебе с повинной  
по душе – не по уму,  
потому что ночи длинной  
не прожить мне одному.

А в окно стучат рябины,  
будто гости под хмельком,  
окаянные рябины  
деревянным кулаком.

Я приду к тебе с повинной,  
будто ливень в вертоград, –  
за разлуку ночью длинной  
я хочу быть виноват.

Я хочу, себя изранив,  
душу выплеснуть рекой –  
в бурю горькую в стакане  
угодил я головой.

И декабрь с половиной  
без вины иду ко дну.  
Ты пусти меня с повинной,  
ты мне выдумай вину!..

### УСТЬЕ

волга впадает в каспийское море – как впрочем все реки  
в мировой океан впадают обе Америки  
дух и сын воскресли на грех в человеке –

так говорит всевышний  
сам-третий. лишний?

белое солнце пустыни впадает в белое небо  
белая река лета впадает в моря хлеба  
медведи белой зимой впадают в спячку  
белые люди впадают в белую горячку  
влюбленные белой ночью впадают в детство –  
так говорят индейцы  
вращая каменный небосвод  
но знают – наоборот.

ты говоришь:  
белая река впадает в каму –  
а думаешь:  
в кому –  
подобно белому кому  
снега – остыв на выдохе года  
века  
сроду воды впадают в природу.

а то, что тела впадают одно в другое?  
а то, что в одной воде мы одной ногою?  
ты говоришь: в реки не входят дважды.  
но если такая жажда...

одна нагота у нас – одно на двоих устье  
из одних уст лета пьет наши тени  
сердце само угадает путь  
к месту впадения.

## **ДЕНЬ СЕДЬМОЙ**

На границу трех миров –  
Пашни, облака и леса –  
Вышел плотник Топоров  
Из астрального подъезда.

О, окраинный подъезд,  
Пребывающий в столетях,  
Что приходят после третьей  
Тем, кто третью не заест!

Выбрал плотник Топоров  
Из волос колочки терна –  
Озаренья ждал, наверно,  
Терпеливый Топоров.

А потом, как метроном,  
Ухватив за хвост мгновенье,  
Он ударил топором,  
Будто Карло по поленью.

И взошли мы, как цветы,  
По его топорной воле,  
Потому что я и ты –  
Только призраки, не боле.

Только признаки воды  
На всемирной карте суши –  
Непохожие, как Пушкин,  
На тревоги суеты.

### **ПАРАШЮТИСТ**

За плечо заброшу ангела-хранителя,  
обескривленный на взлетной полосе.  
До чего ты, жизнь, бываешь удивитель, на.  
Если жить не удлинительно, как все.

Улыбнусь зениту с точки заземления.  
Ток пуцу светилу на восток...  
Лепестроки шепчутся в растениях.  
Луг слезится. И уместен Бог.

\* \* \*

В лесах начались соловьи –  
По щучьему, что ли, велению –  
Прологами к стихотворенью  
В лесах начались соловьи.

Как пух от земли до земли  
Летит тополиный в июле –  
На горькие губы твои  
Упали мои поцелуи.

Тому, чья настала весна,  
Молчанье пристало едва ли.  
А прежде была тишина.  
И нас соловьями не звали...

\* \* \*

зачем мне соловей в золотой клетке?  
заведу я себе серебряную пулю.

тоже свистит и тоже летает.  
буду слушать, как поет пуля.  
буду показывать пулю любимой.

зачем мне пуля в золотой клетке?  
отпущу я пулю на вольную волю.  
пусть летит, все равно вернется.  
найдет меня благодарная пуля.  
судмедэксперт будет показывать ее любимой.

### CREDO

Хорошо в трехмерной лодке –  
С небольшим стаканом водки,  
С небольшим окурком «Примы» –  
Берегов красивых мимо.

Не любить, не ошибаться –  
Плыть да плыть, да ухмыляться –  
Простирать в седой простор  
Свой широкий кругозор.

\* \* \*

Отдай швартовы, старина,  
ковчег опять сошел со стапеля,  
и тварей бессловесных штабели  
рассажены по именам.

Струятся воды наудачу,  
и ты, добросердечный Ной,  
стоишь на палубе враскачку  
с добросердечною женой.

А ночь черна, как на пожаре.  
Сверхновый пишется Завет.  
И каждой твари есть по паре,  
и каждой сволочи – билет...

\* \* \*

Есть территории, где обитают  
Люди – как отражение нас:  
Они так же плавают и летают  
И тот же вдыхают инертный газ.

С теми же жабрами и плавниками,  
Теми же крыльями за спиной,



Теми же плачущими очами  
И обжигающей душой.

Им тоже больно, что падают листья,  
Им так же верится в чудеса...

И говорят, они пишут письма  
Нам – но путают адреса

\* \* \*

Заблудилось счастье на земле,  
что присуще смертным от начала –  
чтобы пища булькала в котле,  
чтобы рядом женщина молчала,

чтобы небо капало в угли  
дождиком незванным на пороге,  
чтобы ночь бежала от земли  
прочь по млечной каменной дороге,

чтобы вдаль не ввинчивались мы  
на ветру, как бешеная лопасть...

Чтобы накрепко обжитый мир  
не свернулся в бесконечный глобус.

\* \* \*

В последний день Помпеи свет  
сменился тьмой по праву – ибо  
упал в оттиснутые кипы  
помпейских утренних газет.

И о политике и деньгах,  
что суть одно – как ни скажи,  
достойно рассуждали в термах  
достопочтенные мужи.

А там, где падала вода,  
зубцами мельница стучала,  
и время в ней – и не случайно –  
не торопилось никуда.

С поклажей дельной шел осел.  
Ему вертели уши дети.  
Напоминало о бессмертье  
в последний день Помпеи – все.

# Письма к племяннице



## Письмо первое

Родились мы с Костей, твоим отцом, в Сибири, на реке Иртыш, в деревне Карташево Большереченского района Омской области. Это километров двести по Иртышу от Омска и недалеко, пятьдесят-шестьдесят километров, от города Тара. Он родился в 1927 году, а я в 1925-м.

У матери нас было четверо: первенец Ваня, который умер младенцем, я, Костя и сестренка Галинка (она обгорела и умерла на Алдане — я потом напишу об этом отдельно).

Фамилия наша (по легенде) якобы происходит от литовцев, которые еще с Ермаком пришли в Сибирь (они были обозными) и осели по берегам Иртыша. Такова легенда, так мне рассказывал и отец. Наверное, в этой легенде есть что-то от правды, потому что

полдервни носили фамилии Литвины, Литвиновы, Литовы... но никаких документов и свидетельств нет.

У матери нашей фамилия Пермякова — говорили, что их корни как-то связаны с Пермской областью, и Пермяковых в деревне было тоже много. Скорей всего, дикий Иртыш заселяли крепостные беглые крестьяне, и об этом я тоже слышал от отца. Так что наши с Костей корни и гены славянские, сибирские и крестьянские.

Наш с Костей прадед по отцу, Литвинов Игнатий, по словам матери, был привезен в деревню ребенком не то из Польши, не то из Литвы. В деревне его звали Поляком. Опять же по легенде, он был очень здоров и на спор с мужиками вывез чан (а это три бочки воды) с Иртыша по крутояру. У него горлом пошла кровь, и он умер.

Наш с Костей дед по отцу был в деревне пимокатом и сапожником. Он был высок, здоров, грамотен и умен. Мать говорила, что он был очень скупым, а отец — что был рачительным хозяином. Был дважды женат и умер на 78-м году жизни, как мать говорила, «от живота».

Наша с Костей бабка по отцу, Ольга Павловна (девичью фамилию мать забыла), была русская, одна дочь у зажиточных крестьян. Дед вошел в их семью. Была она неграмотная, низкая ростом и очень толстая. К концу жизни тронулась умом и умерла много раньше деда. Дед женился второй раз, на молодой. Вот ту старушку мы хорошо с Костей запомнили; это было, когда мы вернулись в деревню с Алдана (мне было 12–13 лет). Она жила напротив дома деда в старой и маленькой избе. Меня почему-то очень привечала и выделяла, всегда угощала холодным молоком и теплым калачом хлеба. В избе у нее было очень чисто и уютно от множества икон и лампадок. Меня неудержимо тянуло к иконам, и, когда я их хотел поближе рас-

Литвинов Сергей Александрович (1925–2003) — художник. Родился в с. Карташево Большереченского района Омской области. С 1948 г. жил в Уфе. Работал архитектором в филиале НИИ «Простройпроект». В 1964–1987 работал в БТПК. Член Союза художников России, заслуженный художник РБ.

смотреть, она тихо сердилась и отстраняла меня. Она была какой-то очень чистой, тихой и аккуратной, в белом платочке, почти ничего не говорила, а только гладила иссохшей рукой мою голову. Мне тогда казалось, что она хочет рассказать мне что-то важное и тайное, но почему-то не решается. И сейчас еще это светлое детское воспоминание вызывает в моей душе теплое чувство и сожаление о чем-то неразгаданном и потерянном навсегда.

О нашем с Костей деду по матери, Егоре Пермякове, я ничего почти не знаю. Мать говорила, что он был рискованным, скандальным и суторным мужиком. Звала она его «тятей» и вспоминала с теплотой. Похоже, что он ее любил и баловал. Умер он в старости от чахотки.

Семья у них была большая и бедная. Мать с детства батрачила по чужим людям. В семье было четыре брата и три сестры. Старший, Иван, умер в тюрьме. Павел, Андрей и Егор довольно молодыми умерли от туберкулеза. Сохранились их фотографии: парни бравые и смотрят независимо. Мать рассказывала, что они часто дрались с парнями в деревне, и тогда дед кричал: «Машка, беги разнимай, наши опять дерутся! У, проклятые, опять рубахи рвут, и где я столько напасусь рубах?!» Почему-то они ее слушались.

В моей памяти остался младший, Егор: он нянчился и ухаживал за нами, он жил в нашей семье, звали мы его дядей Гошей. Мне он тогда казался большим, добрым и красивым. Когда мы вернулись с Алдана, то первое время жили в его семье. Он был обречен и знал об этом (последняя стадия чахотки). Запомнился мне высоким, худым, немножко сутулым и все время кашляющим. Отличался от всех каким-то достоинством и сдержанностью. Он действительно был красив: высокий лоб, русые волосы, умные серо-голубые глаза, прямой нос и воспаленные губы на восковом лице. Мы с Костей любили нашего дядю Гошу. Он все нам прощал и не давал матери нас лупить.

## Письмо второе

Дорогая Лариса, я обещал тебе продолжение своих воспоминаний. Кое-что вспоминаю, но очень отрывочно. Иногда вспоминается кусок пережитого до боли в сердце, но вот откуда он и какой части жизни принадлежал, уж не можешь вспомнить. Поэтому, дорогая моя, мои записи будут отрывочными и непоследовательными, и, наверное, не очень литературными. Но они мои и принадлежат нашей с Костей прожитой жизни.

Итак, еще о нашем с Костей деду, Егоре Фроловиче Пермякове. Он был дважды женат. Первая жена, Евгения Макаровна, умерла молодой. Вторая, Ольга Ивановна, батрачила у лавочника и была неграмотной, но трудолюбивой и мастерицей на все руки. Дед был на Дальнем Востоке, на приисках, как он туда попал — не знаю, но слышал, что его мобилизовали колчаковцы, когда проходили через нашу деревню, и он там остался. В то время это тщательно скрывали и об этом не говорили — боялись. Я только точно знаю, что через нашу деревню проходили колчаковцы, были бои, деревню брали то красные, то белые.

Когда мы приехали в деревню, там еще сохранились окопы вдоль Артынского бора. Мы с пацанами искали в них старые гильзы. С востока дед вернулся «богатым», с деньгами, семья обзавелась хозяйством: купили дом, завели скотину, стали прилично жить. От первого брака у деда были две дочери: Ефимья и Татьяна. Татьяна вышла замуж за корейца и уехала в Китай. Ефимья же жила с отцом и фактически была нянькой всей большой семье. От второй жены, Ольги Ивановны, — все остальные:

Проксинья — старшая, Тимофей, Марфа — наша с Костей мать, Павел, Иван, Егор — наш с Костей любимый дядя Гоша, и Андрей — я помню о нем только то, что мать звала его смешно — Андрияшкой, и он бывал у нас редко. Помню, что он был веселым и смешливым. Всегда, когда он у нас бывал, было весело и светло в избе.

А вот старшую, Ефимью, я хорошо запомнил, и вот по какому случаю. Когда мы вернулись с Алдана, она жила в другом селе, за Иртышом. Нам сказали, что семья их умирает с голоду. Мать плакала, и через несколько дней мы всей семьей, нагрузившись продуктами и гостинцами, переправились через Иртыш и пошли к ним в деревню. Я хорошо все помню. Деревня их стояла в пойме Иртыша. Мы шли через луга и поля, был август, было очень жарко. Убирали хлеба. Мать почти бежала, и мы с Костей очень устали. Деревня казалась пустой и мертвой, на улице не было ни души. Мать нашла их дом, мы зашли — в доме абсолютно ничего не было, только печка, стол, лавки и кровать с тряпьем. Мать страшно завывала. Мы с Костей вышли во двор, нас окружили дети и сказали нам, что уже послали за нашей сестренкой Василисой. Они с матерью работали на току. Мы ждали у ворот. И вот по улице бежит девочка, она падает, встает, мы с Костей побежали навстречу.

Боже мой! Перед нами — запыхавшаяся, худющая, почти прозрачная босая девочка с большими серыми глазами и в платье из мешка. Она смотрела на нас с Костей, разнаряженных и «жирных», с изумлением и страхом. Она сказала, что маму не отпустил бригадир. Отец покрыл всех матом, вырвал кол из плетня и пошел на ток. Вскоре он пришел с изможденной грязной старухой, очень похожей на нашу мать. Они с матерью завывали в два голоса...

Мы прожили у них недели две. Мать всех обшивала, убирала и кормила всю улицу. Отец съездил в райцентр Большеречье, привез несколько мешков муки, пшеница и других продуктов. В деревне действительно был голод. Ярче всего мне запомнились голодные дети и наша с Костей сестренка Василиса. Мать ее отмыла, сшила ей белье и платья, одела с ног до головы. А та немного отошла и стала очень красивой девочкой. Но насытиться никак не могла, все ела и плакала. Больше мы помочь ничем не могли.

Самое печальное было, когда мы уходили из деревни. Мне на всю жизнь запомнились глаза нашей Василисы: в них была такая смертельная тоска, что мы с Костей плакали, а у меня заходило сердце. Мы упрашивали мать взять ее с собой. Девочка была чем-то похожа на нашу Галинку, которую мы схоронили на Алдане, но мать была против, хотя отец и Ефимья были согласны и у нас в то время была такая возможность. Но в семье главенствовала мать: как она сказала, так и будет. Потом мать всю жизнь каялась в своем поступке, ей в нашей семье не хватало девочки. А я уже не мог никогда простить ей этот грех. Я, помню, даже заболел от пережитого. И, наверное, с того дня между мной и матерью легло отчуждение. А они так и сгнули в той деревне.

Еще были два брата: младшего звали Леней, а старшего Колей, но я совершенно о них ничего не помню, и какова их судьба — не знаю.

Дорогая Лариса, у нас с Костей от восьми братьев и четырех сестер отца и матери была уйма родственников. Мать говорила, что несколько десятков. Но, к сожалению, все родственные связи были утеряны. Это, наверное, потому, что мы с Костей на своей родине практически не жили и прошел почти век страшного времени. Да и мать с отцом почему-то не очень стремились поддерживать родственные связи, а я просто не понимал и не осознавал ценностей этих связей для жизни человека. Вот и прожил жизнь «Иваном, не помнящим родства».

Ну а теперь мне хочется написать о нашей с Костей деревне, что еще сохранилось в памяти.

Деревня наша стояла (думаю, что еще стоит) на правом крутом берегу, где Иртыш делает большую петлю и снова подходит к ней, но уже с другой стороны. Место наши предки выбрали красивейшее. Высокий песчаный крутояр постепенно переходит в низкий берег — место, где река меняется берегами. С крутояра открывались бескрайние просторы Сибирской равнины и голубые дали долины Иртыша. Мне очень близки слова из песни «На диком бреге Иртыша» — это любимая песня отца. Кстати, недалеко от нашей деревни и была битва Ермака со степняками. Другая сторона деревни почти вплотную подходила к Артынскому бору, а он уходил на сотню километров в урман. Сразу за поскотиной стояли вековые сосны, а весь крутой берег Иртыша зарос красным боярышником. Низкий берег был покрыт роскошными заливными лугами и полями, которые постепенно переходили в равнину, украшенную белыми березовыми колками.

Ну и, конечно, сам Иртыш, в то время полноводный, могучий и красивый, особенно в весенних разливах и ледоходах. Я помню, когда мне было пять-шесть лет, с каким восторгом и страхом мы, ребяташки, смотрели с крутояра на это буйство воды и льда.

Наша улица начиналась с дороги в райцентр Большеречье, с низины и лугов, где были расположены хоздворы и огороды. Она выходила на обрыв крутояра и заканчивалась белой церковью. Сибирские дворы были большими, с множеством хозяйственных построек. Дома стояли крепкие, из вековых сосен, и мне они тогда казались красивыми и таинственными, с белыми резными наличниками и обязательно с палисадом, в котором росли черемуха, рябина и боярка. С нашей же улицы был съезд по крутояру к Иртышу, где была пристань. Место это притягивало всю ребятню деревни как магнитом. Особенно когда приходили пароходы. Мне они тогда казались белыми лебедями из сказок, и я никак не мог понять — живые они или нет. Они были так красивы и чисты по сравнению с нашей серой избой и с нашей убогостью, что я верил в то, что они там где-то могут превращаться в белые облака и плавать по небу. А когда они уходили с пристани, мы долго бежали по обрыву и махали им руками, и велика была наша радость, когда капитан, забавы ради, отвечал нам гудком парохода. Такой в моей памяти осталась наша с Костей деревня Карташево.

Конечно, тогда я еще ничего этого не осознавал, но детским сердечком уже чувствовал великую красоту матушки-Сибири.

Я хорошо помню те теплые щемящие чувства, которые охватывали мою детскую душу, и тот восторг, от которого хотелось плакать, не знаю почему. Для меня с тех пор уж нет на земле места красивей и милей, чем наша с Костей деревня Карташево. А вообще-то, как я сейчас понимаю, в то время это была обыкновенная глухая деревня, затерянная в бескрайних просторах Сибири и почти не тронутая культурой. Но она для нас была первородной, она нам и открыла мир нашей с Костей жизни.

### Письмо третье

Теперь записи по линии нашего с Костей отца.

Братья отца.

Старший, Михаил, мамин крестный, говорят, был грамотным и верующим человеком. При дележе имущества остался в отцовском доме. Считался зажиточным крестьянином, был раскулачен и сослан вместе с семьей за Болота — так у нас называли низовья Иртыша. Говорили, что эти места абсолютно гиблые. Там он и погиб, семья вернулась после его смерти в деревню. Больше я о нем ничего не знаю.

Средний, Тимофей, был неграмотным, но, как говорил отец, истовым крестьяни-

ном и работал наравне с лошадыю; был женат на хохлушке Фелене Красавниковой. Я его чуть помню, и почему-то в синей сатиновой рубашке, с небольшой с проседью бородой и усами. Он был угрюмым, большеносым и каким-то лохматым, кряжистым сибирским мужиком. У него были огромные и шершавые руки. Я боялся его, но глаза у него были, как у отца, голубые, добрые и детские. Когда он к нам приходил, то всегда молча брал нас с Костей на руки и по очереди подкидывал к потолку, а потом ловил. Такая у него была ласка. Мать ругалась, и было страшно — мы визжали от страха. К сожалению, я о нем больше ничего не помню.

Сестра Домна страдала врожденной ограниченностью ума. Была замужем за вдовцом (вышла на четверых детей). Умерла «от головы» на 32-м году жизни. Я о ней ничего не помню, но мать говорила, что она была очень красива, «не в родного отца».

Ну и наш с Костей отец, Александр Иванович, ваш дед — он был самый младший в семье.

Писать об отце сложно, ведь я его пережил почти на сорок лет, и у меня в памяти осталось только прожитое вместе с ним детство. И притом я очень любил отца. Но в своих записях постараюсь быть как можно объективнее.

Среди сибирских мужиков он особенно ничем не отличался, был как все. Он не был красив, роста среднего, не суетливый (в отличие от матери), спокойный и деловитый. Я его помню все время в работе. У него были темно-русые волосы, голубые детские глаза и большой с горбинкой нос. Он всю жизнь страдал экземой, поэтому его лицо часто было покрыто коростой, и он мучался, особенно летом. Был внешне каким-то нескладным и незаметным. У него были большие и сильные руки крестьянина. Но когда мы мылись в бане, я всегда любовался его телом: он был жилистый и скручен как из веревок. Характером мягкий и добрый, он обладал природным умом и мужицкой смекалкой. В быту был молчуном, может, потому, что очень много говорила мать. Она и главенствовала в семье. Отец ее называл Марусей. Иногда от него на весь крик матери можно было услышать: «Ну перестань, Маруся» — и все. А сам в это время подмигивал и улыбался. Но мать отлично знала, что какую-то грань здесь переходить нельзя. Отец мог долго терпеть несправедливость и оставаться внешне спокойным, но до определенной черты. Потом взрывался, становился белым и неменяемым. В эти моменты он был страшен и мог убить.

Вот два случая.

При разделе имущества нам достался ленивый белый мерин. Эту лошадь я чуть помню. Так вот, он долго мучался с ним, и в конце концов мерин вывел его из себя. В бешенстве отец оглоблей убил его. Семья осталась безлошадной.

На Алдане я видел, как дрались мужики, там это часто бывало, но отца в драке я видел только один раз: это действительно было страшно. У него в руках был пест, и он этим чугунным пестом крушил всех и вся вокруг себя. Его могли свалить и связать только несколько здоровых мужиков.

Таков бывал он в гневе, но это бывало очень и очень редко. Как я сейчас понимаю, все же он был от природы добрым и тихим человеком, духовно богатой и светлой личностью, любил красоту жизни. Пожалуй, этим он и отличался от других мужиков. От природы он был также наделен голосом и слухом, прекрасно пел русские песни. Мать говорила, что начал петь еще мальчишкой, в церкви. Но пел он редко — жизнь была сурова. Чаще насвистывал или тихонько напевал за работой. В любой компании был всегда запевалой. Я с замиранием сердца слушал сильный, чистый и завораживающий голос. С ним нам всегда было уютно и интересно, от него исходила какая-то живая доброта и тепло жизни. Таким он остался в моей памяти. Был не очень грамотным (три класса приходской школы, и все), но любил читать и особенно писать.

Писал очень красиво: какая-то особая, Богом данная, каллиграфия. Писал письма всей деревне. Я помню, обычно это было вечером при лампе. Мы притихали, в том числе и мать: она боготворила его грамотность. Отец мыл руки и садился за чистый стол, долго пробовал перо и чернила. Напротив сидела какая-нибудь старушка и диктовала ему свои нехитрые послания. А он с каким-то самозабвением колдовал над буквами: он их как-то по-особому закручивал, и белый листок бумаги превращался в фиолетовый замысловатый и тонкий узор. Обычно после таких вечеров вся наша семья испытывала какое-то благоговение. Мне это хорошо запомнилось.

Дорогая Лариса, жизнь и образ отца никак не уместаются на листке бумаги, поэтому я буду писать тебе о нем довольно часто — ведь это наше с Костей начало жизни.

Жизнь в сибирской деревне в то время была совсем иной, абсолютно не похожей на наше время. В жизни крестьянина главенствовали природа и самое простое выживание — слабый умирал, сильный выживал. Деревня была лишена культуры. Если кто-то умел читать и писать, то пользовался уважением всей деревни. Про него говорили «грамотный», растягивая это слово и вкладывая в него особый смысл. И в то же время в России расцветала высочайшая культура. Я когда научился думать, то никак не мог понять: «Как же так, в одно и то же время — Толстой, мой малограмотный отец и совершенно темная мать».

Я запомнил, как яростно спорили мужики с отцом у нашего дома: «Может ли Земля быть круглой? Ведь тогда с нее все упадут», — так считали мужики. Я в первый раз не поверил отцу и был согласен с мужиками. Но, несмотря на темноту, и невежество, и почти средневековый быт сибирской деревни, эти люди обладали высочайшей нравственной культурой. Конечно, они были малограмотными, и наивными, и жили незатейливо, но в то же время красиво и духовно. Абсолютно чисты душой, здоровы телом, богаты умом и талантливы. Они были частью самой природы и жили по тысячелетнему укладу, по закону Бога и не хотели строить ни социализма, ни капитализма... Верой их было православие — отсюда, наверное, определенная гармония их жизни. По крайней мере, так жил наш отец. Наверное, и нам с Костей что-то досталось от той жизни. Сейчас мне кажется, что родились мы и жили как будто на другой планете под названием «Сибирь».

Еще мне хочется рассказать о нашей избе, где мы с Костей родились и где учились видеть и осознавать окружающий нас мир.

При дележе имущества нашему отцу досталось немного земли, старая, небольшая (в пять окон) изба, несколько коров и овец, какая-то утварь и тот белый мерин, о котором я уже упоминал. Я почему-то запомнил двухлемешный плуг, борону и телеги. Плуг запомнился, наверное, потому, что он был железный — блестящий (в деревне в то время было мало железа), борона же почему-то вызывала у меня страх. А телеги запомнились потому, что отец всегда что-нибудь привозил с поля интересное или вкусное: горох, грибы, ягоды или полевой шмелиный мед... Он говорил: «Ребятишки, вот вам зайцы гостинцы прислали» — и хитро подмигивал, и мы на эти телеги слетались как воробы.

Я помню нашу избу лет с пяти-шести. Как сейчас понимаю, жили мы очень и очень бедно. Но тогда мне казалось, что наша изба — верх совершенства, тепла и уюта.

Помню всех нас, троих детей, на большой и теплой печи. Мать внизу орудует ухватками и чугунами и ругается с чертями и домовыми, а мы сверху смотрим и ждем первых пирогов. Мать всегда совала их нам на печь. Изба начиналась большими сенями, в которых было много кладовок и стояли лари с зерном и мукой. Затем прихожая, увешанная одеждой — шубами и тулупами. Здесь всегда пахло овчиной. Посреди избы стояла большая рядная печь, она казалась мне тогда живой и таинственной.

Она делила избу пополам — на кухню и горницу. Печь всегда была побеленной и расписанной матерью в разные цвета и орнаменты. Мать это умела делать и расписывала все печи нашей деревни, особенно к праздникам, и, по-моему, делала это с удовольствием, и гордилась своим умением. Использовала она известь, желтую глину, сок клюквы, чернила. И у нее все выходило невероятно красиво и гармонично. Я поражался: она не задумываясь забеливала старый рисунок и мочальной кистью начинала сверху проводить какие-то полосы, линии и рисовать цветы. Сначала было ничего не понять, но потом, когда она раскрашивала плоскости, печь становилась удивительно красивой.

Я во все глаза глядел, как рождались цветные узоры под руками матери. По-моему, это были первые мои уроки живописи. В горнице стояла большая деревянная кровать с горой огромных подушек, спинки которой тоже были расписаны цветами. В углах было много икон и горели лампадки. Меня притягивали и завораживали лики святых, я боялся их, потому что мать говорила: «Боженька все видит, и если не будете слушаться, то вас накажет...» На окнах было много цветов, по стенам тянулись широкие лавки и стояли сундуки, окованные железом. В середине горницы был широкий стол с медным самоваром и п्याльцы: мать почти всегда стегала одеяла по заказу. Пол, стены, лавки были выскоблены до желтизны. Мать была чистюлей. А вот потолок обмазывались глиной и белились. От этого в избе было светло и просторно.

Зимой вся наша жизнь проходила на кухне, вокруг печки, а летом — в клетке — это что-то наподобие летней кухни, с лавками, столом и плитой. Там всегда было что-нибудь вкусное, и мы таскали у матери снедь. А есть мы хотели постоянно. Как я сейчас понимаю, семья недоела.

Еще я помню в нищей избе швейную машинку «Зингер». Мать шила по заказам до ночи. Помню, как сладко засыпал под стрекот этой машинки.

Вообще мать с отцом много работали и нас приучали с раннего детства к работе. Мне шел, наверное, шестой годик, а я уже оставался за «хозяина» дома и огромного двора с живностью и отвечал головой и задницей за сестренку и брата. Что не так — мать драла нещадно. Я помню, что во всем подражал отцу и так же ругался на кур и гусей, иногда матом. Тогда Костя говорил: «Вот скажу маме, будешь знать», но ни разу меня не выдал. Я кормил их кашей, жевал сестренке «жвачки», лазил в печь и погреб за молоком. Правда, погреба я боялся, и для меня было самым трудным что-либо из него достать. Еще в мои обязанности входило нянчить сестренку и защищать брата от деревенских ребятишек. Костя рос очень болезненным ребенком — по-моему, он переболел всеми детскими болезнями. Я же рос довольно крепким и выносливым мальчишкой. Вообще-то мы с Костей детство прожили «шаг в шаг», «рубаха в рубашу» и «ложка в ложку».

Ну вот, наверное, и все, что осталось в моей памяти от нашей избы. Конечно, я здесь опускаю мух, тараканов, а иногда и вшей, и голод. Таково было наше с Костей начало. С этого гнезда мы и начали свое познание мира и нелегкий путь по жизни.

### Письмо четвертое

Дорогая Лариса, думаю, что тебе будет интересно узнать какие-то подробности из нашего с Костей детства. В моей памяти сохранились кусочки того далекого времени, и мне хочется рассказать тебе о них. Я про себя называю их «картинками». В какой последовательности и как они возникли в моей голове, я не знаю, но они живут во мне вот уже 70 лет, не стареют и дороги мне до слез, от них болит моя душа.

Нельзя сказать, что наше детство было счастливым и безоблачным, но и сожалеть,



наверное, ни о чем не стоит. Все было так, как угодно Богу и как распорядилась нами тогда наша судьба. Да и на свое детство, по-моему, редко кто жалуется, каким бы оно тяжелым ни было. Конечно, мы были лишены нормального воспитания, элементарной культуры, сносных средств к существованию, да и особой ласки и нежности в семье не было. Сейчас я бы сказал так: была какая-то необходимая, добрая суровость, которая помогала семье выживать, и было в нашем с Костей детстве что-то правильное, чистое и светлое. Наверное, сама матушка Природа растила нас, и мы росли вольно, как лопухи у дороги. Наверное, это было главным в нашем становлении.

Представь себе совершенно глухую сибирскую деревню, занесенную до крыш снегом и почти полностью оторванную от большой жизни. И в одной из изб живут два худеньких, полураздетых белобрысых существа. Они предоставлены сами себе, им холодно, и они все время хотят есть. Им тоскливо и страшно в этой промерзшей избе (наверное, с тех пор я не очень люблю зиму). Я помню нас с Костей в холщовых рубашках и штанах на одной лямке через плечо. Стрижены мы были «в рубчик», мать стригла нас ножницами, как овечек. По-моему, у нас не было обуви, кроме носков и чирочков (чирочки — это такие башмачки, сшитые из грубой шкуры). Помню, что даже по нужде мы бегали в сарай босыми.

Всю лютую зиму мы проводили у печки, на печке, а когда было немого, то залезали и в печку. Жили «за чувалом», как говорил отец. Для нас это было самое тяжелое, холодное и голодное время. Зимой мы были лишены воли и летнего раздолья, да и подножного корма тоже. И наши детские души сжимались в маленькие теплые комочки простого выживания. Мы были тихими и не капризными и почти совсем не плакали. Суровое детство рано делает детей самостоятельными. По-моему, мы с Костей и были такими.

В памяти остались зимние темные вечера. Когда родители приходили домой — топила печь, зажигалась лампа, мать что-то готовила, мы наедались досыта и согревались на горячей печи. Спать ложились рано, лампу тушили — экономили керосин. Мать долго молилась Богу, она все время о чем-то просила его. У меня в памяти остались лики на иконах, освещенные лампадками. От колебания лампадок лики шевелились и казались мне живыми и строгими. Этот угол с иконами был для меня таинственным и всесильным, я его побаивался.

Никаких сказок, и особой нежности, и никаких простыней мы с Костей не знали. Спали на печи или на полатах, прижавшись друг к другу и укрывшись шубами. Засыпали под шуршанье тараканов за печкой, скрип сверчка или вой ветра в трубе. Вставали тоже рано. Мать топила печь, отец управлялся со скотиной, и они уходили на работу. А мы оставались совершенно одни на целый день. В памяти от этих зимних дней осталась: холод, темнота и страх совсем замерзнуть в этой промерзшей избе.

Лариса, конечно, и у нас с Костей были светлые, сытые и теплые дни, да и простая необъяснимая детская радость жизни всегда была с нами. Были и праздники (а их зимой было много), были бани, посиделки, а иногда нас водили в церковь, и это всегда было празднично и красиво. А вообще, все наше детство было таким, как у всех деревенских детей того далекого уже времени...

Почему-то мне запомнились три наших основных зимних занятия: это оттаивание горячим утюгом в ледяных окнах дырочек, чтоб хоть одним глазком посмотреть на улицу, «война» с мышами и игра в бабки (бабки — это кости-фаланги из холодца). Это была наша основная игра — больше никаких игрушек не было. Бабки мать рисовывала чернилами, в них были кони, коровы, гуси и т.д., и они очень ценились у деревенских пацанов. Кстати, эта игра прекрасно описана у Солоухина.

Лариса, я пишу так подробно потому, что мне хочется обогатить и утвердить в вас светлую память о нашем Косте. И еще раз пережить наше детство. Пишу и

вспоминаю я, конечно, от себя, но дело в том, что я Костю никогда отдельно от себя и не воспринимал, особенно в детстве. Все, что происходило с ним, происходило и со мной, и наоборот. Так было.

Я думаю, что детская душа у нас с Костей была общая, одна на двоих. «Разделение» нашей души произошло, наверное, в юности. Но все равно ее родные половинки всегда подходили друг другу. Всегда!

Лариса, ну а теперь обещанные тебе «картинки» из нашего с Костей детства. Они никак хронологически не связаны, просто я их достаю из своей памяти и постараюсь рассказать вам.

Вот одна из самых ранних.

Мне, наверное, лет пять, я в поле, в шалаше, — родители в страду брали нас с собой. Где был в это время Костя, я не знаю. Мне жарко, я один, и мне страшно. Летают большие зеленые мухи, и больно кусаются слепни и оводы. Я реву во весь голос, вылезая из шалаша и иду искать мать. Сколько я шел и куда забрел — не знаю; кругом колючая стерня, которая больно колет мои босые ноги. Я помню, что плакать и кричать я уже не мог и, обессиленный страхом и слезами, уснул под каким-то кустом. Меня нашел отец уже вечером, в кровь искусанного гнусом и опухшего от слез. Потом мать рассказывала, что они искали меня полдня и я после этого долго не мог говорить. Но, наверное, с этого времени остались в моей памяти теплый запах земли, ржаного поля и вкус соленых слез. Да и свое вынужденное молчание я использовал во благо себе. Меня жалели, и мне было хорошо. По-моему, я долго скрывал, что уже могу говорить. Мне так было лучше.

А это «картинка» про мышей.

Я помню нашу избу в лютые сибирские морозы. Заледеневшие окна, по углам иней, холодно. Мы жмемся к теплой печке. Взрослых никого нет. Мы с Костей «воюем» с мышами. В избе их была тьма, прямо нашествие какое-то. Мы их боялись, наверное, потому, что их было много и они совершенно игнорировали нас. Мы с Костей набирали картошку, залезали на печь и оттуда «бомбили» их. Они на мгновение разбегались, а затем вновь соединялись в плотную шевелящуюся серую массу. Среди них были очень большие, с длиннющими хвостами, и почему-то белые мыши. Они кружили и кружили по полу, лазали по лавкам и столу, дрались из-за крошек хлеба и пищали. От них шел неприятный запах. Что я не могу понять, так это то, что рядом с нами на печке были и наши кошки, наверное, они тоже боялись мышей. И так было почти каждый день. Для нас с Костей это было что-то вроде современного телесериала. Мы смотрели на них часами. Мыши исчезали перед приходом родителей. Мы с Костей начинали взахлеб рассказывать им о нашей «войне» с мышами, а они нам не верили, считая все это детскими выдумками. Нам было обидно до слез. Наверное, с тех пор у меня на всю жизнь осталась неприязнь к мышам.

Конечно, я с большим удовольствием вспоминал бы другое детство, например книги, музыку, гувернанток, ну, на худой конец, просто бабушку, но ничего такого не было, а было то, о чем я тебе пишу...

Ну а эта «картинка» — про баню.

Мне очень хочется рассказать тебе о черной сибирской бане. Даже сейчас, при воспоминании о ней, мое тело и душа испытывают удовольствие и какое-то томление. Наша баня стояла в огороде, на склоне берега Иртыша, и от избы была довольно далеко. Баню обязательно топили каждую субботу — зимой и летом. Это был ритуал, которому мать с отцом следовали неукоснительно. Все заранее приготавлилось к субботе. В пятницу привозили чан воды с Иртыша. Готовили дрова, обязательно

березовые и сосновые, в предбанник натаскивали ржаную солому и хвою, готовили березовые веники и еще какие-то травы. Настроение у всех приподнятое, даже мать становилась добрее. Мы, предчувствуя блаженство, крутились здесь же. В пятницу ставилась большая квашня теста. В субботу мать стряпала хлеб, пироги и шаньги на всю неделю. В субботу нас не будили, и мы спали сколько хотели. Просыпались от дурманящего запаха свежеспеченного хлеба и пирогов. Эти субботние приготовления к жаркой бане и сытости были радостными и приятными — наверное, потому и запомнились до мелочей.

Баню топил отец, она была готова и прокалена только к вечеру, и мы всей семьей шли блаженствовать. Я помню это нетерпение, этот зуд — скорей раздеться и окунуться в блаженное тепло, в этот горячий пар с запахом лета, который обволакивает каждую клеточку тела, но он не сжигает, а после того как задохнешься и перетерпишь под веником, этот огонь разливается по телу неопишущим блаженством. Потом, взрослым, я это состояние называл «приближением души и тела к Богу».

Отец парился до неистовства, он стонал, вскрикивал, охал и охаживал себя веником до изнеможения, и все поддавал и поддавал пару. Мы не выдерживали и выбегали в предбанник, а он выходил на снег, катался в нем, а затем снова на полок и снова парился. В это время отец был как-то далек и отстранен от нас. В этом было что-то дремучее, сильное и языческое. Его останавливала только мать. Она ругалась и говорила, что так можно и умереть. Затем он остывал, пил боярышный квас, одевался и, завернув нас в шубу, уносил домой.

«Картинка» про налимов.

Рыбалка заключалась в том, что по первому льду мужики ходили по отмелям Иртыша с деревянными колотушками и, увидев налима на дне, били этими колотушками по льду. Оглушенная рыба всплывала кверху брюхом, и оставалось только быстро продолбить лед и выловить рыбку. Вот таким образом два мужика за день набивали целый воз-короб налимов.

Иртыш в то время был чист и полон рыбы. Он исправно кормил людей своими деликатесами (стерлядь, белорыбца), пока люди не загадили его.

И вот как-то раз в начале зимы отец с рыбалки привез целый короб мороженых налимов. Кстати, в то время в Сибири почему-то все измерялось возами, коробами, кадками и пудами... Бабы говорили меж собой: «Мой-то сегодня привез целый короб груздей (бочку ежевики, воз ягоды или рыбы)». Вот так измерялись дары природы в то время в Сибири.

Я помню, как мы с Костей этих налимов таскали в сенки. Мы брали одного налима за хвост и голову и волокли по снегу (они были величиной в наш рост), а отец, весь заиндевший и довольный, смеясь, помогал нам.

Ну а больше всего мне, конечно, запомнились блюда из налимов. Это горячая и холодная уха, жареный налим, пироги с налимом. А особенно я любил строганину из рыбы. Отец приносил чищеного налима с мороза и ножом тонко-тонко (стружкой) настругивал рыбу в блюдо, чуть подсаливал и посыпал все это мороженой брусничкой. И мы ели это блюдо с теплым ржаным хлебом. И нас с Костей за уши нельзя было оттащить от этого лакомства. У меня до сих пор это воспоминание, этот изумительный вкус строганины из налимов вызывает слюноотделение.

Про зимние посиделки.

Я помню сибирские зимние посиделки. Они проходили в деревне по очереди: первый день — в одной избе, второй — в другой, и так перебиралась вся улица, а потом начиналось все сначала. Посиделки были «холостыми» (это когда собиралась

молодежь с песнями и гармошкой) и «женатыми» — тогда ходили в гости с какой-нибудь работой замужние женщины. Они пряли, вязали, рукодельничали, пили чай и лугали семечки. Они беспрестанно говорили и пели песни. В основном на посиделках были женщины, но приходили и мужики. А они курили махорку, играли в карты и рассказывали разные страшные байки. Засиживались за полночь.

Я помню, что и у нас бывали эти зимние посиделки. Мать к ним тщательно готовилась: все мылось и скоблилось до блеска, пеклись пироги, и ставился большой двухведерный самовар. Нас с Костей тоже наряжали в новые рубашки и штаны. Мать очень боялась, как бы ее не осудили бабы за какой-нибудь промах. Нам с Костей оказывалось особое внимание. Нас гладили по головкам и нараспев говорили, какие мы «баские» (хорошие), и нас угощали разными сладостями.

Больше всего мне нравились разные рассказы (байки) и особенно песни. На наших посиделках много пел отец. Он пел один и вместе со всеми. Люди приходили специально его послушать. Песни были протяжными и грустными, они завораживали меня. И до сих пор русские народные песни щемят мне сердце детскими воспоминаниями. После спетой песни все долго сидели молча, некоторые бабы утирали слезы и крестились на иконы.

Я и сейчас представляю, как в этом огромном и безлюдном пространстве, в этой заснеженной сибирской пустыне вдруг ярко освещалась изба и начинала петь голосом отца. Со стороны, наверное, это было фантастично и поразительно красиво. Сейчас я думаю, что это действительно было символом духовности того времени. Наверное, в этих песнях и была вся русская душа сибирского крестьянина и его первородное духовное богатство.

Позже, слушая серьезную музыку, я почему-то всегда вспоминал наши сибирские посиделки с этими удивительными песнями. А по силе воздействия, я думаю, они не уступали вершинам классики. По крайней мере, у меня это осталось в памяти на всю жизнь.

«Картинка» про ягоду боярку.

В природе бывает так, что на Землю приходит какой-то особый благодатный день, он бывает светлым, божественно-ласковым и единственным. Его нельзя пропускать людям, его обязательно нужно видеть, иначе они будут обделены судьбой.

И давным-давно, вот именно в такой день мы всей семьей и поехали за ягодой бояркой. Отец запряг нашего ленивого мерина, поставил на телегу короб, усадил нас всех, и мы тронулись по крутому берегу Иртыша к зарослям боярышника.

Мне этот день запомнился до мелочей, по-моему, я в этот день первый раз испытал не осознанное еще чувство художника. Потом в жизни я испытывал его не раз, но это первое прозрение от красоты мира в моем детском сердце осталось навсегда.

Мы ехали по крутояру, над Иртышом стоял синий-синий день, осень уже зарумянила поля и лес, боярышник полыхал красными ягодами. Поля еще не убирались и буйствовали спелыми хлебами и цветами, а луга были еще совсем зелеными. День был хрустально-перламутровым, он тихо стоял на земле. Мы все молчали, замороженные каким-то особым состоянием природы, только тихонько позванивал колокольчик на дуге. И вдруг отец запел чистым сильным голосом, затянул раздольную русскую песню. И она разливалась над рекой и полями и уходила в небо. Песня завершала красоту дня, как будто только ее не хватало — этой благовести на Земле. Мать перекрестилась и сказала: «Господи, как хорошо-то!»

Остановились на поляне — кругом травы, цветы и красный боярышник... А ягоду боярку в то время руками не собирали. Отец (в рукавицах) топором срубал ягодные ветки, а мать носила и складывала их в короб. Обиралась ягода уже дома, вечерами,

в свободное время, и заготавливалась она на зиму возами.

В этот день у нас в семье был праздник. Мы носились по поляне, наедались ягод до оскомины и, исколотые и исцарапанные колючками боярышника, насытившись волей и раздольем, всю обратную дорогу сладко спали. Этот день в моей памяти остался как награда за наше нелегкое бытие.

Я думаю, что этот день должен помнить и Костя, если был бы жив.

### Письмо пятое

Дорогая Лариса, в 1931 году мы вынуждены были уехать из деревни Карташево, покинуть нашу с Костей родину. Такому повороту в нашей судьбе было несколько причин.

Во-первых, отец никак не хотел вступать в колхоз, а отсюда — давление, и преследование, и нищета нашей жизни. Во-вторых, отец понимал бесперспективность дальнейшей жизни в деревне, когда порушены основные устои крестьянства, а без них, говорил он, нет жизни на земле наших предков. Толчком же и основной причиной отъезда явилась трагедия, разыгравшаяся в деревне. Это случайное убийство маминим братом Иваном мальчика-соседа. Они жили как раз напротив нашей избы, через дорогу, и мы играли вместе. Кажется, его звали Петей, и прозвище у него было Петух, он был красно-рыжим мальчишкой и нашим с Костей ровесником. Я его хорошо помню. Так вот Иван подрался с его отцом и, забежав к нам в избу, схватил ружье, и, увидев напротив в окне соседа, выстрелил в него. На беду, у окна стоял Петя — заряд попал в ребенка и убил его наповал. Ивана забрали и посадили, он так и стигнул в тюрьме. Сосед же поклялся известить нас с Костей в отместку за смерть сына. Началось преследование: за нами буквально началась «охота». Нас прятала вся деревня. В семье поселился постоянный страх за нашу с Костей жизнь. Я помню, что мы жили какое-то время в погребе, потом в другой деревне и у чужих людей. Но так долго продолжаться не могло: надо было что-то решать, чтобы не разыгралась еще одна трагедия. И отец с матерью решили уехать из деревни.

И, по-моему, в конце лета 1931 года, все продав и раздав родне и соседям, мы собрались в дорогу. Провожала нас вся деревня. До Омска шел грузовой пароход с баржами зерна. Нас погрузили на одну из барж, и мы поплыли по воле судьбы в неизвестность.

С этих пор наша жизнь стала кочевой. Конечно, мы с Костей тогда еще ничего не понимали, но помню, что было тоскливо и страшно. На нас обрушился совершенно другой, не знакомый нам мир. Я помню, что всего боялся: грохота железной дороги, скопища людей, суеты города. Я не понимал и не принимал этот новый мир. Я все время хотел домой, в нашу избу, на нашу родную теплую печку.

Доплыв до Омска, мы по железной дороге поехали в Иркутск. Цель у отца с матерью была добраться до приисков на Дальнем Востоке (по следам деда Егора). Там была какая-то родня по линии матери — «чтобы на первое время зацепиться», как говорил отец. Но денег хватило только до станции Невера. До Иркутска мы не добрались и застряли на этой станции надолго. Всю осень и, по-моему, зиму мы жили где придется и как придется. Жили на вокзале, рядом с цыганами (они были добры к нам, привечали и подкармливали), жили в землянке, в китайской фанзе и у чужих людей в бараке. Это было для нас очень тяжелое время: денег не было, работы тоже, мы начали голодать. Мать работала в столовой и приносила домой остатки пищи — это была наша основная еда. Отец промышлял где только мог — разгружал вагоны, копал огороды, ухаживал за чужой скотиной. Особенно тяжело было зимой, мы были

почти разуты и голодны. Я помню, что по весне, когда сошел снег, мы собирали на огородах прошлогоднюю картошку. Отец стал мрачным, мать часто плакала, а мы совсем отощали и притихли. Я думаю, что отец не рассчитал своих сил и возможностей (с тремя малолетними детьми пускаться в неизвестность было слишком рискованно). Он почти ничего не умел делать, кроме как сеять хлеб и пахать землю, а это здесь никому не было нужно. И я думаю, что он не раз каялся, уехав из деревни. Мать приспособилась быстрее — она начала шить, стегать одеяла, стирать на других людей; за это нас кормили и не давали нам помереть с голоду.

По весне отец наконец устроился на работу в геологическую партию рабочим, а мать взяли туда же поваром. В партии было человек двадцать-тридцать рабочих, семейным был лишь один наш отец. Мы сразу вздохнули свободней; отец с матерью получили большой паек и денежный аванс. Я это хорошо помню. Такого обилия продуктов я еще не видел и не ел. По-моему, мы, дети, первый раз в жизни ели шоколад и консервы. С этого дня началась наша новая, кочевая жизнь по дальневосточной тайге. Это был совершенно другой мир и другой быт. Он был нам неведом и пугал нас всех своей новизной, своими законами и своей необычной природой.

За лето мы переезжали три-четыре раза, жили по-всякому, но теперь были сыты и одеты. Наверное, в то время отцу хорошо платили, а мать еще дополнительно обшивала и обстирывала всю эту ораву мужиков, и тоже получала за это деньги.

К нам, детям, очень хорошо относились, я думаю, даже нежно и ласково — ведь мы были единственными детьми в тайге, и нас баловали. Особенно был к нам внимателен начальник партии, москвич, пожилой человек, обладавший культурой и знаниями. Меня завораживали их приборы и планшеты. Мы все время с Костей крутились возле них и отца. Отец как рабочий обустраивал геодезические пикеты, рубил просеки, рыл шурфы, промывал в лотке образцы породы. Отец быстро учился выживанию. Он был трудолюбив и честен, а это очень ценилось в тайге и в экспедициях. Единственное, что огорчало наше существование, — это тоска отца по родине, а он очень сильно тосковал.

Помню так называемые «голубые» полочки в партии денег. Почему их называли «голубыми», я не знаю, но думаю, из-за голубого спирта. В эти дни все напивались, дрались, буйствовали и рвали рубахи. Мы в эти дни старались не попадаться никому на глаза. Эти добрые мужики зверели, и это было страшно. Единственный, кто усмирлял этот разгул, — это начальник партии: они его боялись и слушались. Отец тоже начал выпивать — конечно, не до такой степени, но в семье начались скандалы. До этого, по-моему, наш с Костей отец совсем не пил хмельного. Мы никогда не видели его пьяным.

Дорогая Лариса, ну что тебе еще рассказать об этом нашем жизненном периоде?

Сейчас я думаю, что на нас на всех было мощное, неосознанное воздействие особой дальневосточной природы.

Это тот мир, который пленяет людей сразу и навсегда своей необычной красотой и своими таежными тайнами. В то время, по крайней мере, он был таковым и представлял собой своего рода «дальневосточный Клондайк». Он притягивал всякий люд, в том числе и аферистов, и разных бродяг. Он тянул к себе людей богатством тайги. Это золото, соболь, корень женьшеня, панты, рыба, икра, море всякой ягоды, грибов, орехов. Это великолепная охота и старательство. А еще — относительная свобода и воля. В то время на Дальнем Востоке не было такого засилья власти, как по всей России, и люди жили так, как они хотели. Это очень нравилось нашему отцу, он ненавидел чиновников и власть и всю жизнь стремился от них в глушь. Он любил тайгу, да и, наверное, работа в геологических партиях его устраивала.

От того далекого времени в моей памяти осталось не очень много событий, а они, конечно, были. Ведь все было в высшей степени необычно: глухая нехоженная тайга, медведи (встречи с которыми были не редкость), золото, кедровники, олени, собаки — в общем, другой мир окружал нас. Другим был и наш быт, даже одежда у нас была другая: это малахаи, унты и все остальное из шкур и меха. И окружали нас совсем другие люди.

Мы почти все время перемещались по Забайкалью. В памяти сохранились только названия мест, где мы неподолгу жили. Это станции Невера, Зима, Сквородино, Чита, Шилка, Благовещенск, Черемхово, Алдан и зимовье Инагля, что по Алданскому тракту.

На Инагле мы задержались года на два и жили еще где-то, ближе к Алдану, но я не помню название прииска. В то время отец уже основательно «заболел» золотоискательством, в нем уже созрел матерый таежник-старатель, и он уходил с партиями все дальше на север.

Лариса, это особый разговор. О золоте и старательстве я напишу тебе в другой раз. А сейчас придется рассказать тебе о нашей трагедии, которая случилась на Инагле.

Инагля представляла собой маленький таежный поселок, затерявшийся в глухой тайге. Три-четыре избы, два барака (зимовье) и несколько китайских фанз. Вот и все, что окружало нас, и на сотни километров не было больше ни души. Жители в основном занимались старательством. А обслуживали зимовье три семьи, в том числе и наша. Женщины убрали бараки, мужчины готовили дрова и содержали в порядке свои участки дороги. Они также были и охранниками: вооружались винтовками и сопровождали обозы до следующего зимовья. По тракту ходили санные обозы верблюдов. Они везли на Алдан продукты, а обратно — пушнину, золото, мороженую рыбу и оленину. Я помню, что иногда они запаздывали, и верблюды тянули сани по сухой уже дороге, и тогда над тайгой стоял страшный скрежет и скрип. Погонщиками были казахи, они были в халатах и треухих шапках.

Вот такой мне запомнилась эта Инагля. Нас, ребяташек, на ней было всего шестеро: нас трое и еще две девочки и мальчик чуть старше меня. Мы играли все вместе, ходили за ягодами, за шишками, рыбачили, помогали родителям мыть золото, возились с собаками и с рогатками охотились на рябчиков.

Лариса, я почти ничего не писал о нашей с Костей сестренке Галинке. Это была ласковая и милая девочка с белокурыми волосиками. Она была не капризной, веселой, почти все время что-то лепетала и была очень привязана к нам с Костей. Я ее помню как светлое облачко в нашей семье, и ее очень любил отец.

Так вот, в одно зимнее утро отец ушел на работу, а мать, затопив печку и поставив тесто, ушла за водой на реку. У нас была небольшая чугунная печка на ножках, и когда ее топили, то она раскалялась докрасна. Галинка играла у этой печки, она стряпала лепешки и угощала нас с Костей. В какое мгновение на ней вспыхнуло платице, я не видел. Я обернулся на крик и увидел, что она уже пылает факелом. Она металась по избе и дико кричала. Я никак не мог ее поймать и, наверное, на какой-то миг испугался и растерялся, и не сразу сообразил, что нужно делать. А от нее уже загорелись занавески, и все начало полыхать. Наконец мне под руки почему-то попала подушка, ею я сбил Галинку на пол и начал этой подушкой тушить ее. Но на подушке вспыхнула наволочка и порохом вспыхнул пух. Нас снова обдало пламенем, на мне загорелись рубашка и волосы. Я начал орать и тоже бегать по избе. Наверное, мы все трое сгорели бы, если бы не собаки. Говорили, что они страшно завывли, их услышали соседи и вовремя прибежали. Соседи с трудом потушили пожар и спасли нас. А мать, не доходя до дома, упала, пролила воду и пошла снова на реку. Наверное, в

этот момент все и случилось. Просто какой-то рок был над нами. Я думаю, что это было и роковой ошибкой матери: нельзя было оставлять детей у раскаленной печки. Ее реакция на все случившееся была просто дикой. Влетев в избу с криком, она схватила меня, обожженного, и начала избивать — была жестоко и истерично. Мне не было больно — я был в шоке, но помню, что было очень страшно. Она забила бы меня насмерть, но вмешались соседи и меня у нее отобрали. Кто-то сходил за отцом. Он пришел, посмотрел на все, подошел к матери, выругался и сильно ударил ее. Это было единственный раз в жизни — то, что я видел. Соседи нас не оставляли. В ночь мужики ушли в тайгу к якутам за оленями. Галинку завернули в шкуру и обложили медвежьим салом, меня тоже всего обмазали, и начались муки. Утром привезли двое нарт и отец с матерью повезли нас в поселок за 70 километров, где была больница. Я все это плохо помню, но знаю, что через три дня нашей Галинки не стало. Она умерла в больнице, ей было всего четыре годика. Похоронили мы ее на бугре над Алданским трактом, в вечной мерзлоте. Могилку я хорошо помню, она была с большим крестом и медным складнем; мы часто приходили к ней плакать.

Я болел всю зиму, покрылся весь пузырями и коростами, но обожжен я был не так глубоко и сильно и к весне выздоровел.

Потом мне отец не раз говорил: «Ну почему ты не догадался вытащить Галинку на снег?» Действительно, если бы я так сделал, то, наверное, спас бы ее. Но почему-то Бог не дал мне тогда этой светлой мысли, наверное, потому что я был мал, но все равно какая-то вина за ее смерть мучает меня всю жизнь, и до сих пор болит душа, хотя я знаю, что ни в чем не виноват.

Дорогая Лариса, конечно, все было сложнее и трагичнее, чем я тебе написал, но прошла целая вечность, и я все забыл. Да и всего, наверное, не расскажешь...

Ну а это дорожные «картинки», которые довольно четко сохранились в моей памяти.

Я писал тебе, как мы пацанами бегали по крутояру Иртыша, провозая пароходы. И всегда нам хотелось уплыть вместе с ними в дальние дали. И вот теперь мы плыли по-настоящему и наяву, в нашу неизвестную и таинственную даль. Но радости у нас не было, а было тоскливо и жутковато. Было такое состояние, будто нас изгнали из нашей деревни, и у всех было чувство потери родного гнезда и гнетущее состояние неизвестности. Я понимал, что отец с матерью по-настоящему страшатся этой жутковатой неизвестности, и эта тревога передавалась нам, детям. Конечно, с тремя малолетними детьми сорваться с места, все распродать и ехать неизвестно куда и зачем было в высшей степени рискованно. Но, наверное, в то время у нас не было выбора.

На барже мы устроились на палубе, плыть должны были несколько дней и ночей. Кормовщик дал нам брезент, и отец соорудил что-то вроде палатки, и мы разместились в ней довольно комфортно.

Лариса, я хочу рассказать тебе о другом. Для меня была удивительной и потрясающей первая ночь на барже. Я был абсолютно ошарашен ночным небом. Лежа на подушках и под теплым одеялом, я впервые в жизни видел так открыто и так близко ночное небо и огромные, бесчисленные мерцающие звезды. Черное небо отражалось в воде Иртыша, и от этого казалось, что наш пароход плывет меж звезд. Я еще тогда не знал, что существует ночной мир, — я ночами спал. Я и представить не мог, что небо может быть черным и что на свете так много звезд. Я из щели между потолком и печкой вдруг сразу попал под купол Мироздания. Помню, что я онемел и был скован каким-то леденящим холодным страхом. Детское сердечко не выдержало, и я начал кричать, взбудоражил всех на барже. Но на вопросы я ничего не мог и не умел ответить, а только показывал вверх, на звезды. Днем отец пытался что-то объяснить мне, но я ничего не понял. А вот объяснения матери я понял и запомнил. Все просто:



купол неба стеклянный и днем его не видно, а звезды — это Боженькины застывшие слезы (она Бога называла «Боженька»). Но я не понимал, почему Боженька так много плачет, а чувствовал и видел что-то совсем другое, что пугало меня и в то же время неудержимо тянуло к себе. Несмотря на страх, мне хотелось еще и еще поплавать меж звезд, но почему-то больше такой ночи в моей жизни не было никогда. Даже сейчас я не могу объяснить себе того состояния. Меня как будто навсегда чем-то красивым и холодным «проколело». Наверное, живая капелька моей души чуть коснулась вечности и испугалась бездны и ее мрачной красоты. И еще, наверное, в эту ночь моя детская душа рожала в себе будущую душу художника.

Вот с тех пор я безумно люблю ночи. Я не раз в своем творчестве пытался передать их красоту и тайну, то, что пережил ребенком на барже на Иртыше. Но так и не удалось мне в жизни воплотить это на холстах.

А это про то, как мы остались одни.

Ехали мы на восток в телячьих вагонах. Весь состав был полон таких же «переселенцев», как мы. Ведь в то время куда-то переселялась вся Россия. В нашем вагоне было несколько семей с детьми и таким же скарбом, как и у нас: самовары, подушки, перины и сундуки. Я помню, что вагон был переполнен, мы занимали один из углов в вагоне.

Ехали мы долго и подолгу стояли на станциях. Раньше на них был бесплатный кипяток, и родители бегали за ним с чайником на остановках. И вот на одной из станций отец с матерью ушли за кипятком, а поезд тронулся и ушел. Я сначала ничего не понял: по моему тогдашнему понятию, поезд не должен был уехать без отца. И сначала в вагоне никто особенно не беспокоился, но к вечеру все поняли, что родители наши отстали от поезда. Но пока решали, что с нами делать, прошла ночь. Нас ссадили с поезда на другой день. А тем временем отец с матерью догоняли разными составами наш поезд. И когда догнали, то нас там уже не было, и никто не помнил названия станции, где нас ссадили. Они поехали обратно. В общем, мы жили несколько дней совершенно одни на какой-то маленькой станции. Я впервые испытал ужас потери родителей. Галинка и Костя капризничали, они просились к матери и плакали, я не знал что делать и тоже плакал вместе с ними. Мне казалось, что мы навсегда остались одни. Нас жалели пассажиры, кормили и оказывали нам всяческое внимание. Слух, что на станции дети остались одни, распространился среди жителей, и нам несли горячую пищу и всякие гостинцы. Нас даже хотела взять к себе домой какая-то тетка, но нас не отдал начальник станции. Наверное, раньше все люди были добрее. У нас ничего не тронули и выгрузили все наше имущество, вплоть до горшка, а ведь в отцовской толстовке был бумажник с деньгами и документами. Наконец через несколько дней нас нашли родители. Радость была безгранична. Я помню, как нас тискал отец, обросший и осунувшийся, а мать на радостях голосила.

Вот такая история, она четко запечатлелась в моей памяти. Лариса, может быть, все это не очень интересно, но я пытаюсь вспомнить и воссоздать тот ушедший мир, в котором мы с Костей жили. Наверное, у меня все это не очень получается, ведь я почти все забыл. И письма мои выходят такими мрачными и грустными. Но были в нашем с Костей детстве и восторг, и радость, и любовь, вот только все это никак не поддается описанию. Но в следующем письме я попробую писать веселее.

### Письмо шестое

Ну вот я и добрался в своих воспоминаниях до Алданского края. Этот удивительный край — край вечной мерзлоты и вечной красоты — оставил в моей душе и моей

памяти, пожалуй, самый заметный след. Душа моя была заполнена его голубыми гольцами и сопками, цветущим багульником, вечнозеленым стлаником, синим вереском и белыми-белыми снегами. Я не могу описать красоту этого края, эта красота волшебная и магическая.

Думаю, что именно здесь, в этой первозданной чистоте природы, и родился во мне художник. Именно в этом краю мне захотелось рисовать, именно здесь я, еще ничего не понимая, плакал от окружающей меня красоты мира. Я до сих пор черпаю горстями россыпи тех чувств, образов, замыслов, да и саму силу творчества.

Про этот край мне хочется многое рассказать, но не знаю, смогу ли я это сделать...

Пожалуй, начну с золота, потому что оно оставило в моей памяти самый яркий след.

Слово «золото» с латинского переводится как «солнце». Оно бывает рассыпное и самородное. Алданское золото в основном рассыпное — чешуйками. Эти чешуйки неправильной формы и размером от макового зерна до пяти-шести миллиметров назывались на Алдане «значками» или еще «золотым песком», когда их было много.

Алданское золото имеет желто-красноватый оттенок и очень красивое по цвету. Оно навсегда завораживает человека своим таинственным блеском. Уральское золото желтое, мелкое и по цвету похоже на пшено. Потому на Урале золото промывают в ковшах, а на Алдане — в деревянных лотках.

Особенно красиво самородное золото. Самородки бывают оплетены минералами кварца, горного хрусталя и кальцита, они разной величины и причудливых форм. Особенно больших я в своей жизни не видел, а вот средних размеров — от горошины до спичечного коробка — видел довольно много и держал в руках. Я помню, что один самородок, величиной с детскую ладонь, как украшение был у нас в семье. Он был изумительно красивым, весь в прожилках и каких-то замысловатых завитках и был вкраплен в горный хрусталь. Отец долго не мог с ним расстаться. Чистого золота в нем было не очень много. Но все же мы были вынуждены с ним расстаться и сдать в золотоскупку на боны.

Этот желтый металл имеет какую-то таинственную и не совсем здоровую силу, которая не очень хорошо влияет на человека. Его дьявольская красота, его какой-то особый блеск, необычайная тяжесть и что-то еще, необъяснимое и непонятное, околдовывает сознание и душу человека.

Особенно сильное воздействие испытываешь не от золотых украшений, а от натурального, природного золота, прежде всего — от самородного. На самородок можно смотреть целыми днями, и чем больше смотришь, тем глубже погружаешься в глубины бездонной красоты этого металла и тем больше хочется обладать им. Я помню, как тряслись руки отца, когда держали эти самородки. Сейчас я думаю, что этот металл — злой. Обладание им ведет человека к жадности и духовному тупику. За сезон отец намывал до ста граммов золота и находил два-три самородка, но это не приносило нам счастья, и оно как приходило к нам, так и уходило от нас.

В этих странствиях по тайге за блеском этого «желтого дьявола» мы потеряли Галинку и, по-моему, совсем одичали в глуши и безлюдье, да и могли не раз погибнуть...

А теперь, наверное, надо рассказать, как это золото в то время добывали. Главным в добыче старателя-таежника было найти золотоносную породу, так называемую «золотую жилу». Для этого нужно было обладать каким-то особым знанием, опытом, интуицией и большим упорством, не говоря уже об опасном и каторжном труде. Наверное, всеми этими качествами обладал наш с Костей отец. Он к тому времени стал настоящим таежником и опытным старателем. Недаром он так много ходил в

партиях с геологами: наверное, кое-что подсмотрел, смекнул и понял, где и как искать золото.

Искал и работал он один, и все хранил в тайне; я знаю, что он эти тайны не доверял даже матери. Добыча золота у старателей всегда таинственна и рискованна, а особенно в глуши Алданского края. Старатели часто гибли и убивали друг друга за золото. Нас же Бог миловал...

Золотоносные жилы сопровождаются особыми глинами; они желто-красноватого цвета и перемешаны со сланцевым плитняком и гравием. Они светлее окружающей породы, и их хорошо видно в разрезе шурфа. Самое важное для старателя — найти такую жилу. Но и добыча этой породы очень трудна. Почва там оттаивает за лето всего на 50-70 см, а глубже — вечная мерзлота, а она крепче железобетона. Поэтому ямки, шурфы углубляют при помощи так называемых «пожогов». По периметру углубления, с наклоном от стенок, сплошным рядом расставляются метровые поленья, под них кладется много бересты, и все это поджигается. Обычно пожар делается на ночь. И вот только та порода, что оттаяла за ночь, и идет на промывку в лотках.

Эти ямки, а по-простому — земляные норы, очень опасны. Они бывают довольно глубокими и часто заваливаются, а это верная гибель для старателя. Только одна из десяти примерно ямок дает золото. Удача бывает очень редкой, но если она есть, то есть и безбедная жизнь на сезон и больше.

Еще отец мыл золото на так называемых «бутарках». Это было обычно по берегам горных речушек и ручьев. Снимался береговой слой земли до вечной мерзлоты и промывался на этих бутарках, но не каждый ручей или речка несли в себе золотые россыши. Нужно было много и долго искать, и лишь когда находили россыпь, устраивали промывочный стан.

Бутарка — это деревянный желоб длиной до двух-трех метров, на дно которого слоями накладываются трафареты. Сначала на дно желоба укладывается мешковина, затем мелкий трафаретный коврик, связанный из веток вереска, затем трафарет крупнее (из палочек); все это прибивается продольным брусом ко дну желоба — называется это «коленом». В верхней части желоба крепится ящик с железным дном, с дырками для породы. Желоб ставится под определенным углом к земле. Именно в этом заключается опыт и профессионализм старателя (неправильно поставленная бутарка сбрасывает золото в отвал). В ящик засыпается порода, подводится по желобам вода — и бутарка готова. Порода «бутарилась» и промывалась целый день, пока трафареты полностью не забивались шлифтом. Шлифт — это песок из кристаллов медного колчедана. Песчинки имеют форму правильного куба и покрыты черной оболочкой кварца размером от 1 до 10 мм. Они всегда поражали мое воображение, и их мне всегда было жалко выбрасывать. Если в породе есть шлифты — значит, в ней есть и золото. По шлифтам старатели ищут золото. Когда трафареты полностью забиты, вода отводится, и все тщательно промывается в лотках. Это самый напряженный и ответственный момент, и он очень волнующий. Когда остатки породы и шлифты промываешь в лотке, то трясутся руки. В каждом лотке ты ждешь самородка, с нетерпением и замиранием сердца ждешь проблеска золота в желобке лотка. Бывает всякое — и восторг души, и полное разочарование. Такова уж участь золотоискателя.

Все это так врезалось в мою память и, наверное, так ошарашило мою детскую душу, что я как будто вчера видел, как наш с Костей отец промывает в лотке алданское золото...

После смерти Галинки и всего пережитого в нашей семье поселилось горе и как-то изменились отношения внутри семьи. Отец осунулся и замкнулся в себе, перестал

улыбаться и напевать свои любимые песни и стал совсем молчуном. Он много времени проводил один в тайге, охотился или искал золото, и мы с Костей редко видели его дома. Мать часто плакала и неистово молилась, она стала еще истеричней и раздражительней. Я же как-то в одночасье повзрослел и совсем отдалился от матери. Это был пик трагедии, которую пережила наша семья, и он оставил очень болезненный след в моей памяти.

Мне пора было в школу, и в семье встал вопрос, где и как меня учить. Отец хотел переехать на прииск, где была начальная школа, а мать ни за что не хотела расстаться с могилкой Галинки, и они решили устроить меня в интернат на этом прииске (название его я забыл). Я вообще плохо помню свое школьное начало, да и трудно сейчас назвать это школой в современном понимании. Это была просто полутемная изба с несколькими столами и лавками, но помню, что доска и колокольчик у нас были, и, конечно, помню свою первую учительницу. Звали ее Марией Енсентьевной. Для меня она была очень красивой и какой-то особенной женщиной из другого мира. Как я сейчас понимаю, она была не профессиональной учительницей, а просто образованным человеком и учила таежную ребятню чтению, письму и элементарной культуре. Я помню, что она, бедная, мучилась со мной, ибо я не был хорошим учеником. Я не понимал, чего от меня хотят. Буквы я знал и, по-моему, мог читать по слогам (этому меня научил отец), а вот с поведением у меня было совсем плохо. И вместо того чтобы учиться писать, я рисовал в своих тетрадях разных букашек и свои «картинки». По-моему, она приходила в ужас, когда видела вместо заданных крючочков и палочек изрисованные моими фантазиями листы. Она говорила: «Сережа, ты совсем дикий ребенок». Наверное, я действительно был таким. Особенно ее поражала моя неправильная речь, и она постоянно поправляла меня: «Так нельзя говорить», «Так не говорят». И когда меня о чем-то спрашивали, я долго думал, как лучше сказать, но, увы, запаса слов у меня было мало, и я молчал. Этот недостаток остался у меня на всю жизнь. Я всегда ощущал и понимал гораздо больше, чем мог сказать.

Я мог делать все по дому, уверенно чувствовал себя в тайге, отец научил меня стрелять из ружья, я мог промывать лотком золото, управлять упряжкой оленей, мог отличить след соболя от следа куницы. А вот за столом в школе чувствовал себя не очень хорошо. Мой мозг совершенно не был готов к интеллектуальному труду, и я не понимал, чего от меня хотят окружающие, меня этому не научили. Единственно, что я делал с удовольствием и любовью, — рисовал свои «картинки»-фантазии, но за них меня почему-то ругали.

Я очень плохо приживался в интернате, а интернат представлял собой обыкновенную избу с десятком кроватей, столом и лавками. Я не умел спать один, ведь мы всегда спали с Костей вместе, и мне его очень не хватало, я сильно тосковал по дому, по отцу. Я раза два или три убежал из интерната домой, и меня ловили довольно далеко от поселка. В общем, учеба шла плохо. Помнится, что единственной радостью были приезды отца с матерью, когда они привозили домашние гостинцы, тепло и уют дома. Я так и не закончил первого класса — меня забрали из школы в конце зимы. Отец понял, что дальше жить в тайге с детьми нельзя и что нам с Костей нужна школа и хоть какая-то культура. Решили перебраться ближе к городу Иркутску. Уезжать надо было по зимнику, и поэтому меня забрали из школы. На этом и закончился мой первый школьный год в глухой тайге Алданского края. Дальнейшее мое школьное учение шло примерно в таком же духе. И я всю жизнь чувствовал недостаток элементарных знаний.

В ту пору нашим жилищем была или старая изба старателей, или охотничья избушка, в зависимости от того, где мыл золото отец. Я помню, что наше жилище все было в оленьих шкурах: стены, потолок и пол. Запомнились маленькие оконца

и низкие тяжелые двери, тоже обитые шкурами. Но с материнными занавесками, подушками и незабвенным самоваром у нас всегда было как-то по-особенному, подомашнему тепло и уютно. Мать всегда и везде умела создавать уют. Первое, что она делала в новой избе, это угол для «Боженки», и в этом углу всегда были иконы и горела лампадка.

Между прочим, икона в русской избе — это не только религиозный символ, она еще имеет какую-то магическую силу. Она и украшает, и оживляет жилище, и делает его покойней и духовней. Без иконы и горящей лампадки изба кажется пустой и мертвой.

Кстати, на том пожаре, на Инагле, у нас сгорели все деревянные иконы. Остался только медный складень, и мать говорила, что это не к добру и страшный знак для нашей семьи. Наверное, она была права.

Я помню, что из вещей самыми дорогими были у матери иконы, лампа и особенно стекло к ней (его берегли как зеницу ока), самовар, наша машинка «Зингер» и посуда, а у отца кисет с табаком, трубка, ружье, припасы к нему, пила и топор. Я помню, что топор отец очень берег, он его все время точил и лелеял. Мужик с топором в тайге — это уже крепость и выживание. Из припасов особенно были дефицитны соль, керосин, порох и табак. Все это дорого ценилось и запасалось впрок. Я помню, что одну зиму мы остались без соли (мать недосмотрела, и соль размокла под крышей). И отец вынужден был за стакан соли платить золотом, и довольно дорого. И все равно мы в эту зиму все переболели цингой, хотя много ели черемши. Черемша — это дикий чеснок, ее заготавливали и ели очень много.

Я вот сейчас вспоминаю и поражаюсь, как все в жизни относительно, как меняются ценности у человека. Представьте себе нашу избу: по стенам на рогульках висят шкурки горноста, белки, соболя, а на божнице (все самое ценное хранилось на божнице) в обыкновенной сахарнице насыпана горсть золота, и там же как самое ценное хранились огрызок химического карандаша и несколько тетрадных листов бумаги. По крайней мере, отец ценил их не менее шкурок и золота. Сейчас меня все это удивляет и кажется невероятным и нереальным, но так было, и не только в нашей семье.

Мне эта божница со строгим ликом Бога и горящей лампадой в глуши Алданского края сейчас кажется неким символом того времени. В ней был весь наш духовный мир, мы все верили в Бога, у нас был Бог и золото, и нам было этого вполне достаточно для нашей жизни.

Что для нас тогда значило это золото? Это прежде всего выживание. За золото можно было в том краю иметь все. Отец сдавал его на приисках в так называемых «золотоскупках». За грамм золота платили два-три бона (бон — золотой рубль). В боне было сто золотых копеек, он был похож на хлебные карточки. Сам бон стоил девять рублей простыми деньгами. При покупке из него вырезались копейки по стоимости товара. В то время это была основная денежная единица на Алдане. За два-три бона можно было в золотоскупке купить мешок хорошей муки или мешок сахара. Промтовары стоили гораздо дороже. А отец за удачный сезон старательства добывал до ста граммов золота, да плюс пушнина.

В общем, материально мы жили хорошо и ни в чем не нуждались. И было изобилие таежных даров: ягоды, орехи, грибы и дичь. Но за это все мы дорого платили. Жили на грани постоянного риска: малейший просчет или болезнь отца — и семья верная гибель. Особенно тяжелыми и рискованными были зимы, а они там страшные и длинные-длинные.

В моей памяти сохранилась вот такая зимняя картинка (я несколько раз пытался ее нарисовать, но она у меня не вышла).

За стеной избы стоит замороженный мир, мороз за пятьдесят градусов, ночь, непрерывно топится (днем и ночью) печь, еле светит лампа. Отец, обросший, в накинутой на плечи шубе, сидит за столом и медленно-медленно пересыпает из руки в руку струйкой золото. Его руки чуть трясутся. Слышно, как золото шуршит и металлически позванивает, оно чуть поблескивает в свете лампы. Отец, как заворуженный, делает это долго-долго и отрешенно. Со стороны кажется, что он выполняет какой-то магический ритуал, и что мыслями он где-то далеко-далеко, и что ему смертельно тоскливо и страшно в этой безлюдной и ледяной пустыне. Ясно было, что его что-то грызет и мучает. Сейчас я думаю, что это не была его жадность к золоту, а были, наверное, страх за семью и проявление той неудержимой дьявольской силы золота, которая постепенно завладевает человеческой душой и сжигает ее изнутри.

Отец проделывал это довольно часто, и, глядя на него, мы с Костей, когда дома никого не было, доставали сахарницу и так же, как отец, по очереди пересыпали золото из ладошки в ладошку. Я помню, что ничего не испытывал, кроме холодного и тяжелого прикосновения металла к теплой ладони. И удивлялся: «Зачем и почему это делает отец?» Наверное, в то время мне были чужды еще «золотые страсти» и я не понимал тяги отца к золоту. Но вот эта сцена и шелест золота запали в детскую душу и остались в памяти на всю жизнь.

А вот как я там, на Алдане, начал рисовать.

На одном из приисков, в старой заброшенной избе, на крыше, мы, пацаны, нашли несколько истлевших книг. Среди них была Библия, она неплохо сохранилась и была иллюстрирована. Я был потрясен этими иллюстрациями, наверное, они и дали первый толчок к рисованию. Я вдруг понял, что можно нарисовать то, что видишь. На иллюстрации я мог смотреть бесконечно долго, и мне очень хотелось их нарисовать — до зуда в руках. Я стащил у отца драгоценные листы бумаги и огрызок карандаша и приступил к делу, но у меня ничего не выходило, и я от бессилия плакал. Я-то думал, что я так же красиво нарисую и меня не будут наказывать за то, что без спросу взял бумагу. Но все закончилось миром. Отец, наверное, давно подметил мою тягу к рисованию. Он сделал мне доску с дырочками и нарезал кусочки бересты. Я их крепил колышками к доске и угольком из печи стал рисовать свои картинки.

Я рисовал до самозабвения, днями и вечерами, даже стал плохо спать и не мог дождаться дня, чтобы скорее приняться за рисование. Я рисовал все подряд, что окружало меня, но особенно я любил рисовать всяких букашек. Я стал как помешанный, даже отец забеспокоился, и меня стали ограничивать в моем рисовании, а я стал прятаться и рисовать тайком.

Я помню, что и Костя вначале увлекся рисованием: всегда сидел рядом и смотрел, что я «творю», но потом как-то потерял интерес к этому. Я же рисовал без конца.

Помню, что смотреть мои «произведения» было почти невозможно. Когда я снимал их с доски, береста немедленно сворачивалась в трубочки, уголь размазывался и осыпался. Это меня огорчало до слез, и больше всего было обидно, когда мать ими растапливала печку. Это было самой большой обидой на мать. Она была совершенно равнодушна к моему увлечению и сжигала в печке мою детскую душу, и я горько плакал. Первым моим доброжелателем, учителем и критиком, конечно же, был отец. Он всячески поддерживал и поощрял мое увлечение. Я помню, что он однажды привез мне коробку цветных карандашей и несколько тетрадей. Где он их достал в том диком краю, я не знаю, но радости моей не было конца. Когда я их брал в руки, то у меня колотилось сердечко.

Вот, пожалуйста, с того времени я уже никогда больше не бросал этого занятия, и оно постепенно переросло в творчество, которое сделало мою жизнь трудней, но

интересней и духовно богаче. И до сих пор это увлечение помогает мне жить и скрашивает мою старость.

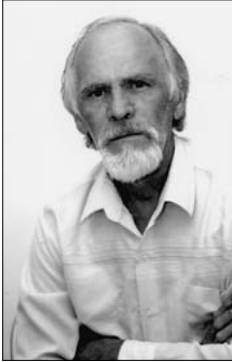
Лариса, я еще помню, как мы с Костей носили обеды на работу отцу.

Его «ямки» были, по таежным понятиям, расположены не так далеко от нашего жилья. Он уходил на работу очень рано, мы еще спали. К обеду мать все приготавливала, кормила нас и отправляла с обедом к отцу. Главным было — не расплескать суп. Мать наливала его в туюсок и плотно закрывала. Обед, в основном, состоял из хлеба, супа, мяса, консервов и иногда пирогов. Все это укладывалось в наши с Костей торбочки, мы надевали их на плечи и отправлялись в поход. Это было любимым нашим занятием. Мы с Костей любили нашего отца, с ним всегда было хорошо и интересно, и притом нам доверялось серьезное и ответственное дело. Шли мы довольно долго, по тропе отца (по свежим затесам на деревьях). Главное было — никуда не сворачивать. Это был строгий наказ отца и матери. Самое страшное в тайге — это заблудиться. Нас обязательно сопровождали собаки, с ними было спокойнее и не так страшно. Таежная собака — это надежный друг, помощник и спаситель. Помню, что самым трудным для нас была горная речка, которую надо было переходить по камням вброд. Отец встречал нас радостно и весело, говорил: «Ну вот и мои бурундучки пожаловали» (он нас с Костей называл ласково бурундучками). Мы еще раз обедали с отцом и начинали помогать ему в работе. Не знаю, специально или нет, но промывку золота он всегда делал при нас. При этом говорил: «Ну, кто из вас счастливей? Сережа, этот лоток твой, а следующий Костином». Мы с замиранием сердца смотрели, сколько поблескивает золота в моем или Костином лотке. Сейчас я понимаю, что он иногда подбрасывал в шлифты значки золота, чтобы мы с Костей почувствовали себя счастливыми, и нашу удачу старался разделить поровну. Мы помогали отцу ставить на ночь «пожог», а к вечеру ловили хариусов, отец отстреливал три-четыре рябчика (дичи было как в курятнике), и с добычей мы все вместе шли домой. Это было добрым временем в нашей жизни.

*(Окончание следует)*

## По делам и вере...

---



\* \* \*

Бабе лето.  
Как безмолвен лес!  
Желтый лист стекает каплей воска,  
А по краю дремлющих небес  
Тянется белесая полоска.  
Мягкая струится синева,  
Меж стволов колебля паутинку.  
Мысль, дрожа, слоится на слова,  
А в низинках поздняя трава  
Обрамляет зеленью картинку.  
И не надо никуда спешить.  
С красками сливайся чистым взглядом.  
Что еще для вызревшей души  
Пожелать в сентябрьской тиши?  
Ты, и небо, и береза — рядом.

\* \* \*

В голубизне небес — дыхание Гольфстрима.  
Лежу в густой траве, а в голове — Урал.  
Крылами облаков струится время мимо,  
Возносит жизни гимн стрекочущий хорал.

Не я ли Гулливер среди стеблей упругих?  
Под мощным слоем глин журчит воды челнок.  
Не суетясь, паук мне оплетает руки,  
Гудит в заботах шмель, но весел мотылек.

Усевшись на рукав, раскрылся величаво.  
Фасетками зрачков дробя на грани мир,  
Он вкрадчиво глядит и мудрствует лукаво,  
Мол, каково тебе, поверженный кумир?

### ПТИЦА

Птица черная медленно кружит  
Над разлившейся мутной водой.



Круг за кругом сжимая все туже,  
Иногда поведет головой  
Неохотно, с какою-то ленью,  
Словно клонит кружение ко сну.  
Вдруг она замерла на мгновенье,  
Хищный глаз ее алчно блеснул.  
Сжалась в точку и брошенным камнем  
Распорол речную струю,  
Расщеперенными когтями  
Впившись с клекотом в жертву свою.  
Алой пеной окрасились крылья, —  
Не чревата ль охота бедой?  
Взмах, другой, и с последним усилием  
Поднялась над усталой водой.  
Тяжело трепыхнулся прибыток.  
Сеют крачки завистливый гам.  
Красноперый, сверкающий слиток  
Понесла она гордо богам.

\* \* \*

Беснуются июля грозы  
Над садом сдавшимся моим.  
Вновь, вздрогнув, думаешь без позы:  
— За что подобное живым?

Минуты не прошло — и сполох!  
Вслед — оглушительный разряд.  
Вaal свирепствует иль Молох?  
А кровлю с хрустом крошит град.

Припомнишь все, что в жизни свято,  
Как четки, дни переберешь,  
И медленно (от самых пяток)  
Карабкается к сердцу дрожь.

— Покуда жив, а вдруг — сегодня?..  
И льнет холодной жабой страх.  
— Не духи ль это преисподней,  
Куражась, кружат на громах?

Улиткой в домике убогом  
Сожмись в комок и не юли,  
Взывай к заступникам и Бога  
О милосердии моли...  
Ночь.  
Округлив глаза по-птичьи,  
Душа пришипилась и ждет  
Рассвета...

Ан косноязычье  
Строку украдкою прядет.

### ПРОЩАНИЕ С КРЫМОМ

Вот и осень.  
Пора уезжать.  
На пустом берегу неуютно.  
Ты в плечо мне уткнулась дрожа,  
В море вглядываясь поминутно.

Как же все изменилось вокруг,  
Как под тучами вздыбились волны!  
Солнце было так щедро, и вдруг —  
Столько гнева, что вздрогнешь невольно.

Всеми брошенный грязный причал,  
Над которым безумствуют птицы:  
И срываются вниз, и кричат,  
Вырывая из сердца крупичицы.

— Что же с нами ты делаешь, Крым? —  
На ветру не дождешься ответа...  
Да и чем мы ему воздадим  
За подаренное нам лето?

Тонких раковин хруст под ногой,  
Хлопья пены — соленой и серой.  
Брось, родная, монетку в прибой,  
Чтоб уехать с надеждой и верой.

Пусть бушует стихия, круша  
Плиты кремня слоистого мыса.  
Что ж, как брэнное тело душа,  
Мы покинем, плащами шурша,  
Эти кручи в крови барбариса.

\* \* \*

...И хлынет горлом кровь, и разум просветленный  
Спокойно подведет земным делам итог.  
Вот сходятся в глазах края иной Вселенной:  
— Психеюшка, молчи, ступая на порог.  
Что правда или ложь?..  
Усмешка тронет губы...  
Все высказано мной, зачем о том же вновь?  
И посветлело вдруг, и боль пошла на убыль,

Расширились зрачки, и отступила кровь.  
И, крадучись, скакнул к последнему удару  
Пульс темного виска, но слух терзает свист,  
А память на задах вязалась с Эго в свару,  
Да кто же в миг такой рискнет сказать, что чист?  
— Ах, совесть, отступись, наивен поединок.  
Ни от кого не жди ни помочи, ни льгот,  
Людская суета ничто перед Единым.  
... Чу, торкнулась душа в холодный влажный свод.  
И, спицу разогнув, стряхнула пыль с коленей.  
За роковой чертой дымится прах земной.  
Веригами падет под ноги груз сомнений, —  
Былое, словно тень, чернеет за спиной.  
Не речью, а другим здесь полновесны мысли.  
Высокая стезя парит — белым бела.  
Знакомых семь лучей вдали над ней повисли,  
Но робок первый взмах эфирного крыла.

### ПЛАЧ ОКНА

Много ли надо в канун октября,  
Чтобы отречься для слов от себя,  
Много ли надо?

Был бы в награду мой угол пустым,  
Да каменел иероглифом дым —  
Вся-то награда.

Сосен печальных колючий урон,  
Долго я, долго понять их не мог,  
Сосен печальных.

Птиц бесприютных тоскливый полет.  
Сад к ним взыскует — вернуться зовет  
Птиц бесприютных.

Бедного клена в знобящую рань  
Косо взмахнет пятипалая длань,  
Бедного клена.

Просит остаться или грозит?  
Ветер по ней, утешая, скользит:  
«Как им остаться?»

Взгляд сострадания окна моего  
На обессилившее волшебство,  
Взгляд сострадания.

Он остается с тобою, мой сад,  
Тоже к кому-то взыскующий взгляд,  
Он остается...

\* \* \*

Такие дни на растерзанье одам  
Бросают в клетки из каленых строк.  
Ну, как тебе под крымским небосводом  
Дни коротать, дышать рассветным йодом  
И умирять прибоем кровотоков?

Воздастся смертным по делам и вере.  
Мысль в простоте что жилка на листе.  
Чем нас пленил евпаторийский берег —  
Сей уголок на кухонке страстей?

Когда душа насыщена, как губка, —  
Покойно сердце.  
Мы с тобой вольны  
Молчать, бредя по устричным скорлупкам  
Вдоль мягко шепелявящей волны.

Здесь праздники не отличить от буден,  
Для радости не намечают срок,  
И что с того, что нас с тобой забудет  
Сплошь продувной беленый городок?

Он, верхогляд с замашками зазнайки,  
Влюблен лишь в этот пенный полукруг.  
Как бесприютны над причалом чайки,  
Застывшие в полете на ветру...

Ты все молчишь и смотришь вдаль, где море  
Надменную подтачивает твердь.  
Кольшет что-то душу, волнам вторя, —  
Любовь и грусть слились во влажном взоре  
В час расставанья и, надеюсь, впредь.

\* \* \*

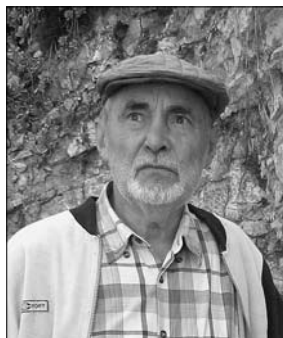
Стихи придут, когда настанет время.  
Я подожду.  
Пусть осень разольет  
В хрустальные граненые сосуды  
Спокойной мудрости рубиновый напиток.

Какое отрезвляющее бремя  
Свободным быть от суеты и льгот.  
К лжи приравняв пустые пересуды,  
В душе лелеять теплый нежный слиток.

А ныне увальнем желтоволосый август  
Полет готовых к отдалению птиц  
Сквозь тень ресниц лукаво созерцает,  
Чтоб, как авгур, наивных ублажать.

Я подожду.  
Но отчего же память  
Крылом усталым юности коснулась?  
Там я смеюсь, кричу, машу руками,  
А мать, сомкнув уста, все смотрит вдаль,  
Где красный шар коснулся горизонта...

# Мемуары без макияжа



*Я пришел из детства, как из страны.*

*Антуан де Сент-Экзюпери*

Предгорья Тянь-Шаня. Мой приземистый рубленый дом стоит на берегу Левого Талгара, рядом с кордоном лесника. Ночь. Стонет ветер, раскачивая верхушки карагачей, предвещая дождь. А вот и скорые гонцы — застучали в окно редкие крупные капли.

Глухой рокот реки перемежается со стуком перекачиваемых потоком камней. Догорающие дрова в камине отбрасывают на стены причудливые блики.

Планета Земля завершает семьдесят пятый оборот вокруг Солнца со дня моего явления. Всего-то! А сколько зря прожитых дней и лет... Вспомнить-то нечего или стыдно. Разве что военное детство. Разутое, голодное, но не униженное.

Если коротко и без вранья изложить мою жизнь на бумаге, будет совсем скучно: родился в тридцатые годы двадцатого столетия, в северном полушарии, между Европой и Азией, холодной зимней ночью (до сих пор ноги мерзнут).

Осознал себя как биологическое существо в четыре года, приспособила меня тогда мать люльку качать с новорожденной голосистой сестренкой Риммой. Трудовой стаж, по сути, можно исчислять с этого времени. И начинался он в деревне Топорнино, куда отца перевели работать завучем педагогического техникума.

Село основал отставной полковник Андрей Степанович Топорнин в двадцатые годы XIX века. Земли за ратные подвиги в Отечественной войне 1812 года даровал ему царь-батюшка Александр I. На высоком холме, крутой южный склон которого, поросший дубами, опускается к излучине реки Белой, отставной полковник выстроил белокаменный дом в стиле ампир. Монументальные колонны украшали фасад особняка, атланты подпирали балконы, фонтаны мраморные с амурами, тенистые аллеи. В Париже, докуда гнал Бонапарта, посмотрелся на парадное величие мемориальной архитектуры.

С балкона барского дома видны заливные луга на противоположном правом берегу реки. Далеко за лугами темнеет лес — Кора урман.

От Западного подножия холма верст на пять по берегу реки протянулось село Топорнино, отстроенное крепостными полковника из Вятской губернии. Оседали

Казбек Исмагилов родился в селе Карамалы Башкортостана в канун 1934 года. Голодное и холодное военное детство прошло в селе Кушнареново. Сменил много профессий — пас коров, с сотоварищами выдал на гора миллионы тонн угля, участвовал в строительстве трех гигантских гидроэлектростанций, сажал сады, издал два десятка «смешных» и «грустных» книг. В канун своего семидесятипятоголетия с оптимизмом смотрит в будущее.

здесь в разные годы энергичные вольноотпущенные мужики, впоследствии ставшие купцами, переселялись из соседних аулов башкиры и татары. Мирно соседили народы, никакой розни. Разве что анекдоты о чувашах и евреях — безобидные байки, не затрагивающие национального достоинства.

После революции переименовали село в Кушнаренково. На более серьезную фамилию, Чапаево там или Пархоменко, видать, не тянуло. Кем был товарищ Кушнаренков, как его звали, кто был его папа, никто не знал, да и не интересовался.

Про Топорнина же помнили, сказывали, был барин справедливым, жалостливым. Крестьяне при нем жили сытно, в добротных домах. Иные вон, из толстых бревен, по сей день стоят.

Выстроил Иван Васильевич две церкви. Каменную — на холме, недалеко от усадьбы, и бревенчатую — в деревне.

Каменную молодые воинствующие безбожники, была такая общественная организация, хотели разобрать по кирпичику на строительство социализма. Да куда там! Раствор подлец подрядчик, оказывается, на яичном белке замешивал, кирпич от кирпича отодрать невозможно. Церковь взорвали, шибко уж на виду, укоряла партийцев: «Бога хулите, сами-то хорошие?»

Мы, пацаны, на развалинах «старого мира» находили монеты с двуглавыми орлами. Тяжелые медные пятаки годились для игры в «чику».

Деревянную церковь партийцы приспособили под кинотеатр, порушив купола. Старухи, проходя мимо бывшего храма, украдкой крестились на ходу: «Господи, спаси и помилуй...» И уж совсем чтобы неповадно, вредные безбожники поставили перед кинотеатром памятник товарищу Сталину. В сапогах, солдатской шинели и партийной фуражке. Со злорадным прищуром: «Крестись, бабка, теперь я твой Бог и царь».

Дом наш за номером 26 по улице Большевистской стоит на краю села. За околицей зеленый выгон, куда с крайних дворов после вечерней дойки выгоняют коров пастись до темноты. Дальше — колхозные поля. Три дороги, не считая водного пути по реке Белой, соединяют деревню с большим миром. Возле нас проходит шоссе на райцентр Чекмагушево. Весь в колдобинах. Зимой его заносит снегом так, что только по телеграфным столбам можно определить его положение. Возчики же на лошадаках, запряженных в сани, а это единственный транспорт зимой, прокладывают дорогу там, где им удобно. Иногда прямо по полям.

Летом бабушка Гайша, мать отца, водила меня и старшую сестру Гемму гулять. Шли мы обычно вдоль шоссе, а то и по самой пустой дороге. Машины тогда в диковинку, редкая телега пропылит. Ездок непременно остановит коня, поздоровается и поговорит с бабушкой.

На мне красная майка, снизу она между ног застегивается на пуговицу, получается что-то вроде трусов. На голове — испанка с желтой кисточкой, ноги босые. Сестра одета нарядно — сарафан, панамка, сандалии. Бабушка Гайша держит нас за руки. Зачем бы? И так никуда не денемся. Не в лесу, место открытое, не заблудимся. Только на склоне лет, оказавшись в одиночестве «среди толпы», понял: это она держится за нас, чтобы не пропасть в этой жизни.

В деревне Терис, где бабушка Гайша родилась и прожила большую часть жизни, где остались родные люди, она жена врага народа — мужа, муллу Мухаммеда, в тридцать седьмом «по разнарядке» расстреляли большевики. Была кампания по выявлению «врагов народа». Сын и сноха — мои родители — постоянно заняты. Да и о чем говорить?

— Корт иная (старая мама), бие (спляши), — просит сестра.

Бабушка выбирает ровную площадку на шоссе, снимает с головы цветастый платок, камзол вышитый, аккуратно складывает вещи на обочину. Приосанивается,

сутулую бабушку словно подменяют — спина прямая, голова высоко поднятая, трепет волной проходит по телу. Ее возбуждение передается мне.

Выждав мгновение, как бы прислушиваясь к вступлению музыки, бабушка мелкими шажками пускается по кругу, плавно взмахивая руками, имитируя полет лебедя. Сделав три-четыре оборота, она начинает кружиться на месте, подбоченившись левой рукой, а правой, поднятой над головой, изображает замысловатые движения веером расставленными пальцами, подпевая в такт: «Гена-гидер, гена-гидер, геная да, гена-гидер, гена-гидер, геная!»

Мы с сестрой присоединяемся к танцу, начинаем кружиться, вращая ручонками над головой, припевая: «Гена-гидер, гена-гидер, геная да, гена-гидер, гена-гидер, геная!»

Бабушка молодела, улыбалась белозубо (они в шестьдесят лет сохранились все!), глаза светились, словно отражая солнечные лучи.

Доходим до хлебных полей. Перекликаются перепела, большая хищная птица парит высоко в воздухе. Васильки голубые по берегам золотого моря ржи. Словно осколки неба рассыпаны. Садимся на траву, бабушка учит нас плести венки. Придорожная канава сплошь поросла лопухами. Большие овальные бледно-зеленые листья, смыкаясь, закрывают землю, она под ними тоже зеленая. В зарослях лопуха прячутся страшные разбойники. Они играют на скрипках и никогда не показываются. Разочаруюсь, когда подрасту: на скрипках, оказывается, играли не страшные разбойники, а всего-то безобидные кузнечики.

В ноябре сорок первого отца призвали на фронт. Провожал его до военкомата с мамой и со старшей сестрой Геммой. Стоял морозный день, ослепительно сверкал снег под лучами солнца. У военкомата толпа. По большому черному раструбу на столбе, как призыв, — песня: «Вставай страна огромная, вставай на смертный бой...» Многие плачут. К отцу подошел невысокого роста человек, в телогрейке, подпоясанной веревкой, отвел в сторону и что-то возбужденно стал говорить, показывая на горбоносую, как и сам, девочку. Обутая в татарские лапти с тупыми носками, закутанная в большую шаль, она, потупившись, стояла чуть в отдалении. Отец слушал, кивая в знак согласия. Затем они подошли к нам.

— Вот, — представил отец человека, — учились вместе. Жена умерла в прошлом году. Девочку вон, — кивнул, — двенадцать ей, у соседней оставляет. Просит, если убьют...

— Ты что говоришь, Хамит, — заплакала мать. — Зачем «если убьют», я сейчас ее заберу. Киль, кызым (доченька, иди сюда), — позвала мама девочку, протянув руки.

Та подошла, не подымая головы, мать прижала ее к себе.

— Исемен ничек (зовут как)? — спросила по-татарски.

— Фагиля, — прошептала девочка.

Так в семье стало пятеро детей.

Призванных по шесть человек рассадили в розвальни. Мохнатые, покрытые инеем лошади вначале пошли нехотя шагом, затем перешли на рысь. Мы бежали за санями, но скоро отстали. Обоз выехал за деревню, и его еще долго было видно на белом заснеженном поле. А мы все стояли и стояли в толпе провожающих.

Отец и повоевать-то не успел, пришла бумага из военкомата — пропал без вести. Где-то далеко шла война, ставшая уже привычной, надежда теплилась, может, отец еще и живой. Не убит же, а только пропал. Возвращались иногда на кого и похоронка-то приходила. Искалеченные.

Больше других надежду, что отец жив, вселяла нам бабушка Матам. На самом деле звали ее Амина, а Матам — прозвище. Говорила она много и быстро, часто повторяя: «матам», что являло слияние двух слов: «мин айтам» — я говорю. Единственный сын



ее Ахмат Абдулин погиб в первые дни войны, невестка скончалась от туберкулеза годом позднее, осталась бабушка Матам с тремя малолетними внуками. Жили они по соседству. Каждое утро прибегала бабушка Матам к нам и рассказывала сон. А сны ей снились постоянно, содержательные, оптимистические.

— Жив, Шамсия, твой Хамит, жив, матам, — говорила она моей матери скороговоркой. — Теш курдем, матам (сон видела, говорю).

И начинала рассказывать, да так складно, что мы заслушивались. Никогда сны не повторялись. То отец в партизанском отряде, поезда фашистские под откос пускает, а то и вовсе в логове врага в самой Германии. Сведения добывает для товарища Сталина. Бабушка тыкала согнутым пальцем на портрет (тогда он еще висел), как бы призывая вожда в свидетели. А он криво улыбался, топорща усы: ври, мол, старая карга, ври.

Мать угощала бабушку морковным чаем с молоком, корову мы держали, да еще внукам передавала гостинцы — три кусочка хлеба, намазанных маслом.

Умела бабушка гадать и на картах, и на бобах. Складно гадала, хорошо. На этом и зарабатывала на прокорм внуков.

Шел третий год войны. Зима на дворе, мороз трескучий. В тот вечер бабушка Матам пришла вечером. Уже темнело.

— Ни будды (что случилось)? — встревожилась мать.

— Узнаем сейчас все, — загадочно сообщила бабушка Матам. — Дай-ка, Шамсия, таз и побольше бумаги.

В метре от побеленной стены большой русской печи поставила бабушка табурет, таз на него, набросала туда груды мятых бумаг — тетради наши старые, газеты. Мы расположились за ее сгорбленной спиной. Притушили лампу-коптилку, бабушка Матам подожгла газеты. Комната осветилась зловещим красным светом. Когда большое пламя унялось, на стене печи появились двигающиеся тени.

— Смотрите, смотрите, — зашептала бабушка, — видите, вон он, Хамит. С гранатой. Танк на него идет. Ой, ой, ой! Бах, есть, подбит шайтан. А Хамит где? Да вот же он, вот! Ранен, санитары к нему бегут. Э-э-э, не зря мне вчера сон, то же самое и снилось.

Не знаю, как мама и мои сестры, но я ясно видел и танк, и отца, и санитаров.

В школе «военное дело» начинали преподавать с четвертого класса. Учителя именовали уважительно военруком. Василий Макарович Пушкарев, военрук наш, вернулся с фронта без левой ноги. Носил он военную фуражку, гимнастерку комсоставскую, подпоясанную ремнем со звездочкой, брюки-галифе, сапог хромовый на правой ноге, на левой — струганая деревяшка. Браво закрученные «чапаевские» усы пожелтели от махорки. Слегка искаженное лицо, результат ранения в голову, создает впечатление, что Василий Макарович постоянно чем-то недоволен. Был, конечно, он строг, время военное, но справедлив.

К школьному двору примыкает большой парк, когда-то церковный. По весне березы покрывались мелкими лакированными листочками, крона ажурная, наполненная светом. Благоухали цветущие липы. На высоких, в три обхвата тополях грачи строили гнезда, переругиваясь между собой за престижные места. Осень наряжала парк, как сказал поэт, «в багрец и золото». Там-то мы и проходили «службу», самый любимый наш урок, — маршировали с деревянными ружьями в натуральную величину боевой «трехлинейки», длиннее нашего роста. Дядя Вася, так мы звали военрука в «не служебное» время, давал команду:

— В шеренгу по одному становись!

Суетно выстраиваемся по ранжиру: правофланговым — самый высокий Володя Крошкин, а последним — Бронька Школьников. Я где-то посредине.

— Равняйся! — следует команда. — Смирно! На первый-второй рассчитайся!

— Первый-второй, первый-второй, — катилось по жидкому строю.

— Сдвоить ряды!

Вторые номера делают шаг назад, становясь за первыми.

— Винтовки на-а-а-а плечо! На-а-а ле-е-ево! Шаго-о-ом арш!

Начинаем шагать, наступая друг другу на голые пятки, босые большинство: осень теплая да и носить нечего. Раздается четкая команда:

— Левой, левой, левой!

Постепенно приобретаем сноровку «шагать в ногу». Добившись порядка, дядя Вася давал команду:

— Запевай!

Любил дядя Вася военные песни, особенно «Махорочку».

— Не-е-е забыть нам годы огневые и привалы у костра, — запекает рыжий Володя Крошкин высоким голосом. Нестройный хор подхватывает припев:

— Эх, махорочка, махорка, подружались мы с тобой, мы с тобой! Вдаль глядят дозоры зорко, мы готовы в бой, мы готовы в бой!

Директор школы выгуливал в парке свою собаку, рыжего сеттера с амбициозной кличкой Моряк. Когда маршрут отряда пересекался с директорским, следовала команда:

— Ба-а-атарея!

Зенитной батареей дядя Вася командовал, сам лично сбил два фокке-вульфа, за что ему орден вышел.

По команде мы задирали браво головы и стучали голыми пятками по земле, изображая чеканный шаг.

Следовала команда:

— Равнение направо!

Поворачиваем задранные головы в сторону директорской собаки, она снисходительно виляет хвостом, признавая за своих. Дядя Вася берет под козырек, делает несколько кривых шагов в сторону директора, рапортует:

— Товарищ комдив, батарея занята строевой подготовкой!

Директор, не попавший на фронт из-за возраста, за шестьдесят уже, пряча улыбку, отвечал чисто по-граждански:

— Продолжайте, Василий Макарович, продолжайте.

После завершения марша по парку, следовала команда:

— На месте стой! На-а-а-пра-а-аво!

Останавливаемся, налетая друг на друга, каждый о своем думал.

— На-а-а-пра-а-аво!

Поворачиваемся направо. Не все, Раис Билалов поворачивался налево.

— Вольно! Разойдись! Перекур.

Дядя Вася доставал кiset, сворачивал из газетного листочка «козью ножку», нечто вроде конуса, засыпал в него махорку, закуривал. Мы же начинали веселые, доступные нашему интеллекту игры: в «Осла», «Отмерного» или «Чугунную жопу». Последняя игра наиболее популярная. Начиналась с выявления «тумбы». Делали черту не земле, не заступая ее, прыгали по очереди с места в длину. Кто приземлялся ближе всех к черте, тот и становился тумбой. Сажали аутсайдера на землю и по очереди перепрыгивали через него, стараясь не сбить фуражку. После первого «тайма» на голову тумбы водружали вторую фуражку, и опять прыжки. Количество фуражек с каждым «таймом» добавлялось, и вот кто-то задевал их, и несколько фуражек, а то и все, падали. Тумбу ставили на четвереньки, называлась эта живописная поза «становить раком», автора сбитых фуражек брали за руки, за ноги, раскачивали и били «рака» такой торпедой по заду. Метра на два «рак» отлетал под общий хохот. Его опять

ставили в позу и били повторно, столько раз, сколько фуражек сбито. На следующем этапе интеллектуальной игры тумбу изображала «торпеда», и снова прыжки.

Заканчивался «перекур», начинались упражнения по рукопашному бою, сооружению саперными лопатами окопов, ползанию по-пластунски.

Любовь к чтению привил мне отец. Он преподавал литературу в педагогическом техникуме и был прекрасным рассказчиком. Сказки про зверей отец придумывал сам. Он и меня приучал сочинять.

— Вот, — задавал тему, — встречаются в лесу заяц и волк.

Я задумывался, волка я боялся и не любил.

— А заяц может волка съесть? — спрашиваю.

— Нет, зато быстро бегают.

— Жил-был, — начинаю. — Жили-были, — поправляюсь и замолкаю.

— Ну-ну, — подбадривает отец. — Жили-были...

— Волк любил зайца за то, что он вкусный. Хотел его скушать. А зайчик быстро бегал. Погнался волк за зайчиком. Бегут они по лесу, а навстречу им колобок... Пока волк разговаривал с колобком, заяц убежал.

Отец смеется. Это меня обижает. Страстный охотник, он иногда зимой приносил добытого русака, а мать готовила вкусное жаркое.

— И я люблю зайцев, — оправдываюсь. — Они вкусные.

Днем, когда отец с матерью на работе, корт иняй (бабушка, а дословно — старая мама) брала с этажерки толстую потрепанную книгу, написанную арабским шрифтом, и читала певучим голосом, каким читала намаз в отсутствие «безбожников» (мода времени) сына и снохи. Арабская книга сплошь заселена страшными змеями, громадными орлами, шайтанами, дейями (нечто круче шайтана) и прочими страхами. Всем им противостоял простоватый, но отважный джигит. Он «разводил» события и всегда выходил победителем. И если женился, случалось и такое, то непременно очень удачно, на красавице, с богатым приданым. А иногда ему и полцарства отваливали. Когда бабушке надоело чтение, а я просил продолжения, она пугала меня белым волком. Нельзя, дескать, днем подолгу читать сказки, иначе придет белый волк и съест. Белого волка я боялся.

Во время войны, да и лет пять спустя, по деревне попрошайничало множество обездоленных. И своих, и пришлых из соседних деревень. Из «своих» по нашей улице, именуемой Большевикской, и по соседней — Рабочей побиралась семья Пурюты. Сам Андрей Пурюта, по деревенским меркам ничемный человек — метеоролог, погоду предсказывал, и все невпопад, ушел на войну добровольцем чуть ли не в первый день ее начала, оставив на поечение жены-француженки троих белобрысых, как и сам, детей. Один другого меньше, старшему Альберту — десять. Француженка (может, она и не настоящая), совершенно не приспособленная к самостоятельной жизни, преподавала в Доме культуры танцы. С началом войны кружки хореографические распались, и «неумехе» ничего не оставалось, как ходить по домам просить милостыню. Приобщила она к этому ремеслу и двоих детей, что постарше. Наша улица попала в «сферу влияния» среднего сына Эммануила, на год старше меня. Питались мы тогда в основном, как и большинство, картошкой. Сами выращивали, огород в десять соток примыкал к дому. Хватало выращенной картошки и семье, и на подаяние. Мать никогда не отказывала нищим, наказывала и нам: «Сам не поешь, а голодного накорми». Если нищий заходил, когда мы кушали, мама сажала его за стол, заставляя предварительно помыть руки. Как-то Эммануил застал меня дома одного. Я рассматривал картинки в фантастическом романе, написанном Жюлем Верном. Не помню сейчас названия, но помню, что там притягивали Луну к Земле громадным магнитом, сооруженным в Африке.

— Подайте Христа ради, — прогнусавил Эммануил. В руках у него палка, за плечами холщовый мешок.

Не откладывая книгу, подал две картофелины, достав их из ведра.

— Читать-то умеешь? — шмыгнул Эммануил носом, кивнув на книгу. Одет ветхо, постоянно простужен.

— Умею, — сказал я и, смутившись, добавил: — По слогам.

— Давай я почитаю.

Эммануил прислонил палку к косяку, снял шапку, стряхнул снег с лаптей, прошел в комнату. Устроились мы на диване, я с ногами залез, он деликатно присел на край. Эммануил не просто читал, а читал артистически. В иных местах он переходил на трагический шепот, временами вскакивал, переходил на крик, закатывал голубые глаза, размахивал руками, топал ногами. Так выразительно мне не читал еще никто.

С этого дня мы подружились. Эммануил, я звал его Эдиком, сам он об этом попросил, приходил часов в десять утра, мать и старшая сестра Гемма к тому времени уходили каждая в свою школу. Да они бы и не возражали против наших чтений. Младшие сестры под большим письменным столом строили кукольные домики. Мы читали. Эммануил иногда приносил свои книги. Так я познакомился с героями сказок Андерсена, с Томом Сойером, благородными и отважными индейцами Фенимора Купера.

Кончалась война. Девятого мая военрук дядя Вася построил учеников во дворе школы. По классам, колоннами по два. Вышел директор, волнуясь и вытирая слезы, произнес нескладную речь, что-то говорил: «И вы рады, и я рад, всегда будем помнить тех, кто не вернулся». По случаю победы учеников распустили по домам. Двор быстро опустел, я остался стоять, комок подступил к горлу, умерла надежда на возвращение отца. Я не видел, как ко мне подошел дядя Вася, ковыляя на деревяшке. Почувствовал его шершавую руку на своей щеке, он вытирал мои слезы.

— Ты должен продолжить жизнь отца, — сказал. Долго молчал. — Че, дык приходи, в шашки вон сыграем. — Опять помолчал. — Ну-ну, жить надо, — и как бы подбирая слова, добавил: — Достойно, как отец. Знал его...

Я пошел в школьный парк, забился в кусты сирени, которые уже набирали бутоны, и проплакал до вечера.

Мать, несмотря на свое педагогическое образование, была предприимчивой и энергичной женщиной. Видать, гены деда-«кулака» передалась. Делала она все возможное и невозможное, на первый взгляд, чтобы прокормить и одеть детей. И не только своих. В первые годы войны она учредила и сама заведовала детским домом, где содержались сироты и бывшие беспризорники. Я не помню, скольких она приютила, полагаю, не менее ста. Землю выхлопотала. Картошку детдомовцы выращивали, сеяли просо и гречиху. Пшеницу и рожь власти советские почему-то запрещали сеять и в подворьях, и организациям. Проблем с содержанием детдома хоть отбавляй, не хватало выделенных районом денег на пропитание, на покупку одежды и обуви. Мать уволила несколько уборщиц, кухарок и воспитателей. На освободившиеся места поставила детей, что постарше. На сэкономленные деньги покупались носильные вещи для девочек, понаряднее, чтобы не дразнили в школе «дурдомовками» за мешковатую казенную одежду.

Как-то по случаю мать купила для личного хозяйства сепаратор — агрегат для отделения сливок от молока. Пользовались сепаратором и соседки, у которых коровы, таких в деревне большинство. Да и что не держать скотинку, кругом деревни выпасы, заливные луга по берегам реки — сенокос богатый. Приходили соседки после утрен-

ней дойки, что называется, «ни свет ни заря», собиралось до десятка баб и девиц. Мать никому не доверяла крутить ручку сепаратора. Шибко уж агрегат капризный, крутить надо в разном темпе: в начале процесса с определенным ускорением, в рабочем режиме — равномерно, один оборот в секунду. Женщины, в ожидании очереди, тараторили без умолку, больше всех болтала Мадина, статная, белолицая, одна из немногих мужних женщин. Потому-то и статус высокий, остальные либо солдатки, либо вдовы, либо девицы-недотепы. Мадина знала все и обо всех, и не только по деревне, но и за пределами. Особо пользовалась уважением у молоденьких девиц, которых учила уму-разуму по деликатным «дамским» делам. Политику не затрагивала. Сказывали, вызывали ее, словоохотливую, в «органы», предупредили: за язык тоже срок светит, как и за кражу килограмма зерна с колхозного тока.

Постоянно занятая мать иногда оставляла сепаратор на мое попечение. Доверяла, приноровился крутить ручку «по правилам». Для энтузиазма похваливала: «У тебя даже лучше получается, сынок!» Гордился доверием. Кручу, фантазирую: ровный гул сепаратора — рокот мотора. Лечу над вражеской территорией на большом двухмоторном самолете. Такой на прошлой неделе приземлялся на выгоне за деревней. Высматриваю цель. Есть! Вот он — вражеский танк, с ревом идет на наши окопы. Пикирую, сбрасываю бомбу. Ба-бах! Отлетела башня, танк горит. Немцы повывскакивали из горящего танка. Я из пулемета по ним: ды-ды-ды-ды! Гитлер капут! Мы, пацаны, все в те годы играли в «войнушку», мечтали стать летчиками или моряками. Много лет спустя меня отчислили из военного училища за разбитый учебный самолет... Володя Крошкин — стал штурманом самолета дальней авиации, Раис Белалов — артиллеристом, как дядя Вася.

Приземлился, вылез из самолета, отстегнул парашют, докладываю командиру эскадрильи. А тут Мадина толкает легонько в спину:

— Эй, молай, кутен колай (мальчик, задница жестяная), — скаламбурила, — ты что, уснул?

Оказывается, молоко надо долить, вхолостую сепаратор кручу. Долил.

— Представляете, за всю войну, да и год после ни одного письма. Верно, и похоронки не было. — Рассказывает Мадина о Пурютиных. Живет по соседству, вхожа в дом, помогает. Прислушиваюсь, это уже интересно. Что отец Эммануила вернулся с войны, уже знал. Приходил недавно Эммануил попрощаться.

— На Украину, — сказал, — уезжаем, папкину родину.

Светился весь. Одет хорошо, на ногах ботинки вместо привычных лаптей. Принес связку книг и складной ножичек с перламутровой ручкой и множеством лезвий.

— Подарок от отца, — потоптался на месте. Ком к горлу подступил, как в тот день девятого мая. Уловив мое состояние чистой детской душой, Эммануил тихо произнес: — Ты уж извини, знаю, погиб твой...

— Секретное задание товарища Сталина выполнял, — озираясь, трагическим голосом рассказывала Мадина про Андрея Пурюту, — вся грудь в орденах. Мой (мужа она звала не иначе, как «мой») вчера с бутылкой к нему поперся. Ему лишь отмечать... Хорошо отметили, еле своего приволокла. Ну, мой по пьяни там и ляпнул: приплод, дескать, куда? За язык ахмака (дурака) тянули.

Мадина окрасила голос добродушным сарказмом:

— Пока Андрюша шпионил пять лет и ни слуху ни духу от него, Мария двух пацанов произвела. Черных, как смоль, и как две капли похожих на учителя пения горбатого Сачхери. Малайки, Аллага шекер (мальчишки, слава Богу), родились без горбов. Растут как на дрожжах, моей корове спасибо пусть скажут, и уже бегают без штанов.

Болтали в деревне, тут все на виду, до войны Сачхери играл на скрипке в оркестре Дома культуры. Там-то и покорил музыкой впечатлительную танцовщицу Марию

Пурюту. Отношения дальше томных взглядов и деликатных целований ручек не продвигались. Слухи доходили и до Андрея, но он значения не придавал, отшучивался: не резинка, не сотрется. Доверял жене. Семейей Сачхери не обзавелся, хотя выбор богатый, перезревшие деревенские девахи глазки строили, а мамыши их приглашали музыканта на постой. Снимал скрипач углы, но девушками не интересовался. Это их обижало.

— Так вот, — продолжила рассказчица после «ремарки», — что вы думаете, сказал Андрюша, пересчитав детей?

Брови Мадины выгнулись дугой, глаза округлились. Товарки, как по команде, разинули рты, ожидая сенсацию.

— Не-е-е, — покачала Мадина головой, — совсем не то, о чем вы, срамницы, подумали. Он таких слов-то не знает, культурный! Много народу война порубила, сказал. Сам человек двадцать сгубил. Хотя и враги, но люди же. Надо восстанавливаться, а как иначе. Будем растить. И моего вон фрау в Дюссельдорфе нянчит...

Через месяц Пурюты уехали, точнее — уплыли вниз по Белой на однопалубном пароходе «Разведчик». Провожала семью чуть ли не полдеревни. Играл уже восстановленный клубный оркестр. Семья выстроилась на верхней палубе, Андрей держал на руках двух малышек. Они перебирали ручонками его медали.

— Мария, спляши на прощание! — крикнул кто-то из толпы.

В руке француженки красным пламенем вспыхнула косынка. Она закружилась по палубе, сделала несколько умопомрачительных па, словно чайка паря в воздухе. Ее не сломили ни голод, ни унижения, душа ее осталась чистой, как воды Ак идел (Белая река). Пыхтевший до этого пароход, как бы салютуя возрождению новой жизни, дал длинный басовитый гудок.

Тут я увидел скрипача. Он стоял в стороне от толпы, держал в руках скрипку, слезы означили русла на осунувшихся, небритых щеках.

\* \* \*

Через дом от нас базарная площадь с торговыми прилавками под открытым небом. До войны площадь была обнесена высоким плетнем, два въезда по будням закрывались воротами, сколоченными из жердей. Сегодня эта композиция смотрелась бы экзотично — называлось английским словом «кантри» (деревенский стиль). Тогда не ценили, этим кантри полдеревни огорожено. Базарную ограду вместе с воротами растащили на растопку в первый год войны. Топили печи торфом, а он без растопки не загорался. Летом, по воскресеньям, здесь собиралось множество народа. Зимой меньше. Торговали носильными вещами, продуктами, вонючим самопальным мылом, табаком, водкой из-под полы, скотом, птицей и всякой всячиной вроде тележек, велосипедов, патефонов и прочего, по сегодняшним дням, хлама. Базар к тому же являл нечто вроде культурного и информационного центра. Здесь встречались люди, съехавшиеся из разных деревень, обменивались новостями, играли на гармошках, пели песни, плясали в пьяном кураже, гадали. У иных гадалок были клеточки с морскими свинками или щеглами. Они вытягивали конвертики с оптимистическими предсказаниями. Масса воришек шныряла, и своих деревенских, и гастролеров. Наезжали и серьезные уфимские уркаганы. Те промышляли по-крупному, «кидали» скототорговцев. Рассчитываются не торгуясь, а продавец, вернувшись домой, пересчитывая для удовольствия деньги, обнаруживает только половину суммы, а то и пачку нарезанной бумаги, обложенную аккуратно с двух сторон купюрами. Сестра моя приемная Фагиля торговала табаком. Сами выращивали. По тем временам ценилось крепкое курево. Наш, самосад, средней крепости, шел по пять рублей за стакан. В мои торговые функции входила охрана. Сле-

дил, чтобы ворюшка не выхватил у сестры из открытого мешка стакан с табаком. Такое случалось часто, схватит шпана стакан, шмыгнет в толпу, только лапти и сверкнули, поди догони. Рядом с сестрой торговала семечками пожилая женщина. Пожилая — по моему тогдашнему восприятию, а так ей лет сорок, наверное, не больше. Опекала ее племянница Фарида, крепкая деваха, работавшая в МТС (станция по ремонту сельхозтехники) конюхом. Носила Фарида непривычные по тем временам для женщин брюки и прозвище, видимо за крепкое телосложение, — «двужильная».

В одно из воскресных дежурств заметил — снует около мешков Алик, младший брат одноклассницы Раи Липатовой. Слыл он отчаянным драчуном и хулиганом, пацаны постарше его побаивались. В драке цеплялся длинными ногтями в лицо, оставляя кровавые полосы. Алик подмигнул мне заговорщицки: не дрейфь, дескать, не хапну у твоей. Не любил его, да и побаивался, хотя стычек серьезных между нами не было. Вот, думаю, схватил бы ты стакан у тетки Фариды, мало бы не показалось. Предупреждать «налетчика» о засаде не стал, хотя и мог. Злорадно ждал драмы. Томиться пришлось недолго. Алик схватил стакан с семечками, юркнул в толпу.

— Э-э-э! — закричала женщина, взмахнув руками, словно пытаюсь взлететь.

Фарида в два прыжка настигла Алика, отвесила увесистый тумак, стакан выпал из его рук, семечки рассыпались. Алик отбежал в сторону от базарной толчеи на безопасное, по его соображению, расстояние, стал изображать обидчице непристойные жесты:

— Вот тебе, кобыла двужильная!

— Догоню, засранец, уши оборву! — погрозила Фарида.

— Да пошла ты на фуй! — выкрикнул Алик. Из-за выбитого в драке зуба вместо «х» у него получалось «ф».

Фарида рванула с места, Алик, взявший поздний старт, очутился в «горячих» объятиях. Двужильная согнула его пополам, затрещали порванные штаны, спущенные ниже колен.

— Где тут ...?!

Словно призывая в свидетели базар, Фарида развернула пленника в сторону толпы. Нецензурное слово, произнесенное ей, не воспринималось матом, а означало лишь анатомический орган, все равно что нога или шея.

— Это называется пиписька, а ... вот каким бывает!

Фарида сжала кулак, согнула руку в локте, показывая некий гротескный размер.

Базар покотился с хохота, такого бесплатного цирка здесь еще не видели.

— Увижу еще на базаре, фуй твой оторву! — слегка наддала Фарида по худому заду, отпускающая пленника.

При выходе с базара дорогу мне преградил Алик.

— Ты, Козел, — прошепелявил угрожающе. Кликуха у меня такая, созвучная имени. — Расскажешь кому, порежу, — в руках хулигана блеснула зажатая между пальцами бритва.

Я решительно шагнул к Алику, сунул руку в дырявый карман, как бы собираясь достать нож.

— Кто козел, ты, пиписька? Я козел?!

Алик резво отскочил.

— Ладно, ладно. Ты чё?

Я сделал еще один решительный шаг, медленно вынимая руку из кармана. Алик побегал. Это было поражением, а кличка «пиписька» надежно к нему прилипла.

У выхода с базара сидела нищенка-подросток с очень красивым лицом и поразительными голубыми глазами. Она хрипловатым, низким голосом пела жалобные песни о неустроенной, обездоленной жизни.

— Ей, козлик, иди-ка сюда, — позвала. «Козлик» звучало не оскорбительно и где-то даже ласково. Подошел.

— Крепко ты его на понт взял, — похвалила. — Дай закурить.

— Не курю я, — сказал, как бы оправдываясь.

— Пойди окурки собери, — не то попросила, не то приказала голубоглазая нищенка.

Сбегав домой, тут рядом, принес горсть табака.

— Сыпь сюда, — растопырила она карман кофты. Высыпал, стряхнул с ладони прилипшие крошки табака. Почему-то не уходил, что-то меня удерживало. Нищенка, как бы вопрошая, подняла голову, взгляды наши встретились.

— Дусей меня звать. Хочешь, титьки покажу?

— Дура, что ли?! — оторопел я.

— Вот, — рывком распахнула нищенка старую, давно не стиранную кофту, обнажив две маленькие, похожие на белые наливные яблоки грудки с розовыми сосками-пуговицами.

Я убежал, преследуемый ее хриплым хохотом. Впоследствии заходил на базар с дальнего конца, чтобы не встречаться с Дусей. Но что-то меня влекло, я подолгу смотрел на нее, скрываясь в базарной толчее, слушал ее пение. Одну — «Бублики», помню и сегодня. Будучи уже в ранге «молодого человека», знакомясь с девушками, искал в их облике черты Дуси.

\* \* \*

Интересно наблюдать за торговлей скотом, особенно за покупкой коровы. Зимой в скотном ряду собирал сено — продадут корову, а сено, которым ее подкармливали, как бы оправдываясь за предательство, оставалось. Я то сено аккуратно сгребаю, на санки, и домой, своей корове. По воскресеньям она наедалась досыта. Летом же и так сыта, травы на выпасе хватает.

Покупатель несколько раз обходит ряды, заглядывая коровам то в рот, то под хвост, дергает за вымя, хлопает по крупу. Ценой интересуется, предлагает свою, явно заниженную. Выбрав, наконец, подходящую скотину, покупатель начинает торговаться, высказывая хулу. И корова-то худая да старая. Малорослая, вымя как у козы. Такая не может быть молочной. И рог один кривой, вида нет.

— Ты что, жениться на ней собрался? — делает удивленное лицо продавец. — По второму разу только нынче отелится, десять лет будешь доить. Смирная, не брыкается при дойке. А глаза? Ты в глаза загляни.

— Ну, — не понимает покупатель, заглядывая в печальные глаза коровы.

— Красавица! Такую корову во дворе держать одно удовольствие.

Торг достигает апогея, стороны бьют шапками оземь, выкрикивая каждый свою цену. Подымают шапки, стряхивают с них снег (летом пыль), называют более приемлемую цену, повторно бьют шапками. Торг, наконец, состоялся. Продавец отвязывает веревку от привязи — толстой жерди на метровых стойках, передает конец веревки покупателю. Тот берет ее подолом пиджака. Такой обычай. Пересчитываются несколько раз деньги, рассматривая внимательно отдельные новые купюры, не фальшивые ли. Деньги переходят к жене продавца, она засовывает их за пазуху, оставляя несколько мелких купюр для покупки гостинцев детям. Мужики пьют водку — магарыч, закусывают огурцами, вареными вкрутую яйцами и черствым черным хлебом.

Последнюю корову мать купила в деревне Баскаково, что в пяти километрах от



Топорнина. Своенравной скотинкой оказалась та корова по кличке Нинка. Доилась, верно, хорошо — ведерница, по ведру молока давала за удой, утром и вечером, но никак не хотела пастись в табуна.

Пастух Степан начинал собирать стадо на берегу озера с романтичным названием Кумеш (серебряное). Почти круглый водоем, где-то метров сто в поперечнике, располагался в низине посреди деревни. Берега озера сплошь поросли калужницей, по которой идешь босой, словно по бархату. Сюда рано утром хозяйки сгоняли скотину с близлежащих улиц. Собрав большую часть табуна, Степан гнал коров по улице Рабочей в сторону выгона. Стадо увеличивалось по мере продвижения. Впереди шла собственная корова пастуха с нетрадиционной кличкой. Большинство коров Маньки, Дуньки, Буренки, а эту величали Венеция. В табуна главенствует не бык, как можно бы предположить, а старая корова. При ней «фрейлины» из молодых особей, остальное поголовье — табун. Об этой иерархии я узнал позднее, будучи подпаском у Степана.

Нинка паслась до обеда, а после водопоя, как выражался Степан, «дезертировала». Совершив «побег», первое время уходила в родное Баскаково, а позднее, привыкнув, возвращалась к нам домой. Оказалось, в маленькой деревне, откуда ее взяли, скотина паслась вольно, без табуна.

Степан поставил условия: или пусть твой малый походит недельку-вторую подпаском, пока корова привыкнет, или сами пасите. Где — это уже ваше дело.

Мать никогда не принуждала нас, детей, что-то делать по хозяйству. Она устраивала нечто вроде «совета», на котором ты сам решал — чем помочь семье. Иначе не выжить.

— Ну, как? — спросила мама. — Пойдешь?

— Конечно, — согласился, не задумываясь. Другого ответа мама и не ждала. Не сестренкам же.

Сборы на первую вахту. В холщовую сумку мать положила ломоть хлеба, яйцо вкрутую, две картофелины, соль в спичечном коробке, бутылку молока и две печенюшки. Кнут у меня был свой, верно, не такой длинный, как у Степана, и хлопал не так звучно при резком взмахе вперед.

Плелся я сзади стада, не выпуская из поля зрения Нинку. Мне казалось, она тоже поглядывает на меня, что, мол, тут изображаешь. Потом-то, когда в бега ударялась, поняла, зачем я приставлен.

Конец мая, земля после ночи холодная. Мерзнут босые ноги. В начале лета уже все пацаны босые. Подошва настолько грубеет, что не ощущаешь неровности почвы. Грею на ходу ноги, наступая на коровьи «лепешки». Они пластичные, нога погружается почти по щиколотку, ощущая приятное тепло.

В первый день Нинка, как бы испытывая меня, пустилась в бега еще до водопоя. Догнал ее километра через два. Вернул в коллектив. После водопоя — вторая попытка. Вернул после километра пробежки и уже не отходил от беглянки.

Через неделю Нинка привыкла к табуна. Степан приспособил меня заворачивать других вольнолюбивых коров. Они не убегали, а просто разбредались, и могли стать жертвами волков. За войну их много развелось. А еще через неделю Степан предложил мне поработать до школы подпаском. Зарплату назначил достойную. Согласился.

Впоследствии имел спортивные разряды по бегу, первыми тренерами были коровы, тренировали бегу на короткие и длинные дистанции.

\* \* \*

Почти всю зиму сорок четвертого провалялся с малярией. Наступила долгождан-

ная весна, корм подножный появился — щавель, лук дикий, а с ними и постепенное выздоровление. Помощник после болезни я никакой, и мать отправила меня на откорм к аби (бабушке). Жила аби с Закией-апой, незамужней, очень набожной дочерью, в шести километрах от железнодорожной станции Аксаково. Тридцать две избы деревни растянулись вдоль студеной речки Караган-елга, повторяя ее изгибы. Берега поросли ивой и черемухой. Форели, тут их называют пеструшками за цветные пятна на спине, удерживаются на быстрине, выслеживая добычу, слегка, словно лентяй, шевеля хвостом. В центре деревни самая большая изба. В одной половине — школа-четырёхлетка, где директором и учителем всех четырех классов Закия-апа. До обеда апа (так принято звать учительницу в татарских школах) обучает первый и второй классы, после обеда — третий и четвертый.

До Уфы добрался без проблем парходом. Булка хлеба, шестьдесят рублей на билет — все мое довольствие. Торчу на железнодорожном вокзале третий день. Хлеб доедаю. К кассе не подступиться, куда там! Военные, командировочные, энергичные дядьки, злые тетки, инвалиды. Займу очередь и стою, пока не уйдет очередной поезд. Ночью между подходами поездов дремлю на привокзальной площади. Скамейки здесь. Проснулся утром третьего дня, сразу и не заметил, что босой. Привычка. Хотел полюбоваться на штилеты, мать купила на базаре перед отъездом. Мало ношенные. А их нет. С недоумением заглянул под скамейку. Да куда там, я же их не снимал, ложился когда. Ночью кто-то разул.

Повезло неожиданно. На перроне подозвал меня хорошо одетый дядька:

— Иди-ка сюда, — поманил пальцем.

Положил руку на плечо, оскалил крупные белые зубы.

— Куда путь держим, молодой человек? — прокартавил.

— Аксаково, — шмыгнул носом.

— Знаешь, кем был Аксаков?

У отца была книжка Аксакова с изображением птиц и зверей — «Записки ружейного охотника». Одна из первых любимых мной книг.

— Писатель.

— Це, — щелкнул одобрительно языком зубастый. — Билетик-то есть?

— Пока нет.

— Поможем. А ты вещички моим знакомым довезешь до Абдулина. Там рядом тебе.

Еле заметным жестом благодетель подозвал двух парней с большими узлами. Один постарше, с костылем, в выцветшей гимнастерке, другой — допризывного возраста в белой, вышитой синим узором, косоворотке.

— Малый поможет, — кивнул на меня зубастый. Посмотрел на мои ноги, ощерился. — Обуйте джентльмена.

Допризывник развязал один из узлов, покопался, посмотрел на мои ноги, прикидывая размер, достал ботинки. Совершенно новые. Обулся. Ботинки несколько велики, да и хорошо, в школу пойду в них. Ноги-то подрастут за лето. Догадался, в узлах краденое, сами боятся везти. Почему не убежал? Ехать надо, обули, да и боялся зубастого.

Подошел скорый поезд номер шестнадцать «Владивосток—Москва». Перрон ожил, загудел, задвигался хаотично, как один чудовищный живой организм.

Что с костылем, похромал шустро за билетом, допризывник шепотом, озираясь, «декларировал» багаж: «Шуба мужская, шуба бабья, костюм синий в полоску, туфли белые...».

— Станут шмонать, скажешь, везу на муку менять, понял? Да смотри у меня, дашь деру, перышко в бок. Следить буду.

Подоспел билет. Похоже, урка не стоял в очереди.

Зубастый дал десятку на носильщика. Но услуги его не понадобились. Три милиционера в фуражках с малиновым верхом, наганы наготове, окружили нашу банду.

— Вас трое, пацан четвертый, — ткнул в меня милиционер наганом, — вещички в руки и пошли.

Звякнул вокзальный колокол, паровоз загудел, поезд лязгнул сцепками вагонов, двинулся, набирая скорость. Банду конвоировали по его ходу. Вот и последний вагон с кондуктором на задней площадке. В классе я бегал быстрее всех, чем неожиданно для себя и воспользовался. Нагнал уходящий состав, вцепился за поручни, вскочил на подножку. Те старые вагоны позволяли это.

Прозвучал сухо выстрел. Кнутом словно наш деревенский пастух щелкнул. Непроизвольно оглянулся. На пустеющем перроне лежал человек в выцветшей гимнастерке, поодаль валялся костыль. Видать, он бросил бутафорский костыль и рванулся за мной. Пуля-дура догнала его.

\* \* \*

Любили ли мои родители советскую власть и лично товарища Сталина, портрет которого висел у нас в красном углу, вместо иконы? Я об этом задумался после войны. Уже знал, что деда моего по отцу — Мухаммеда, деревенского муллу (муллой-то он был «по совместительству», а так землю пахал, хлеб растил), расстреляли по доносу соседа-завистника, а отец матери — «кулак» Залялитдин, по сегодняшней тарификации — рачительный хозяин, отсидел пять лет в Соловках, а потом скитался по Узбекистану, опасаясь повторных репрессий.

Я лично возненавидел товарища Сталина в двенадцать лет зимой сорок шестого. Тогда-то тайком от матери сжег вождя. Исчезновение портрета мать не заметила или сделала вид.

Началось все с исключения меня из школы. Приказ гласил: «За хищение частной собственности...». Крепко сказано. А всего-то трое пацанов стянули из сарая завхоза педучилища чикнутую молью шкуру барана. Снесли овчину заготовителю. На вырученные деньги купили кулек мятных конфет.

Тогда с голодухи все тащили — у колхоза, у совхоза, друг у друга. Для пацанов потрепяти соседскую яблоню или еще что слямзить и не зашухариться было что-то вроде спорта.

Завхоз, воришка покруче нас, сопливых (должность провоцирует), вычислил «налетчиков» без труда и сдал директору школы Биккенину. Директорствовал он первый год. Сурово. При встрече с ним, здороваясь, мальчики должны были снимать шапки.

На предварительном «слушании» всю вину я взял на себя. Показательное же судилище, где прокурором и судьей назначил себя директор, состоялось позднее, в кинотеатре. Школьный зал не вмещал всех с первого по десятый.

Для «вершителей» притащили из школы два стола, поставили перед экраном, накрыли партийным кумачом. Меня изолировали, как носителя вируса зла, посадили поодаль от коллектива на табурет киношного контролера. Тот обычно сидел на нем, охраняя двери, пока шел фильм.

Под жидкие овации, ребята не умели лицемерить, избрали почетный президиум — из членов политбюро во главе с товарищем Сталиным. В рабочий, во главе с директором, вошли: учительница географии Биккенина, отличник из десятого класса Трофимов, военрук Пушкарев. Там же сидел сам пострадавший, нацепив по случаю торжеств замазанный довоенный галстук.

О чем думал я на «скамье подсудимого»? Почему-то вспомнился рыжий оборвыш на уфимском базаре. На каникулах торговал там махоркой, по пятнадцать рублей за пару стаканов. Значительно дороже, чем в деревне. Помогал семье, учительской зарплате матери на прокорм пятерых детей не хватало.

Рыжий сидел при входе на базар, пел высоким, чистым голосом: «И в эти минуты заочите смерти, но смерть тут от вас убежит». Привлекали его глаза, необычайной голубизны, каким бывает небо перед закатом после грозы. Я щедро отсыпал ему махры.

Воспоминания отразились на моем лице жалостью: к рыжему, к себе, к маме. Навернулись слезы. В сумраке зала никто этого не заметил, да и, похоже, никого я не интересовал.

Директор начал с «заздравия»: ремонт школы, заново выстроенные, отдельно стоящие туалеты «М» и «Ж», наглядные пособия, отличники, ударники, процент успеваемости. Где-то через урок Биккенин вспомнил, для чего собрались, посмотрел на меня, поморщился. Набрал воздуха в легкие, словно собирался запеть. Но не запел, выдохнул с шумом и продолжил менторским тоном: «В то время, когда страна залечивает раны после тяжелой кровопролитной войны под личным руководством товарища Сталина...»

При упоминании Сталина мирно дремавший военрук вскочил, стукнул деревянной ногой, скомандовал:

— Встать! Смир-рно!

Захлопали откидные сиденья. Директор с осуждением посмотрел на инвалида.

— Вольно, сесть, — тихо произнес тот.

Во время судебного разбирательства малыши то и дело тянули руки: «Можно мне в уборную?» Нарушалась серьезность мероприятия. Директор обижался: «Нельзя потерпеть, а?»

Разбирательство закончилось «расстрельным» приговором: «Исключить, без права восстановления...». Опять захлопали откидные сиденья. Старшаки из задних рядов ринулись к дверям, отпихивая мелюзгу. Толкотня, гвалт, кто-то кого-то сумкой по голове: «Дурак! А сам-то умный?». Про меня тут же забыли. Вовка Медведев, хронический второгодник и хулиган, пробегая, толкнул дружески:

— Тебе хорошо, Козел! Гуляй-не хочу...

Подошла «русачка», Татьяна Андреевна. Маленькая рука в белой варежке слегка приобняла меня. Почувствовал щекой мягкий ворс кроликовой дохи.

— Это не конец света, все образумится, — шепнула.

Через три года, когда ходил уже в «правах», на уроке литературы пересказывал отрывок из «Слова о полку Игореве». Что не помнил, сочинил на ходу: про половцев, про князя. Татьяна Андреевна слушала внимательно, улыбалась, одобрительно кивала головой.

— Казбек, ты будешь писателем, — предрекла.

Сбылось пророчество. Жаль, не узнала она, рано умерла.

Молодости присуща короткая память. Забыл школьные неприятности, да и знаний тогда особо не жаждал. Ходил в дальний лес за сушняком, вблизи все вырубали, торговал на уфимском базаре табаком. А туда шестьдесят верст, два дня топать с обозом, одному не безопасно! Ходил за скотом: корова, две козы. Вечерами отирался возле кинотеатра.

Мы, пацаны, приобщились к «важнейшему из искусств» творчески: сбрасывались на один билет, засылали в кинозал лазутчика. Обычно Рифхата Садыкова. Подозрений не вызывал — толстячок, очкарик, одет прилично. Отец — интендант, добра из Германии вагон привез.

Перед фильмом «крутили» киножурнал. Контролер в это время запускал опоздавших. Рифхат тайком открывал выходную дверь, что напротив памятника вождю. Мы крадучись проникали внутрь, растворялись среди зрителей.

Перед Новым годом шел трофейный фильм «Тарзан». На нем и попались. Киношный директор Васька Парнак по кличке Чуваш разгадал нашу хитрость, или кто из наших проболтался, а пацан его, хлюзда Мишка, донес отцу.

Попался я с Раисом Билаловым. Раис изловчился, укусил Чуваша за руку. Вопль на весь зал ... Раис свободен.

Меня Чуваш поволок в кинобудку. Перевязал укушенную руку тряпкой, что служила ему носовым платком, долго дул на руку, злобно меня рассматривая.

— Кто эта б...? — зашипел Чуваш, кивая на перевязанную руку.

— Откуда я знаю, — огрызнулся я, прикидывая, как бы сбежать.

Мои помыслы не остались незамеченными, Чуваш запер дверь кинобудки на ключ.

— Скажешь — отпущу.

Молчу, тупо гляжу на свои не единожды подшитые валенки. Очень надо...

— А-а, так это ты! — повеселел Парнак, признав меня. — Тебя из школы турнули, а ты опять!

— Да, — подтвердил, — меня. А что опять-то?

Парнак задумался, прикидывая, как бы выгоднее использовать ситуацию, задул на руку более энергично: фу-у, фу-у.

— Не уважаешь ты товарища Сталина. Не-ет, не уважаешь... Вот что опять...

— Про Тарзана же картина, — не понял я. — Сталин-то при чем.

— Тарзана вы все уважаете, а товарища Сталина не любите. На памятник его гадите, оградку разобрали.

По части первого пункта обвинения Чуваш был прав — в потемках, после второго сеанса, из-за отсутствия рядом уборной все мужики, особенно когда в фойе продавали разливное пиво, с удовольствием «орoshали» постамент памятника, без каких-либо политических претензий к вождю. Снег вокруг вождя желтел от мочи. А что касается оградки вокруг памятника, то она давно сгнила, упала, обломки растащили на растопку.

Парнак поставил условие:

— Или восстановишь ограждение, или Эн-Ке-Ве-Де.

НКВД произнес отдельно, угрожающе тараща глаза.

Про это самое НКВД в свои двенадцать лет, да и позднее, до Солженицына, знал смутно. Но ОНО страшило, как в раннем детстве ак буре — белый волк из сказок бабушки Гайши.

Мамина подруга Амина-апа, утирая глаза кончиком белого головного платка, шепотом произносила это самое НКВД, рассказывая про арест балагура-мужа по прозвищу Буке (пробка), за малый рост. В чайной, что напротив райпотребсоюза, подвыпивший Буке смешил публику, показывая пальцем не то на райпотребсоюз, не то на портрет товарища Сталина, что висел над стойкой. Все смеялись. Кроме буфетчика.

А еще раньше НКВД забрала директора райбанка Фариды Мулюкова. Японским шпионом оказался... Непонятно, что японцев интересовало в нашей деревне и откуда они узнали о ее существовании.

Помогал мне сооружать оградку вокруг памятника Бронька Школьников, друган и поделник в «шкурном» деле, которого я не выдал.

Ночь. Мороз под сорок. Луна искрит сыпучий снег, отбрасывает наши длинные причудливые тени. Редко какое окно заваленной сугробом избы щурится тусклым желтым светом керосиновой лампы. Зловеще скрипят отдираемые доски забора ветлечебницы, что на окраине села. На санках, окольным путем, запутывая следы, доставляем добытый стройматериал к кинотеатру, прячем под высоким крыльцом. Сталин смотрит на нас с постамента, не то осуждая, не то одобряя наши действия.

Четыре ходки сделали за ночь. Утром начали обустройства вождя. Благо Бронька во вторую смену, а я вообще вольный казак.

Сооружаем оградку по «науке». Чуваш план изобразил — на тетрадном листке в клетку обозначил кружочком посредине товарища Сталина, а по четырем сторонам крестиками опорные столбы. Начали с копки ям под них. Земля промерзла — камень-каменем. Долбим ломом. Столбы выменяли за табак у школьного истопника, криворотого Мансура. По стакану самосада за штуку.

— Крепкий дуб! — хвалит он свой товар. — Сто лет простоит.

Может, и простоял бы, кабы не короед Хрущев. Ржавыми гвоздями приколачиваем поперечные брусья, доски, заостряя их верхушки для красоты. Работа идет спорно. Самим нравится.

Отошел поодаль, залюбовался, чуть под лошадь не угодил.

— Тр-р-р! — лихо осадил гнедого жеребца ездок, натянув поводья.

Ба-а, сам секретарь райкома!

В желудке сделалось неуютно, словно там камни-голыши перекатываются. Потная рубашка спину захолодила. Чуваш донес! НКВД!

Первого мая и седьмого ноября с деревянной трибуны напротив райкома приветствовал секретарь праздничные колонны. Колхозники, рабочие и учащаяся молодежь несла транспаранты с призывами и портреты вождей. Кричали «ура» и пели под гармошку: «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля, просыпается с рассветом вся Советская земля...»

— Здорово, мужики! — сошел с санок секретарь. Лошадь закивала головой, зазвенела удилами: «Здоровы, здоровы, что им, балбесам...»

На секретаре светлое полупальто с косыми боковыми карманами (моя мечта, руки удобно засовывать), кожаная шапка, отороченная каракулем, перчатки с кнопками, привезенные из Германии, бурки на ногах из белого войлока, прошитые коричневым хромом.

— Здравия желаем, товарищ секретарь райкома! — как на военке протарабанил я с перепуга. А Бронька нерешительно прокричал: «Ура-а-а...» Первое мая, видать, вспомнил.

Ноги подкосились. Сейчас про оградку сталинскую спросит: куда делась, кто мы, доски откуда?

Нет, шутит:

— Ломаем или строим?

— Строим вот, — шмыгнул Бронька носом. У него он всегда мокрый.

— За деньги или как?

— Или как... — недопонял вопрос Бронька.

— Будущие комсомольцы, а потом уж и ... — встрял я.

— Хватит врать-то, — улыбнулся секретарь. Показалось, зловеще.

Лошадь повторно замотала головой: «Врут, ой и врут, как сивые меринки!»

— Откуда дровишки? — кивнул секретарь на доски.

«Началось, — екнуло сердце. — Эн-Ке-Ве-Де! — бухало в голове. — Эн-Ке-Ве-Де! Враги народа, японские шпионы!»

— А мы с Кларой за одной партией сидели, — перевожу разговор на его дочь. Соображать начал со страха. Ежусь под цепким взглядом.

— Вот как? Почему сидели? Поссорились?

— Выгнали из школы. Позорю я, — вспомнил слова директора.

— Понятно...

И после паузы, многозначительно:

— Понятненько.

Клара, видимо, рассказывала отцу о школьных делах.

— Давай хвались, герой, откуда взялся патриотизм? — кивнул на памятник. — Любишь, да?

Серые прищуренные глаза секретаря предупреждали: только не ври!

Рассказал как есть: про кино, про Чуваша, НКВД, забор ветлечебницы.

— Мы потом его починим, — встрял Бронька. — Доски...

Секретарь перевел взгляд на Броньку, тот осекся.

— Вот что, мужики, сейчас пришло фотографа из районной многотиражки, не болтайте того, что мне. Пионеры, будущие комсомольцы... За дело Ленина — Сталина! Поняли?

— Всегда готовы! — обрадовался я.

— А ты, герой, — кивнул секретарь, — иди завтра в школу. А за работу, пацаны, кино бесплатное!

— Сколько кин, — шмыгнул Бронька носом.

— Десять. Хватит?

— Хватит, хватит! — обрадовались разом.

— И вот еще, — секретарь сжал крепкой рукой мое плечо, — ручаюсь за тебя. Не подведешь?

— Нет, — помотал головой, не задумываясь. За меня еще никто не поручался.

«Врет все, врет, как сивый мерин», — фыркнула лошадь, выпуская из ноздрей клубы пара.

— Подумай на досуге, — добавил секретарь, — если ручаются, верят в тебя.

Уехал благодетель. Долго смотрю на памятник. В затуманенных от мороза и ветра глазах он ожил. Откуда-то сверху голос: «Только мне служи, мне...»

В тот день я сжег портрет Сталина в голландской печи, что стояла у нас в большой комнате. Случилось это задолго, когда открыто стреляли по пустым амбраурам НКВД и с издевкой пели: «Товарищ Сталин, вы большой ученый...».

# Ответ птицы

---



\* \* \*

Озноб, стихия, песнь пропета...<sup>1</sup>  
Благословляя свой уход,  
Простясь со мною, гаснет лето,  
И скоро занавес падет.

Для зрителей у года драмы  
Осталось действие одно:  
В нем бабье лето желтой гаммой  
Горчит, как терпкое вино.

Восторгом зрительного зала  
Оно еще согреет нас.  
В рукоплескания финала  
Свой щедрый выплеснув запас...

И, наконец, простившись с нами,  
Под плач слезы непоказной,  
Сугробы с нежными цветами  
Укроют сцену белизной...

## **ПОПУГАЙ**

Чужие песни повторять,  
К чему мне доля эта?  
Петь о своем,  
В простор взлетать –  
Вот счастье для поэта!  
Как подневольный арестант,  
Чужие песни множу,  
Шлифую в клетке свой талант..  
И не сожрут, быть может.

## **СОЗДАНИЕ ПРИРОДЫ**

Ты – бабочка,  
Лети к цветам весной,  
И сплетен рой пусть вьется за тобою...



**ТОСКА МОЯ**

Вьюгой  
В печной трубе гудит зимой...

\* \* \*

Окликаем друг друга <sup>2</sup>  
Издалека,  
Словно кони.  
Только по строкам письма  
Узнаю  
Бег моего жеребенка.

Эх, судьба...  
В новых местах  
Живешь,  
Как в руках конокрада.

\* \* \*

В мусульманских живем краях –  
Над башней «Уралсиба»  
Каждую ночь мулла  
Зажигает наш полумесяц.

Ответ птицы  
Говоришь, возвращаюсь  
Яйцо отложить?  
Поправить демографию?  
Нет.  
Это души разоренных гнезд  
Нас призывают обратно...

Зеркало годов  
Сколько я ни бросал камней –  
Все цело.  
Должно быть,  
От обиды на меня.

t°

Холод и жар между нами  
Измеряя,  
Растет наш ребенок.  
Дочь наблюдает  
В городе собаки не лают.



Не обращают внимания,  
Словно мы недостойны.

Сиротство  
Тянут плот  
На кручу реки  
Обессиленные жены...

---

<sup>1</sup>Перевод Николая Грахова

<sup>2</sup>Перевод Айдара Хусаинова

# Прототип

## Рассказ

После кардиологического санатория Круглов вернулся на работу вполне отдохнувший, восстановившийся, восполнивший, как он уверял коллег, «несколько поутраченные запасы ража и прочности». Да и в самом деле, словно поослабло неприятное нервное напряжение, в котором он находился долгое время; это тревожное, не имеющее однозначного объяснения состояние сильно мешало работать. Наверное, слишком близко к сердцу принимал он — до инфаркта и санатория — многочисленные странности своей новой службы. Теперь — нет, спокойно. И лучшим тому доказательством служила отрешенная, с маленькой мутной примесью равнодушия энергия, с которой он принялся за редактирование рукописей двух молодых кандидатов наук, — дело, казавшееся весной совершенно невозможным.

Эти рукописи вручили Круглову в мае.

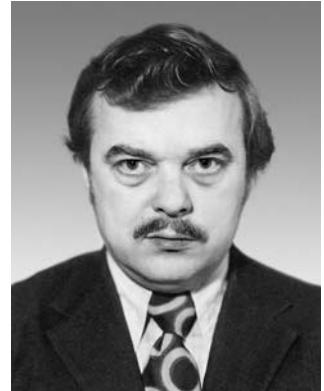
В первой из них повествовалось о стандартных, якобы заводского исполнения, детских питательных смесях — паутины графиков усвояемости, многоэтажные таблицы содержания белков, жиров, минеральных веществ, витаминов и микроэлементов; подозрительная, «невпрочет» пестрядь четырехзначных чисел с нулем и запятой в авангарде; где ты все это взял, алхимик? Приводимое количество использованной литературы на трех, что ли, языках повергало в уныние — разве можно все это проверить? Тут полгода надо шарить по Интернету.

Автор второй монографии занимался восторженным анализом поэтики современного фольклора: это были полусамодельные топорные диковинки, кое-как зарифмованные, в обрамлении заемного глубокомыслия и рутинной идейности; все несуразное, деревянное, смахивающее на шаманство или шизоидную глоссологию. Народ, оказывается, непрерывно сочинял оптимистические частушки о хорошей жизни, славословил президентов и всякое начальство; прямо пятидесятые годы, а не двухтысячные. «Среди созвездий и млечных путей наша Россиюшка всех развитей! Валят думы из фабричной трубы, домы и дамбы встают как грибы!» — и подобное страницами, страницами... Туркменбаши узнает — помрет от зависти.

Обе работы были прочно, прямо-таки фортификационно защищены рецензиями известных докторов наук и рекомендациями облеченных властью лиц. Был даже депутатский запрос о сроках публикации рукописей ввиду их чрезвычайной актуальности; депутаты, вы-то здесь при чем? Все это скреплялось решениями научных советов; рукописи находились как бы в пуленепробиваемой оболочке. Круглов называл подобные ситуации «кукушкопетухизмами»; видимо, братья-графоманы хорошо в свое время поработали на нынешних рекомендателей.

В принципе ничего изменить было нельзя, разве что поскорее избавиться от редакторской мороки с ними. В конце концов, за свою псевдонаучность пусть отвечают сами. Прибавим на титуле «печатается в авторской редакции» — и все дела.

Но заниматься всем этим весной никак не хотелось, очень уж муторно и скучно



все было. Басни о детских сверхпитательных смесях из-за своего разностилья крепко припахивали поспешной компиляцией, «фольклор о фольклоре» походил на более самостоятельную авантюру. Круглов даже нарочито косноязычно прочитывал коллегам отдельные так называемые современные частушки, изнуриительно бодряческие, безудержно прославлявшие все и вся, в изобилии приводимые оголтелым автором; коллеги Круглова хохотали и тут же придумывали свои, нарочито корявые, в перекурах исполняя их громко и с хохотом. «Эх, да кто сегодня читает Марселя Пруста, тому завтра будет ужасно грустно! Странные у человека свойства, ежели он почитывает Кафку да Джойса!». «Много детского питания дал Зурабов нашей стране!» — начал было один, но дальше как-то не придумалось, вышла нескладеха. Вообще сочинили массу всякой дребедени, весьма забористой, с дымящимися матюгами. В курилке свобода слова традиционно была весьма значительна.

Весной отвертеться от рукописей удалось. Круглов сослался на перегрузки, утомление после болезни, поклялся, что осенью сделает все быстро. Теперь надо было исполнять обещанное.

Авторов рукописей Круглов не знал и решил сначала вызвать педиатра Пискалева, создавшего талмуд о детском питании. Кто-то в шутку прокомментировал: мол, редактор начал с того, кто поближе к пище. Круглов и в самом деле имел свой тайный, немножко стыдный интерес: у его двухлетней младшенькой был диатез и частые расстройства желудка, с питанием для дочки постоянно возникали проблемы, — то нельзя, это нельзя, вес она набирала медленно, жалко было бледненькую вялую девочку. Чем черт не шутит, вдруг Пискалев поможет. Что если эти экзотические пюре «с добавлением мякоти авокадо и ананаса» и «антиаллергические белковые кисели» поставят Заиньку на ноги, а то невмочь смотреть, как жена мучается; тецины упреки в непрактичности вообще уже сидели в печенках.

Круглов позвонил Пискалеву. Там словно только и ждали звонка — в ответ услышал поспешное захлебывающееся «Здравствуйте, здравствуйте, я сам, знаете ли, как-то не собрался, вернее не решался, позвонить, что, думаю, попусту беспокоить занятого человека, я вообще, знаете ли, не люблю, не склонен беспокоить без крайней необходимости...». Частые и ни к чему «простите», «понятно-понятно», «да-да», «так-так», — гроздя паразитических словечек и словно бы непрерывные поклоны и приседания, расшаркивания, — человек авансом, авансом благодарил и кланялся, кланялся и благодарил. Все это обещало легкую работу с автором: чуть надавить — и такие сдаются легко, без ближнего боя. Пискалевская манера общения была знакома — пользовались ею те, кто ясно чувствовал зыбкость судьбы своей рукописи и полную зависимость собственного ближайшего будущего от очередного собеседника. Понять пискалевых можно, усмехнулся Круглов, сорваться на последнем этапе напряженного марафона грустно, обидно, что и говорить. Между тем Пискалев стал подробно рассказывать о важности своей темы, о новизне привлеченного материала, о некотором застое и отставании в этой области у нас (мыча перед словом «некотором» и ноткой сожаления выделяя «у нас»), поминал своих мраморных и бронзовых рекомендателей и рецензентов, четко и полностью произнося все их звания, титулы, имена-отчества, — такая крохоборская оборона... И говорилось все это невнятно, словно у Пискалева были толстые непослушные губы или детские полипы в носоглотке, да еще телефон безжалостно умножал дефекты его дикции, а резкие шумные вздохи тучного человека вот-вот, казалось, вынесут из телефонной трубки запах тефтелей. Круглов подергивал верхней губой (тик, маленький упрямый остаток весеннего невроза) и поначалу недоуменно и невнимательно слушал всю эту необязательную информацию, произвольно отстраняя трубку от уха. Потом он сообразил, что при встрече Пискалев, естественно, все это приметя повторять и можно будет легко его

остановить: вы, мол, это мне уже говорили. Педиатр-алхимик думает, что капля долбит и утомленный камень поддается... Дождавшись паузы, Круглов прямо сказал, что стилистика рукописи требует большой, очень большой доработки, нужно усреднить ее, стилистику, привести разнородные (это слово Круглов особо выделил), *весьма* разнородные куски к общему и естественному единообразию, а это очень нелегкая работа. И предложил приехать в удобное для автора время, лучше к концу рабочего дня, обещая показать, как это делается. После затяжной паузы, понятой Кругловым как знак замешательства, заметно притихший специалист по ананасовым киселям повел себя загадочно: начал перечислять свои публикации в научных журналах (где, когда, количество страниц, заголовок... господа, какая память, какая мука, какое обстоятельное чудовище!), затем, безо всякого перехода, свои служебные и общественные нагрузки, среди которых, надлежало ослепив, вспыхнули: внештатный главный специалист министерства здравоохранения (отчего же «внештатный»? Мог бы и приврать) и член медсовета при мэрии. Несколько раз переспрашивал, когда господин Круглов освободится на службе. Внезапно принялся подсчитывать свои лекционные часы и прочие занятости, заключая всякий демонстративный подсчет шумным и сложным вздохом-выдохом: «Нет, опять никак не складывается, вот ведь какая жалость, нет, и в пятницу (четверг, среду), простите великодушно, никак не могу, — и выказывал искреннюю растерянность: — Как же быть, многоуважаемый Леонид Васильевич, что же придумать нам с вами, просто ума не приложу». Круглов спокойно слушал, нейтрально мыкая. «Может, у меня дома поговорим? Отличные условия, без помех, никакой спешки, вечером, совсем-совсем после работы, или в субботу на даче у меня, там условия совершенные, идеальные...». Ах, вон оно что, взяточка в форме землянично-белковой антиаллергической похлебки. Наивный Пискалев, не на того напал. «Я не пью», — сказал Круглов. «И я! — мгновенно отозвался Пискалев. — Зато у меня там большой бильярд, две мелкашки, даже пара луков настоящих спортивных есть. Постреляем». Пострелять — это, конечно, интересно... сейчас про баньку заверещит. «И банька отличная, сосновая и осиновая, бассейн рядом, попаришься, знаете ли, и бултых, и опять попаришься, и опять бултых! Очень оздоровительная процедура, Леонид Васильевич». Да... заманчиво. «Я после инфаркта, какая мне банька». Интересно, неужели сейчас про девочек начнет... Но Пискалев про девочек не заговорил; после довольно значительной паузы он вдруг весьма четко, даже, как показалось Круглову, суховато сказал: «Но разве правка, в том числе и стилистическая, не работа редактора?» Круглов постарался отреагировать столь же сухо: «Я не специалист по педиатрии и диетологии». Пискалев четко отреагировал: «Для редакционной правки не надо быть узким специалистом, ваше дело язык, стиль, грамматика, орфография». А Пискалев-то, оказывается, не так слаб, как показалось вначале. Круглов сдался, согласился зайти к просителю домой в субботу около четырех. А коль уж согласился, то пришлось ему, в свою очередь, слегка благодарить и немножко кланяться, и Круглов сильно досадовал на свою слабость. Но вспоминались суровая теща, бледненькая Заинька, жена с этим вечным немым укором в глазах... И он махнул рукой на пустые нравственные сомнения — ведь и в гостях будучи, можно остаться принципиальным. Да и помогать авторам — это его задача как редактора... «Так куда и во сколько подскочить за вами, уважаемый Леонид Васильевич?» — вкрадчиво осведомился Пискалев. — Я на машинешке мигом! Старенький серебристый мерседесик, наверное, знаете? Он в городе один такой у нас. Нет, есть еще один, у начальника ГАИ». Пискалев манил подтекстом: пронюхал, видать, что Круглов неравнодушен к рыбалке и охоте. «Ну что вы! — из последних сил пытался отстраняться Круглов. — К чему такие почести, я же пока точно не знаю, как сложится со временем, я позвоно предварительно, накануне. До свидания». И

положил трубку — как сбросил тулуп. Хоть опять в санаторий просись.

Другому автору звонить не стал, решил в понедельник. Вдруг и тот изведет какими-нибудь наседаниями.

Однако Олег Антонович Черноус, уже немолодой, но по виду закаленный в боях и вальсах кандидат филологических наук, явился в пятницу сам. Внешность его описывать нет необходимости: имя, отчество и выразительная фамилия красноречиво свидетельствовали о том, что он крупен, рыж, статен и брав; сохранить пышные усы и почти офицерскую выправку при усердных занятиях филологией — ну-ка?

В противоположность Пискалеву Черноус оказался не столь словоохотлив, прост, даже грубоват той поначалу несколько напускной, «самородной» грубостью, что служит защитой от предполагаемых язвительных замечаний проницательного собеседника; потом эта простота оттачивается и шлифуется, и сам блеск полированной простоты отражает даже и зарождающуюся прозорливость; маска превращается в сущность, а отработанный прием становится чертой характера.

Внутренняя настороженность тренированного Черноуса не ускользнула от Круглова. Эта настороженность в соединении с напускным простодушьем говорила о скрытой напористой силе, о давно выработанном способе существования: бороться до конца, переть и не сдаваться, достигать хотя бы подступов к цели с утроенной решимостью и мощью, появившись только на жизненном плацдарме более-менее заметное облачко. Сталкиваясь с такими людьми, обычно предпочитают уступить. Связываться — себе дороже.

Был Черноус приветлив обезоруживающе, улыбчив был Черноус и внимателен, слушать умел отменно, это редкое качество. Более того, когда речь зашла о неизбежных значительных сокращениях его рукописи, он стал беспечен до крайности. Моментально, на лету подхватывая окончания фраз, логично продолжал и соглашался со всеми замечаниями (он что, наизусть знает свою рукопись?); замечания Круглова восхищали Черноуса и как бы не интересовали одновременно, словно автор уже предвидел любое замечание редактора; Черноус поддакивал, кивал и вообще чуть ли не отмахивался от темы, — потом, мол, потом, и тут же ловко перешел к осенней охоте и рыбалке, в лицах артистично рассказал пару баек, видимо дежурных, спровоцировал расслабленную улыбку Круглова, искусно и незаметно навязал полемику о качестве и видах охотничьего снаряжения, о повадках хариуса, окуня и налима, изложил экзотический рецепт приготовления в фольге налимьей печени и, улучив момент, пригласил в заказник на два-три денька. «А о деле потом поговорим, Леонид Васильевич, что за нужда спешить, али последний день живем? Отложим до мучителя-понедельника...» Иронически и добренько посмеивались уже вместе: «И народно, и доходно». «Я вот при случае исполню для вас, в пределах сепаратных тет-а-тет, — продолжал Черноус, — так называемые озорные частушки, которые в книжку, понятно, не поместишь по соображениям ихней излишней самобытности, ха-ха-ха. Вам должно быть небезынтересно, Леонид Васильевич. Повесть вашу «Приходите в гости» помню, читывал, как же, как же. А современный новейший корпус текстов «Семёновна»? Только в списках, очень поражаю. Я и Баркова чуть не всего знаю, а к «Луке Мудищеву» так сам лично две главы присочинил. Умрете, гарантирую. Фольклор — это, знаете ли, в основном секс и похабщина. А ваша повестушка приятнейшая во всех отношениях, вы там фольклором не брезговали», — намекал на охотничьи рассказы Круглова Черноус. Несколько фантастические, автор тут согласен. Опять, понятно, посмеялись... И — умело вернулся к магистральной теме: «Работать мы умеем! — зачем-то показывая огромные кулаки, говорил Черноус. — А русская тоска по празднику? Кажись, недавно появилось такое новое национальное качество, хотя покойный Василь Макарыч Шукшин давно это подметил, слышали?

«Забег в ширину» называется. Или, как говаривал другой Василий, что есть русский человек? сидит, лежит, мечтает и думает: вот сейчас как встану, то сделаю, потом се, а потом еще и это. А тайная мысль одна: как бы ничего не делать. Удивительное наблюдение, вы не находите? Читали Розанова? Эта книжища теперь уже не в фаворе. Его откровения уже не отражают нашу современную действительность. Но все равно пора, пора учиться ничего не делать, Леонид Васильевич, пора учиться отдыхать, а то загоним себя. Вы, я слышал, недавно из кардиологического санатория? Необходима преемственность, нельзя резко прерывать реабилитационное лечение, иначе случится синдром отмены. В этом смысле заказник — рай, эдем! Обретем? Настоятельно советуем присоединиться. Всю организационную часть беру на себя. Как всегда. Даже ноутбук не надо брать, только спортивный костюмчик. У нас там и компьютер есть, и принтер. Так что все условия для продуктивной работы. Пишете чего-либо-нибудь теперь, Леонид Васильевич?»

Простежки открытые приемы сразили Круглова, он даже развеселился: ох и лукав же фольклорист, артистичен... Но забавен, не отнимешь. Кроме того — пятница, сентябрь, тишина, рыбалка может получиться отменной. Два дня отгулов есть, всего, стало быть, четыре! Очень неплохо. Душой-то Круглов был все еще в так и не сбывшихся отпускных охотничьих приключениях, ведь в этот отпуск даже и по лесу толком не удалось побродить. Гигиенические дозированные прогулки по аллеям тошно вспоминать. Давно, давно пора посмотреть хваленые уголья заказника, столько слышан... В конце концов, смешно думать, что такие вещи могут хоть как-то повлиять на дела служебные. Дружба дружбой... Но все же Круглов внутренне сопротивлялся. В ответ на его слабые и неправдоподобные аргументы «жена будет протестовать, стрелять теперь что-то не могу, я вообще теперь больше рыбака, с удочкой посидеть...» удивительный Олег Антонович иронично, уже и похлопывая, и приобнимая с присущей ему простотой, аппетитно ржал: «А чего тут не уметь, Леонид Васильевич? Пей да закусывай, пей да закусывай. Помните, как говорили мудрецы древней Индии: Бог не засчитывает человеку дни, проведенные на рыбалке, ха-ха-ха!»

И вот вроде бы примитивная шутка и грубый смех у него получались совершенно симпатично: мы, мол, не дети, чего уж там.

Спасаясь от возникшей было неловкости, Круглов с растущей радостью воображал журчащие речки заказника, осеннюю сень леса, ночное небо, вечер, костер, как он будет ме-едленно и долго бродить ранним седым утром в тихом лесу... Расслабление, приобщение; надо, надо учиться отдыхать, а то в самом деле загоним себя.

А Пискалев, подумал Леонид Васильевич, несколько хмурясь, не обидится; тем более, как ни верти, разговор с ним предстоял трудный; товарищу Пискалеву необходимо серьезно поработать над рукописью о детском питании, нельзя же, в самом деле, столь беспардонно раздувать неактуальные темы, притом используя сомнительные материалы, — нас на мякине не проведешь, хоть и назови ее ананасовой мякотью. Вот и Черноус подтвердил смутные подозрения в недобросовестности Пискалева как автора. (Они оказались хорошо знакомы по обществу «Знание», там и сям наперебой читали лекции — просветители-соперники, так сказать). Свое владение иностранными языками, заметил Черноус, Пискалев использует как соковыжималку: легко перерабатывая массу иностранной литературы, скачивая из Интернета материалы, он не всегда в своих работах ставит кавычки и ссылки, «вы понимаете, о чем я...». На этом неблагоприятном фоне не было никакого резона вступать в несоциальные отношения с навязчивым Пискалевым. И фамилия-то у него какая-то фальшивая, нет бы Пискарев или лучше Пескарев, а то нечто писклявое, малявочное, прямо не фамилия, а целая характеристика. Да и эти домашние встречи. Водочка, закусочка, поговорим по душам, и как трудно стало жить, все дорожает, здравоохранение раз-

валили, образование развалили, профессор получает пять тысяч, а директор заводика сто пятьдесят, как это понимать... И какая-нибудь полупарализованная старушка горбатенькая промелькнет в боковой комнатке; затурканный мальчик, причесанный и аккуратненький, но мечтающий о футболе во дворе, кострах и драчках на пустыре, выдавит из сверкающего пианино мученическую пьеску — это Чайковский, Леонид Васильевич, «Времена года», «Октябрь», великолепно, не правда ли... Папа и мама, кося на гостя и склонив головки, умиляются, хотят, чтобы растрогался и гость, а тому неловко и жалко бледненького мальчика, а исполнитель ненавидит гостей, родителей, пианино и грезит о фугасной бомбе для инструмента. Ужасно... В конце концов, куда безопаснее и полезнее для дела, для самого же Пискалева до некоторых пор мостов не наводить и держаться «на вы», сугубо официально.

А природу Круглов любил искренне, только вот все некогда было ее любить.

«Ландшафтотерапия, — сказал он теперь Черноусу, — лучшее лекарство от неврастений и стрессов. Не зря буддисты, если помните...» «Вот именно, именно! — радостно-удивленно, как бы опять поразившись чрезвычайной меткости и новизне суждения, перебил Черноус. — Помню, конечно! Они советовали рассматривать даже не сосну целиком, но отдельно каждую иголочку на сосне. «Смотрю на весеннюю сакуру: бабочка и цветок, как близки они тихой душе моей...» Басё, Хокусай... Прелестно! Ханами, цукими, медленно ползи улитка на вершину Фудзи. Да, а насчет ландшафтотерапии. Буквально вчера я читал об этом в последнем академическом вестнике психологии и психиатрии, там весьма любопытные детали и статистика. Вот, например...» «Такого вестника вроде бы и нету», — сомневался Круглов, слушая, но промолчал: а вдруг есть такой журнал?

И уже с порога, раскланиваясь, Черноус скороговоркой сообщил, что директор издательства тоже собирается в заказник. «Старику там очень понравилось в последний раз», — добродушно, словно прощая слабости «старика», произнес Черноус, сам как бы слегка стесняясь причастности к той совместной с директором поездке. Круглов на мгновение онемел даже. Сеть была сплетена мастерски, ячейки постепенно становились все мельче. «До скорого! Через три часа заеду за вами. Насчет подготовки ни о чем не думайте. У нас все на мази. Четко. Как всегда».

Стукнула тихонько дверь за Черноусом, и Круглов с веселым удивлением подумал, что нахрапистый и обаятельный Олег Антонович ловко вбил последний гвоздик в его ладонь. И такая интересная тонкость: обезболивание произведено после, а не до...

О чем, мол, страдать-то, Леонид Васильевич, вы согласились поехать со мной, совсем даже и не подозревая, что директор издательства составит компанию. За свои разглагольствования о стрессах, какой-то ландшафтотерапии, хокку и танка стало немножко стыдно. «Впрочем, что это я занимаюсь пустой рефлексией? — укорил себя Круглов. Публикуется в авторской редакции, и все. Можно еще: «За достоверность приводимых материалов и источников редакция ответственности не несет». Э, нет... такое не пройдет... Издательство как бы намекает, что работа сомнительна по этой самой достоверности. Ни один автор такого не допустит».

Круглов провел в заказнике великолепных два с половиной дня.

Директор издательства не смог поехать, прихворнул, — устранилась неизбежная неловкость ситуации.

А сам Черноус оказался отрадно ненавязчивым: не затевал разговора о делах, не жаловался на трудности и не кивал двусмысленно на тех, кому «везет», не лез с коньяком (впрочем, «Хенесси» был прекрасен; кроме того: канадские консервированные сосиски, фрикасе с миниатюрными шампиньонами, цыплята табака с пылу с жару, фаршированные чесноком, орехами, бог знает чем еще).



Черноус даже ни разу не завел речь о своей рукописи. Напротив, когда по пути в заказник Леонид Васильевич, пытаясь обосновать угрожающее его рукописи сокращение, стал объяснять положение с лимитом бумаги, Олег Антонович никак не отреагировал на, казалось бы, столь животрепещущий вопрос, словно и не услышал, а тут же начал рассказывать о заказнике и его тайнах, одному ему, Олегу Антоновичу, известных уголках; в глубокой глуши имелись две маленькие скрытни-избушки со всеми мыслимыми удобствами, «сугубо для творческой работы; ежели вздумаете, живите хоть месяц там, наши тутошние помощники каждые три дня будут посещать, все что захотите...». Много говорил гурман Черноус о «плодах запретных благоутробных» в виде бочка тайменя горячего копчения и форельки паровой; увлек Круглова, вызвал на уступчивый диалог о приманках, крючках и поплавочках, окончательно очаровал — не только, конечно, гастрономическими познаниями, но какой-то страстностью, раблезианским жизнелюбием, рыболовно-охотничьим профессионализмом. Круглов с маленькой настороженностью все ждал, когда же речь пойдет о нимфах, русалках и иных «навьих чарах», но Черноус на эту тему не проронил ни слова. Странно.

«Порядочный человек», — успокоенно подумал тогда Круглов. О деле — в иной обстановке, так и нужно. К разговору о рукописи они не обратились ни разу.

Два дня, с раннего утра часов до трех, Леонид Васильевич тихонько пописывал давно задуманную повесть. Вернее, подготавливал материалы: набрасывал варианты биографий, характеров, придумывал имена и портреты, вспоминал пейзажи... И рисовал на полях профили чертей и военные корабли, а женские ножки не рисовал. Ну ладно корабли, я их очень любил в детстве рисовать, но почему черти, откуда? В повести вроде чертей нет, во всяком случае, не планируется. В повествовании планировался мотив жестокой судьбы, почти рока, но ведь это вовсе не занятие черта, скорее, бога?

Около четырех приходил с охоты деликатный и обязательный Олег Антонович, наскоро готовил чудесный обед на двух маленьких примусах (с непременно дичью — вальдшнепы, утка или рябчики в портативной скороварке), а после они вместе отправлялись на рыбалку или ловить раков. Олег Антонович заранее разведывал верную стоянку хариуса или форели. Варили на бережку тройную уху духовитую, коптили жирную уклею в коптильне — опять же самодельной, двухэтажной и портативной; беседовали о чем попало. Черноус оказался отменным рассказчиком, его красочных баек хватило на три вечера. А уж какие рулады он выводил из бесконечного частушечного цикла «Семеновна»... И все у него выходило естественно, живо, он удивительным образом вовремя замечал, когда Круглов начинал уставать, — и прекращал балагурье. Вечер заканчивался интересным мероприятием, которое Черноус почему-то называл «ханами». Натянув бродни, Олег Антонович забредал в ручей на мелководье, прилеплял на листья водных растений маленькие свечки и зажигал их. Пламя волшебным образом отражалось в бегущей воде, мерцало, переливалось, — картинка была, конечно, оригинальная, завораживающая. При этом долгом созерцания положено было отрешенно рассматривать пламя и его отражение в струях, пока горение свечей не закончится, — Круглов обнаружил, что эффект от созерцания «ханами» в самом деле невиданный: словно сам становишься и свечкой, и ее водным отражением, и так покойно, умиротворенно становилось на душе. В коттедже после «ханами» положено было зажигать две керосиновые лампы. Черноус пел протяжные лирические песни, очень печальные. «Фольклорист вы, — восхищался покоренный Круглов, — прирожденный фольклорист!» Черноус делал вид, что не замечает невольной двусмысленности. Умеренно занятые рыбацкие байки обнаруживались и у размякшего Круглова. Топили печь, хотя в доме были надежные электрокамины. Керосиновые лампы создавали желанный уют, их горячая копоть напоминала о

деревенском детстве. Олег Антонович запаривал невообразимо душистый чай из трав, «от сердца и легкое снотворное, стимулятор благостных снов цветных». После уникального чая Черноус чудовищно храпел.

А Леонид Васильевич, убавив фитиль в лампе, принимался за свои «рассыпушки», листочки с заметками ко все не получающейся повести. Ночью ничего путного в голову не приходило, то ли «ханами» все вычищало, то ли чай такой, слишком успокаивающий.

Перед сном он выходил наружу посмотреть на звезды, подумать, послушать скудные звуки осенней ночи.

Не дрожит, не трепещет душа осенней порою. Не забродит в ней хмельная юношеская тяга к дороге и самозабвенному растворению в ином, совершенно и только чувственном бытии. Лето жизни человеческой, все же оно достаточно долгое, чтобы разумно определиться, найти свою тропу, которая не приведет в сумрачный лес, как привела дорога жизни персонажа Данте: «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу...». Но есть в холодном терпком запахе жухлых трав и увядающих листьев, в замирающем журчании стынущей воды и случайных отдаленных кликах журавлиного клина призыв и печальная тревога, словно сама природа своими образами пытается спокойно напомнить тебе о том, что множатся, множатся твои, беспечный человек, долги перед ней и самим собою, и перед близким и любимым другим человеком, и перед всей красотой мира, и потому ты не должен терять священного волнения, чтобы успеть отблагодарить словом и делом за этот дар чувствовать и радоваться, должен же ты хоть отчасти оправдать свое присутствие в мире... Страсти и желания, непомерные планы остаются и множатся, а вот силы понемногу покидают, и поэтому нужно спешить сделать и сказать все, что предназначено тебе судьбой и Богом, если он знает о тебе...

Ну конечно, это «из Круглова», думал Круглов, сидючи на холодных досках крыльца лесного домика. И в какой-то момент с нарастающим неприятным удивлением обнаружил он, что черная бархатная бездна беззвездного неба и плотный мрак слишком близкого леса уже способны вызвать тоскливое чувство одиночества, какой-то брошенности, забытости, даже страха; и это не тот жуткий, но и веселый детский ужас перед темнотой и неведомым, который все же заставлял, замирая и теряя сердце, лезть в заколоченный, битком набитый чертями и лешими дом, идти в полночь на спор на старое кладбище за белой малиной, — нет, теперь это был вязкий, какой-то недеятельный, парализующий страх — без надежды на свет, — такое состояние, наверное, бывает у обреченного на смерть преступника, когда вина уже такова, что казнь может быть заменена, только если произойдет чудо, вечной каторгой в каких-нибудь дантовских недрах адских рудников... Да, это все слишком. Смахивает на неврастению. А вроде бы вылечился? Преходящее, моментальное настроение; это все сумрачная осень виновата, и нечего попусту сидеть тут на холодных досках; что я хочу высмотреть в непроглядном еловом мраке? Небо в тучах, ни звездочки, такая атмосфера кому хочешь испортит настроение.

А что если вот взять и устроить сейчас это черноусовское «ханами»?

Круглов пошел в дом, взял огарок свечи, фонарь, зажигалку. У основания елочной ветки приспособил свечку. Нарочито медленно вернулся по еле приметной тропинке на крыльцо.

Слабый красный огонек свечи в аспидном мраке ночи сиял неожиданно ярко, ровно, потому что ветра не было; и все недра ели были явственны, видны до иголки, и, оказывается, там все так красиво устроено, многослойно, подробно, разнообразно, и седа канитель паутины — она была золотая в желтом свете свечки.

Внезапно свечка вспыхнула как порох — и язык огня взметнулся вверх, осветил

все кругом, даже поляну между домом и лесом. Круглов ахнул: «Это смола взялась!», побежал, упал, встал, выломал ветку от какого-то куста, бросился к горящей ели, принялся хлестать огненную полосу, она быстро пропала — и запахло горячей смолой. Мгновенно могильная тьма сгустилась вокруг, показалось даже, что она обнимает со всех сторон, жмет, хочет не отпустить... «Что все это значит?» Он осветил фонарем на ствол ели. В щели разошедшейся коры текла и пузырилась черная смола.

Круглов оглянулся.

На крыльце, опустив фонарик книзу, кто-то стоял.

«Чертовщина какая-то!»

Круглов испытал приступ страха. «Что делать?»

Подойдя, обнаружил: Черноус. В спортивном костюме. Курит. Молчит.

— Хотел вот картинку сделать, — сказал Леонид Васильевич. — Картинку... Ханами своего рода. Да вот что: там оказалась смола, смоляная трещина, свечка, наверное, подожгла сухие иголки, паутину, потом смолу... Ничего особенного.

— Ханами? — зевнул Черноус. — Это не такое безобидное, Леонид Васильевич, ханами-то. — Он опять зевнул — крепко, смачно, протяжно. — На стволе старой ели тьма паутины, в ней тьма иголок сухих, листьев всяких. Ваша ель могла вспыхнуть как свечка.

— И что тогда?

— Что тогда, что тогда... Пожар. Пожар в заказнике — это уголовщина.

— А что это значит? Случайно же. Я хотел, знаете, маленькую красоту устроить, ну вот как вы на ручье вечером.

— Красоту? Разве вы огнепоклонник? Была такая секта. Язычник? Друид?

— Да какой огнепоклонник... Случайность.

— Напугались? Это тоже хорошо. Ладно, бросьте эту неврастению. А насчет того, что это все значит... Я же не волхв, откуда мне знать. Но, думаю, что-нибудь да и значит. Посмотрим. Лес не оракул, Леонид Васильевич, но знаки он способен давать. Нужно только уметь видеть, слышать, понимать. Ладно, бросьте вы. Пошли спать. Завтра хорошая программа намечается. Пойдем на брусничник. Там дичь всякая. Рано нужно, до восхода.

Черноус отщелкнул докуренную сигарету — она огненной дугой улетела в траву.

Круглов долго не мог заснуть. Пустячное по сути событие как-то излишне растрепало душу. Он вспоминал подобное... и обнаружил, что многое, чему вовсе не придавал никакого значения раньше, такие же пустяки, стали странно задевать воображение, оно придавало ничтожным событиям символическую окраску. Эти сравнительно новые ощущения не казались Круглову приобретениями. Объяснив странную перемену настроений не дающейся ему повестью, ожиданием морочной работы, будней, зимы, Леонид Васильевич выругал себя по-генеральски грубо и запретил расслабляться и рефлексировать попусту.

Суть повести, которую вот-вот был намерен изготовить обновляющийся Круглов, состояла предположительно в следующем.

Некий вполне довольный жизнью средний человек средних лет с вполне сложившимся характером, немножко вздорными привычками и причудами, небольшим кругом общения (какая-нибудь контора и несколько школьных или институтских друзей) ведет некую обыкновенную, несколько рутинную жизнь. Случается не придуманное пока чрезвычайное драматическое событие, предполагалось попробовать варианты: подсунуть измену взбесившейся жены (с заезжим актером, грустным фокусником, офицером, ушлым частным предпринимателем...), крупную неудачу по

службе, внезапную смерть близкого человека (как мало, оказывается, вариантов). В результате удара судьбы человек проходит цепь психологических перестроек, многое начинает видеть иначе, начинает проникать в суть вещей и характеров, — на глазах читателя должно было совершаться полное преобразование: вот перед нами новый старший человек, многомерный, как космос, и полифоничный, и все это обнаруживается в каком-то сереньком заурядном существе, заплывшем жирком благополучия. И оторопевший читатель задумывается над собственными качествами, провидит скрытые потенции, неумолимо и безвозвратно возвышается в собственных глазах, удивляясь сам себе; с шумом выковыривается из кресла, ловит занемевшей ногой шлепанец и бежит, путаясь в халате, бежит с трепыхающимся журналом на кухню к жене — показать, прочесть ту и эту страничку, абзацы, загода отмеченные ногтем, совместно восхититься стилем и языком, поделиться возникшими мыслями, еще и еще раз восхититься, теперь уже вдвоем, точным словом, необыкновенно тонким наблюдением, изысканной метафорой; жена тут же бросает ножик, морковку и лук, утирает луковые слезы и слушает раскрыв рот... и вот неумолимо свершается высшее предназначение художественной литературы: человек, закрывший последнюю страницу книжки, — чуть-чуть уже иной, ну хоть капельку преобразенный, чуточку поколебленный в своей косности и неподвижном самодовольстве... Здорово.

Между тем повесть даже и не шевелилась. Трехмесячный черновик расплывался. Некоторых персонажей удалось кое-как приодеть, двое еле-еле обрели правдоподобные имена, кандидат в герои уныло обзавелся женой, машиной и собакой. В черновике на семи страницах стояли мелкие лужи — шел, видите ли, тихий нудный дождик, никак не рассеивались мертвой хваткой вцепившиеся в воображение «тягучие сумерки». Ладно, дождик можно упразднить, собаку отменить. Где взять естественное драматическое событие, вот в чем вопрос. В поисках подсказки Круглов листал классиков. В очередной раз поразил Набоков с его «Облаком, озером, башней»: маленький служащий покорно подчиняется враждебной действительности, но вот, увидев «облако, озеро, башню», внезапно заявляет напористым вожачкам: нет! я тут остаюсь! я не принадлежу никому из вас, агрессивные и пренебрежительные дяди, оставьте меня в покое! Неужто пустяк может так переменить человека? В беспорядочном чтении Круглов напоролся на стихотворение Ходасевича: «Перешагни, перескочи, перелети, пере- что хочешь — но вырвись: камнем из пращи, звездой, сорвавшейся в ночи... сам затерял — теперь ищи... Бог знает, что себе бормочешь, ища пенсне или ключи». Неужто хоть какое-то преобразование — это только мечта несбыточная? «Ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века. Все будет так. Исхода нет». Плохие помощники эти классики, только на себя надейся, Круглов, да на счастливый случай воображения.

Так что и эти два благословенных дня не помогли затянувшимся родам, только усилили душевное беспокойство и творческую неудовлетворенность. Или умозрительность — враг всякого творчества? Бог знает... Уж лучше бы чирков да селезней стрелял вместе с Черноусом.

Но все же предчувствие удачи, какого-то решения теплилось.

И не обманула интуиция Леонида Васильевича.

Поздним воскресным вечером, на обратном пути из заказника, он подумал, что стоит поступиться фантазией и выбрать, пусть на первое время, прототип. И он принялся перебирать...

Сидевшая рядом гипотетическая жертва по имени Олег Антонович Черноус была очевидно несъедобной — гедонист во всех возможных условиях, талантливый шахматист, на много ходов просчитывающий любую партию, а с более сильным

соперником никогда в игру не вступит. Плоский, одномерный, рационалистичный, закаленный в боях и вальсах... Долой. Нечего с него взять.

Повторяющейся карусельной чередой промелькнули товарищи по работе и никого не предложили на конкурс прототипов, — автоматическое, перманентное, так сказать, благополучие, постоянная, не без штришков демонстративности деловитость, легкая настороженность флюгерного типа... Нет. Ну-ка, расступитесь, дайте пройти дальше. Родственники... Родственники родственников. Что-то там брезжило, надо как следует повспоминать. Леонид Васильевич нервничал. Он ерзал и крутил головой, словно воротник был тесен. «О чем это вы так сосредоточенно думаете, Леонид Васильевич?» — спросил Черноус.

И — внезапно просветлело: Пискалев!

— Попался, голубчик, — шепотом тихо воскликнул Круглов, потирая руки. — Ты-то мне и нужен.

— Кто попался? — удивленно спросил Черноус, сбрасывая газ.

— А? Да нет, это я так, сам с собой, — ответил Круглов, улыбаясь. — А нельзя ли нам побыстрее ехать теперь?

— Отчего же! — пожал плечами Черноус. — Какой русский...

«Здравствуйте, раздевайтесь, садитесь, разуваться не надо, у меня не принято, — бормотал Леонид Васильевич, не замечая недоуменно поглядывающего на него Олега Антоновича. — Вот вы, стало быть, у меня какой... чайку, кофе, стопочку водочки? Жена у меня, знаете, совершенно замечательно готовит. А как готовит ваша жена? Какие у нее волосы, цвет глаз, кем работает, сколько получает?» Ах, кабы предвидеть это прозрение, не поехал бы в заказник.

Леонид Васильевич быстренько разговорил Черноуса, и тот, словно давно ожидая именно этих вопросов, охотно и подробно рассказал. Пискалев лысоват, толстоват, болтлив, подхалимистый шустряк, вообще большой проныра и мастер пускать пыль в глаза, но для своих тридцати пяти добился сравнительно многого, еще более зависит теперь от нынешней компиляторской монографии; его шеф, еле живая профессорша Каталова, вовсе старуха, продержится на должности завкафедрой год, от силы полтора; говорят, она последнее время тянет на стимуляторах, тихая такая наркоманка; вопрос же о заведовании кафедрой предрешен, Каталова души не чаёт в дужильном Пискалеве, последнюю монографию за нее написал он, сведения из первых рук, не извольте сомневаться. Кстати, деталь: Черноусу известно, что эта выжившая из ума чудачка, старая дева Каталова, время от времени организует прямо на кафедре какие-то подозрительные посиделки с чаепитием и называет Пискалева в узком кругу «сыночкой». А? Как это вам, Леонид Васильевич? Пискалев с юности ставил только на верняк: вокруг кафедры педиатрии стал ошиваться со второго курса, а на этой кафедре ни одного мужчины, заметьте. Топорная работа, но топор самый лучший механизм по причине своей простоты и надежности; Раскольников, ежели помните, чем бабушек лущил? А это: две лаборантки на кафедре, одна такая черномазенькая, по-моему, со всеми доцентами в институте переспала, студентами не гнушается, я сам ее однажды — хохотнул Черноус, — пару раз, хотя так и не понял, кто кого. Фантастические сексуальные способности! А другая, наоборот, как вы понимаете, блонд, тихая утеха сексапильная, гормональный фон, конечно, много ниже.

— И с ней вы тоже... это самое? — сказал Круглов.

— Да нет, куда мне. Девочка еще.

— Как же это вы так промахнулись? — попытался сострить Круглов.

— И обе, представьте себе, — продолжал Черноус, — родственницы Пискалева. Как вам это, Леонид Васильевич? Старушка Каталова, к примеру, читает лекцию. А рядом с кафедрой сидит себе или эта чернявая, или эта блондиночка. И — ни

слова. Хотя бы слайды показывали. Ну, я тертый калач, знаю, зачем они там рядом с Каталовой сидят, чем они там по ночам на кафедре за рюмкой чая занимаются. И этот колобок Пискалев все время рядом с ними. Вообразили? Вы ведь писатель, как-никак, можете вообразить.

Черноус рассказывал с натуральными добродушными смешками, специфическими ужимками, в некоторых местах почему-то облизывался и вздыхал, словно бы понимая и прощая, даже вроде бы с сожалением и озабоченностью, но сквозь весь этот камуфляж и наигрыш, за якобы разрозненными историйками и полуневнятными намеками вполне жарко дышали пряные двусмысленности. Откуда он знает такие подробности?

— А еще должен вас предупредить, Леонид Васильевич, — продолжал Черноус, — что я сам от него лично как-то слышал весьма негативные суждения относительно нашей администрации, я имею в виду городской, и ректората мединститута, да Пискалев вообще тот еще негативист. Отважный. Знаете его любимую фразочку? В нашем обществе у любого дурака, говорит он, есть шанс, а у мутантов даже больше. А? Впечатляет? Хотя некоторая сермяжная да посконная в его рассуждениях есть, не спорю...

Распаялаясь, Черноус иезуитски подробно и по-фольклорному язвительно расписывал гнусные черты и черточки теперь уже очевидно ненавистного ему Пискалева, и от мельтешения однообразных, хотя и ярких подробностей образ размывался, становилось даже скучно. О том, что Пискалев полиглот, Черноус ни словом не обмолвился. Что именно он, Пискалев, не раз организовывал марафоны для сбора средств Дому инвалидов детства — ни полслова. А ведь все это общеизвестные вещи.

Олег Антонович мастерски, витиевато, с массой придаточных, матерился; ну да, фольклор есть фольклор.

Распятый же Пискалев вызывал смутную симпатию. Странно...

Леонид Васильевич замкнулся и перестал поддерживать разговор.

Портрет прототипа, вдохновенно создаваемый переродившимся спутником, все менее и менее устраивал Круглова. Творческий порыв ослаб. Порочный — если это так — прототип не предполагает вознесения, разве что в случае реинкарнации?

Хороший урок преподнесла мне эта поездка, угрюмо сердясь на себя, неприглядного, думал Круглов. Не скроете, господа-товарищи Черноус и Пискалев, своих сугубо меркантильных целей. Питательные смеси, современные частушки... Не замаскируете своих элементарных и мелких в сущности душонок, пороки ваши не различаются по знаку, разве что по степени. Прочные вы люди, ничего не скажешь, упорные, упрямые, сытые, толстоздоровые, все вы прототипы, всех вас, — увлекался в обиде Круглов, — всех, всех нужно перетрясать и сушить, выколачивать пыль и дурь. Ну и компания подобралась! Как же я-то попал меж двух этих огней, от них обоих прямо-таки несет непреодолимой силищей. Бедная моя повесть о преображении и светлом возрождении... кого? Пискалева? Сколько же времени-то? Тьма кругом. «Дайте сигаретку, Олег Антонович». «Извольте, Леонид Васильевич. Через полчаса будем дома».

Возвратились они из заказника поздно ночью в воскресенье.

Круглов услышал от жены ошеломляющую новость.

Вечером в субботу Пискалев на своей машине отправился в соседнюю деревню к матери. Старшую дочь и жену взял с собой, намереваясь оставить их на воскресенье у бабушки. По каким-то причинам близкие не остались. И, возвращаясь сегодняшним дождливым вечером домой, Пискалев попал в аварию. Жена умерла сразу, у дочери переломы и тяжелейшее состояние, она в больнице, в отделении, где работала жена

Круглова. У самого Пискалева вывих плеча и какие-то пустячные ушибы, но он, похоже, невменяем, сидит у койки дочери, время от времени тихо плачет и, кажется, оглох, ничего никому не говорит. Инспектору ГИБДД и следователю поговорить с ним не удалось. Все, конечно, очень жалеют несчастного Виталия Ильича, рассказывала жена, это ведь такой чистый и бескорыстный человек, скольким детям помог, сколько родителей обнадежил и успокоил, да попросту осчастливил, а какой работник, какой работник, хоть в ночь-полночь обратиться, не откажет, я сама вызывала его к Заиньке сколько раз, — поразила жена новостью. А какая научная перспектива ждала его! Одни его лекции чего стоят, в женскую консультацию на лекции даже мужчины приходили, ну просто второй Бенджамин Спок, и все еще впереди было, все впереди... Как он теперь выправится, он и чужое-то горе переживал как свое, а как свое такое переживет? Все собирают деньги. Приходила в больницу Каталова с двумя своими лаборантками, она почему-то везде с ними ходит, и тоже так переживала, так переживала, что пришлось сделать ей тройной кордиамин с кофеином, целых пять кубиков, это очень много. Старушка, кстати, внесла по подписке пять тысяч, десять мы решительно не могли от нее взять, все-таки не родственница. Как она убивалась, как убивалась, боже мой... А Пискалев положил ей голову в ладони и так сидел... долго сидел, а она все целовала его в лысинку-то. Потом, когда маленько отошла, уже в ординаторской, все говорила: вот как судьба несправедлива к талантливым и самоотверженным людям, словно специально испытывает их на прочность; и знаешь, Леонид, она все же предрекает Пискалеву огромное будущее, говорит, этот человек родился врачом-педиатром и исследователем, он к сорока годам станет светилом педиатрии, академиком. Да мы все и сами знаем его чудесные качества. А уж какой мягкий, деликатный, обходительный и вежливый, подлинная интеллигентность. Таких теперь нет, хапуги кругом одни...

Слушая жену, Круглов с поражающим его самого удивлением ощущал в себе какое-то странное противодействие всей этой нелепой и страшной истории с Пискалевым. Совершенно вздорная мысль о некоей собственной причастности, косвенной конечно, к этому событию холодной льдинкой шевелилась в сердце: встретиться он с ним в пятницу, могло и не случиться этой роковой для Пискалева поездки. Абсолютно нелепая мысль. Абсурд. И вместо, казалось бы, естественного чувства сопереживания и горечи возникло нарастающее раздражение, неприязнь чуть ли не ко всем: к рассказывающей с охами и подозрительно натуральными ахами жене, к ставшей вдруг понятной и жалкой профессорше Каталовой, даже к неведомому, но несчастному, несчастному, кто же спорит, Пискалеву. Даже более-менее явственной жалости — и то не было. Круглов злился на событие и не понимал, откуда и почему эта злость. Ну о какой причастности можно говорить? Если бы он, Круглов, в пятницу поехал к Пискалеву, то... Но с таким же успехом можно фантазировать и дальше: если бы не дождливый вечер, если бы не сырой асфальт, если бы водитель был поосторожнее... Пустое все это. Три таблетки седуксена — и спать, спать.

Но и с лекарством заснуть сразу не удалось.

Круглов вспоминал заказник. Умиротворяющие пейзажи, убаюкивающий шелест осеннего леса, журчание форелевой речонки, высокое небо... Сон не шел. Когда загорелась смола на ели, то есть на сосне, нет, на ели, почему такой удар страха испытал я? Конечно, дерево могло вспыхнуть как свеча, правду говорил Черноус, но ведра воды хватило бы потушить... или не хватило бы? И отчего же он, Черноус, не прибежал на помощь? Стоял себе на крыльце, зевал, мудрствовал... Лес, мол, знак подает неизвестно о чем... Но разве со мной что-нибудь случилось? Это я своему будущему персонажу хотел устроить встряску, чтобы он, значит, преобразился.

Персонажу, а не Пискалеву. Не дай бог никому такой встряски... Интересно, что подумал прототип, то есть Пискалев, увидев мертвую жену? Говорят, что в такие мгновения человек поначалу спокоен и деятелен, не чувствует никакой драмы или трагедии и пытается даже осознавая необратимость события что-то предпринять (оживить?); это позже приходит жуткое чувство невосполнимой потери, оно может длиться месяцами, у иных год, два... Это же невысказанно пережить: вот только что сидела рядом с тобой, разговаривала о каких-то необязательных пустяках или дремала... Голова ее чуть подрагивала на плече от движения машины, ее волосы знакомо пахли цветочным сеном, она всегда полоскала их настоем ромашки, Круглову очень нравился их естественный аромат. Нет, Пискалев, конечно, не нюхал волосы жены, он давно привык и не замечал, чем они пахнут. Что все же чувствует человек, когда на его глазах умирает другой, да еще близкий, да еще если ты прямой виновник его смерти, пусть и невольный. Не верю! — вот что человек чувствует. Прошлой весной Круглов видел самоубийцу, тот покончил с собой на глазах Круглова. Но почему же сон не приходит, весь извертелся, жена недовольно ворчит: иди, говорит, корвалолу выпей. Разве пойти выпить кружечку горячего молока с медом? Было это днем, в три часа, я тогда посмотрел на циферблат, было три. Я остановился у киоска на площади, купил несколько конвертов и газету. Рядом продавали чебуреки, и мне захотелось. Купил два, отошел в сторонку, присел на парапет и принялся не спеша есть, сок вытекал и неприятно застывал на пальцах. В скверике за киоском галдели воробьи, мальчишки играли в войну. «Пух-пах! Бах-ба-бах!» — стреляли они друг в друга из пистолетиков и автоматиков красными шариками. «Падай, а то играть не буду! Ты убит уже сто раз!» У фонарного столба, рядом со мною, на углу стекающей в площадь улочки с односторонним движением стоял человек совершенно неприметной внешности: средних лет, даже скорее молодой, в темном несвежем костюме, гладко выбрит (странно запомнившаяся деталь), в резиновых сапогах. Нет, не божьего вида. Бедный городской житель или с окраины, но почему в резиновых сапогах?

Чебурек был пылающий, истекающий огненным жиром, который неприятно застывал... Я положил на поперечину турникета газету, на газету чебурек, как белье на веревку. Опершись левой рукой о столб, повернув голову, человек смотрел на меня, но взгляд его был блуждающим, нефиксированным. Лицо? Я уже не помню, какое у него было лицо, но помню, что он смотрел в мою сторону долго. Над левой бровью крупная родинка. Я ему улыбнулся, а он мне нет. Он мне не улыбнулся. «Ура! Ура! — гонялись друг за другом мальчишки. — Ды-ды-ды! — шмаляли они из мнимых автоматов. — Я в тебя попал! Падай!» «Зачем в меня? — довольно громко проговорил человек у столба. — Я сам!» Помню, меня это удивило. Что — сам? Выпивши, наверное, подумал я, не в себе человек. Нет, вряд ли, слишком хорошо выбрит. Чебурек охладился, можно было его есть. По улочке, на берегу которой стоял незнакомец, медленно двигался большой автобус марки «Икарус». Пассажиров в нем почти не было. Габаритные огни почему-то горели. Неисправность — и в самом деле, автобус слегка прихрамывал на переднюю правую. Человек внимательно следил за автобусом. Это я точно помню, гражданин следовательно, он даже слегка подался вперед, сделал шаг на проезжую часть, но руку от столба не отнимал. Крупная тяжелая ладонь труженика. Там висел знак остановки, автобус замедлил движение на углу площади и улицы, остановился на несколько секунд, это точно, гражданин следовательно, автобус под знаком остановился на несколько секунд. Человек оглянулся на меня, слегка присел, поднял руками воротник пиджака и, обхватив голову, прыгнул под огромные колеса как раз в тот момент, когда машина грузно ступнула с места. Человек прыгнул как нырнул. Обхватив голову. Предварительно поднял воротник пиджака — зачем? Автобус качнуло, словно он наехал на мягкое бревно, я все видел



в мельчайших подробностях, как при очень замедленной съемке, то есть как при очень замедленной демонстрации, автобус качнуло, он тут же остановился, из кабины вывалился водитель с вот такими глазами и стал бегать вокруг, хватать людей за одежду, крича, мол, все же видели, этот сумасшедший сам, сам прыгнул, а я останавливался, как положено, вы же видели; я точно видел, гражданин следовательно, что автобус под знаком остановился, он сам прыгнул. Я посмотрел на часы: три десять, пятнадцать десять. Все, конечно, видели, он прыгнул сам, без сомнения. Лучше всех это видел я, потому что стоял в двух шагах от человека и в трех от автобуса и ел чебурек. С такими воспоминаниями до утра не заснешь, надо пойти выпить корвалолу, но с молоком нельзя: молоко свернется в желудке и утром будет диарея, замучаюсь, и так желудок слабый.

Он лежал на асфальте. Из рта, носа и ушей вытекала слабыми толчками кровь, ее в человеке очень много. В первый момент было порядочно народу, вдруг разбежались, пассажиры из автобуса тоже ушли, потом собралась толпа, уже не очевидцы. Появилась «скорая помощь», милиция, гаишники, капитан искал свидетелей, шофер тоже искал, никто ничего не видел, не видел, «я только подошел», «я ничего не видела», «мне некогда, некогда...» — и разошлись. Я подошел к капитану и все рассказал, водитель вцепился в меня и держал, как рыбак добычу, непрерывно перебивая: «Вот видите, видите, он же говорит, что этот сам, а я остановился, вот говорит, что он сам, сам он!» Чебурек совсем остыл, стал противный, я бросил его в урну, но второй съел. Адрес, телефон? Пожалуйста. «Не волнуйся, друг, — сказал я обезумевшему шоферу, — я все точно видел, в подробностях, ты тут ни при чем, и я ни при чем, и все мы ни при чем, это он сам так решил». На службе, конечно, ничего не делал. Потом меня раза два приглашали в милицию — единственный свидетель. Оказалось, ничего не удалось установить, при нем не было документов, никто так и не обратился за сведениями о нем. Невероятно. То ли был человек, то ли не было его никогда и нигде. «Мне кажется, — сказал я шоферу, то есть следовательно, — он был не в себе». Пьяница безродный, бомж? «Нет, — сказал следовательно, — никаких признаков алкоголя экспертиза не установила». Третий час ночи... почему сон не идет? Спать, спать... Ноги мои ощущают прилив тепла, глаза закрываются, голова и руки тяжелеют, ощущают прилив тепла, тепла, прилив тепла... Этот человек за десять минут до самоубийства стоял в двух шагах от меня и смотрел на меня, с ним можно было поговорить, спросить, как дела, или что-нибудь в этом роде, чебурек был противный, жирный, холодный, я его выбросил в урну, с бараниной, что ли, я ее ненавижу. Со всеми не поговоришь, это же ясно, бог знает что у кого на уме, дыхание мое становится медленнее и ритмичнее, мои члены ощущают прилив тепла, отрадной спать, отрадной камнем быть, дыхание углубляется... Ведь какое-то время после аварии Пискалев, вероятно, думал, что и дочь тоже... мысли исчезают, сон глубокий, безмятежный, отрадной спать, ненадежная вещь эти лекарства, нужно средство порадикальней, менять образ жизни... Ну все, хватит. Долой. Спать!

Утром Круглов поднялся с тяжелой головой, вялый и раздраженный. Но вспоминал о рассказанном женой уже как о бессмысленном и смутном сне с бесполезным сюжетом.

Несколько месяцев прошли в авральной работе над юбилейными сборниками университета, в декабре случилась интересная командировка на профессиональный семинар, чуть позже — межрегиональное совещание на благословенном юге, на курорте, принадлежащем градообразующему военному машиностроительному предприятию. Менеджеры настойчиво просили журналистов увеличить позитивность материалов, заказали ряд книг по истории предприятия, обещали заплатить очень хорошо. Круглов согласился. Аванс дали приличный, напряженка с семейным бюд-

жетом исчезла. Да еще написалось несколько рассказов, кажется, неплохих — потом, правда, возникло сожаление и недовольство собою: два из пяти были об охоте, ну сколько можно. Жизнь шла плотная, хотя ощутимо перегруженная необязательным. Но результаты работы удовлетворяли, хотя работа над двумя книжками об истории предприятия была рутинная, а самые интересные сведения так и оставались пока закрытыми, секретными.

К середине зимы полегчало, брать работу домой стало незачем.

Соскучившийся по творчеству Круглов намеревался приняться за писание повести.

Перебирая тетрадки с набросками, он как-то наткнулся на черновик, начатый осенью. Печально подивился невнятице текста, наброскам ходульных коллизий; отчетливо понял несомненную его бесперспективность и хотел было выбросить листочки с описаниями «тихого дождика» и «тягучих сумерек», но, читая наброски характера предполагаемого главного героя, вспомнил Пискалева, жестокую его судьбу, залежавшуюся его рукопись о детских питательных смесях. Издание этой монографии было отложено. Ввиду большей актуальности темы и по иным мотивам скромный бумажный лимит был отдан гуманитариям, то есть университетским юбилейным сборникам, в том числе и книге Черноуса, которую, кстати, сократить, по настоянию начальства, не удалось. Ни Пискалев, ни кафедра педиатрии, ни ученый совет медицинского института за полгода о себе не напомнили, так что вопрос пока решения не требовал.

И вот, значит, перебирая свои «рассыпушки», Круглов вспомнил поиски прототипа, грандиозную идею повести, странно-бесследное исчезновение желаний продолжить ее и решил ради любопытства разузнать о Пискалеве.

Позвонил Черноусу. Олег Антонович с готовностью рассказал: после осенней аварии Пискалев взял отпуск, много лечился (обнаружился разрыв печени), даже ездил в Улан-Удэ к каким-то тибетским волшебникам на предмет иглотерапии, а вернулся «народным целителем», популярность Пискалева еще более возросла, к нему ездят даже из соседних регионов. Очень разбогател. Научную работу вроде оставил, пишет брошюры по целительству, издает за свой счет в Москве. Читает лекции в мединституте и двух училищах, проводит сеансы так называемой просветительной терапии в различных клубах. Что еще? Профессор Каталова умерла два месяца назад от передозировки нейростимуляторов. Пискалев — врио завкафедрой, научный совет не может утвердить его из-за отсутствия должного количества научных публикаций. Однако, сказал Черноус, думаю, что это временное затишье, купоны-то он стрижет всюю, тут и лекции, и целительство. И все же поначалу залез в долги, даже у меня занимал, сказал Черноус, но машину купил новую, опять иномарку. Водителя, что его сшиб, выпотрошил до дна, заставил полностью отремонтировать машину, потом ее продал, да еще этот водитель оплатил все лечение и Пискалева, и его дочери, это очень дорого. Круглов спросил про дочь. Пришлось перевести ее в спецшколу, девочка стала «малость не того», с обычной программой не справляется, но открылись невероятные способности к языкам, наследственное, наверное, или травма стимулировала — такое бывает. Недавно Пискалев женился на своей черненькой лаборантке, свадьба была три месяца тому, а девочка поговаривают, уже на седьмом. Так вот, Леонид Васильевич, живет не тужит наш Пискалев. А что это вы им заинтересовались? Наседает с рукописью? Круглов не нашелся что ответить. На десерт Черноус поведал, что у него есть две лицензии на лосей и две путевки в заказник, одна в избушку-скрытню. На мгновение затосковав, Круглов сослался на неотложные дела.

Жена мало что добавила. Ну да, болел Виталий Ильич, с дочерью неважно пока, но все же выправляется, Пискалев достал через московские связи редкие препараты и

какое-то уникальное кремлевское лекарство, бешеных денег стоит. Женился на своей ученице, прелестное, кстати, существо, учится уже на третьем курсе, занимается в научном кружке при кафедре педиатрии, начала собирать материалы для кандидатской, а еще даже не аспирантка, представляешь?

— А характер? — спросил Круглов в слабой надежде. — Как у него характер, не изменился ли?

— Да нет, — пожала плечами жена, — я бы не сказала. Он, правда, стал меньше работать на приеме в поликлинике, почти не дежурит в стационаре, но все так же энергичен, даже больше, приветлив по-прежнему, мягок. Огромная работоспособность, невероятная. Балагурить стал меньше, шутить. Да оно и понятно. Ведь какая нагрузка, Леонид, кафедра дело муторное, коллектив женский, специфика... — Фигаро, подумал Круглов, Фигаро. И с горькой самонасмешкой размышлял он о своем намерении сочинить большую повесть с какими-то психологическими метаморфозами, воспарениями духа и просветлениями оного... Не состоялось нашего с тобой вознесения, Пискалев. Жизнь, кажется, проще и крепче, чем наши смутные представления о ней. Но почему, почему все так прочно устроено, какой в этом смысл, почему мне не до конца понятно, что сила в прочности, устойчивости, неизменности, как грустно задумываться над вещами в немолодые годы. Теория, мой друг, мертва, но древо жизни зеленеет... Не столь уж и понятно это выражение олимпийца. Оттенок самодовольства и даже презрения к чему-то важному есть в этом зеленении, ты не находишь? Жена тихо укорила, пряча глаза: «Не знаю, не знаю, Леонид, но ведь ты мог бы тогда помочь Пискалеву, может быть, продвижение его рукописи или просто интенсивная работа над ней помогли бы дополнительно притупить боль, занять, отвлечь, работа же все лечит, и внешняя удача в такой момент могла сыграть очень даже большую роль для Пискалева, спасительную». Круглов вяло соглашался с несколькими странными, но вполне понятными рассуждениями жены, однако, защищаясь, говорил, что ее абстрактный и даже довольно-таки дилетантский альтруизм имеет врачебную, что ли, общегуманистическую, так сказать, окраску, и вообще все это довольно мещанские рассуждения. У Пискалева новая иномарка, новенькая жена, скоро ребенок новый будет, вот и с дочкой дела идут, как ты говоришь, неплохо, те препараты знаешь сколько стоят? Я узнавал. Пять пятиграммовых ампул АС-4 стоят двадцать две тысячи долларов. «Но это же для дочери, Леонид, что ты такое говоришь!» Ну, знаешь, неизвестно, стоит ли Пискалев таких страстей, которые мы развели вокруг него, то есть ты развела... нет, извини, это я. Для тебя он в какой-то степени сослуживец и даже косвенный начальник, а мне он кто? Могу я относиться к Пискалеву объективно? Один из многих и многих. Меня сейчас интересует совсем иное, — возражал Круглов. А этот якобы разнесчастный Пискалев, чувствует мое сердце, превосходно устроится и без моей помощи. Я не стану заниматься его рукописью, придумаю что-нибудь, чтобы спихнуть.

Под «иным» Круглов разумел утолнение внезапно начавшего разъедать любопытства: что же такое натуральный, реальный Пискалев? Как он выглядит, чем живет, неужели так безнадежно прочно все устроено в этой удивительной жизни? Да и нужно же как-то очистить слегка запотевшую, как зимой стекло от дыхания, совесть. Нет, нет, явственного ощущения хоть какой-то вины решительно не было, но вот замутненность в сердце... откуда она взялась? Это вовсе, казалось бы, пустячное нарушение внутреннего равновесия несоизмеримо властно со своей пустячностью требовало разрешения.

Придумывать повод для встречи не пришлось.

Круглов нашел рукопись Пискалева, плотно просмотрел и, к немалому собствен-

ному удивлению, не обнаружил ничего очень уж предосудительного, сомнительного. Стилистика легко поправима — долго ли укоротить предложения, убрать деепричастные обороты, чуточку обогатить синонимические ряды, упростить синтаксис? Недолго. Актуальность темы и научная добросовестность вон как описаны в кратком, но емком и безупречно доказательном предисловии покойной Каталовой. Заимствования? Но куда без них в сугубо специальной монографии? Ссылки и цитаты, громадный объем использованной литературы? Попрошу отдельную дискету, недолго проверить по Интернету. Так что разговор может быть весьма конструктивным и спокойным, доверительным и деловым. Работы тут, конечно, много... Предложу дополнить новейшими сведениями. Встречи потребуются частые, Виталий. Я хочу все-таки выяснить: как и чем обеспечивается эта прочность, железобетонная незыблемость, дубовость наша и непотопляемость, непоколебимость нравственная, чем обеспечивается все это, Виталий Ильич? Ведь стоящий вопрос, не правда ли? Возможно, вы не сразу меня поймете, трудная тема, согласен, деликатное дело, тонкие структуры придется задеть, но ведь общими-то усилиями, ежели взаимообразно и не спеша?

Круглов поднял трубку, набрал домашний номер Пискалева. Никто не подходил. Позвонил на кафедру — отсутствует, может быть, появится к концу дня, но вряд ли. Дали сотовый. Абонент временно недоступен.

Куда же запропастился Пискалев?

Сегодня пятница, конец дня. Может быть...

Круглов набрал сотовый Черноуса.

— О! Кого мы слышим! — тут же отозвался Черноус. — Господин Круглов! А я ждал вашего звонка раньше, хотя бы накануне. Мы тут с Виталиком в заказнике, замечательная программа, вы что, тоже надумали? Ну, дело поправимое. Собирайтесь быстренько, я человека с машиной к вам подошлю, будет часика через полтора. Завтра на лосей! Никаких проблем, форма одежды — спортивный костюмчик. И ружья не надо, у нас с Виталием Ильичом по паре на каждого. Для вас выделяем пристрелянный карабин.

— Какой Виталий Ильич? — произвольно сказал Круглов. — Пискалев?

## Относительно известная бездна

---

*«Бабы – не люди, – любит говорить один мой знакомый. – Они гораздо лучше». И вот Галарина такая – не человек – абсолютно экзотическая бабочка с ангельскими перьями, из-под которых выходят стихи. Она – представитель параллельной, не вполне гуманоидной расы, и не удивительно, что стихи ее иной раз похожи на подстрочкики – на переводы с языков ангельских. Слишком нежных для наших губ, отчего и перевод возможен только подстрочный. Галарина не пишет, а живет, как поэт, – постоянно балансируя на грани между стихами и... вечностью? Стихами и любовью? Ответить невозможно, ведь, чтобы заглянуть за эту грань, нужно быть Галариной.*

Светлана Чураева

---

### АННА

Черные будни,  
Ка...  
Красные стены,  
Каре...  
Закрытые двери,  
Карени...  
Душа нараспашку  
– на!  
И стрелочник  
– литерному  
– отмашку!



### ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вопросы задают:  
Что нового?  
Иль: как дела?  
Я отвечаю:  
Дочку родила  
И новые пишу стихи.  
И от моих ответов честных  
Все замедляют мимоходность:  
Дела и новости такие  
Укладываться не хотят в мозгах,  
Не ожидающих ответа.

## ГЕНИИ

Я била морально тебя ногами,  
Плевала словами в душу  
На тему твоих необразований,  
Зато я вставала тебя провожать  
Раннее раннего – в пять,  
И без тебя не ложились спать.  
Да, жизнь познают в сравнении,  
И знаешь, теперь о любви  
Нашей могу сказать:  
Мы – оба – в ней  
Были – гении!

\* \* \*

Все поэты грустны изначально,  
Хотя могут быть веселыми людьми.  
Все веселые люди безумно печальны,  
Потому что поэты внутри.

## СВОЙСТВО РАКОВИНЫ

Свойство раковины – делать  
Жемчуг из пылинки:  
Есть моя странность или  
Способность делать Великою  
Любовь любую – маленькую,  
Прошедшую, большую,  
Не найденную никем, бывшую,  
Не случившуюся, чужую.  
Экзистенциальный страх –  
Раствориться бесследно,  
Он уже не преследует  
Меня,  
Как последнюю жемчужину  
Бытия,  
Ибо я – живая раковина,  
Сама творящая перлы  
Из любого проникшего  
До нутра.

\* \* \*

Я очень красивая женщина –  
Этого уже никто не изменит.  
Я очень красивая женщина  
Для того, кто любит и ценит.

Я нежная и живая,  
И это уже не странно мне,  
Как то, что такая странная  
Нашла своего странника.

Как-то нашла я тебя  
Как-то... Будто морскую звезду  
В небе сиять заставила,  
Будто вино превратить в кровь  
Сумела,  
А хлеб общий в сплошную любовь  
Сумела,  
Будто сама спела  
Арию Каварадосси.

\* \* \*

Тебя нет,  
И это печально.  
Тебя нет  
Во всей Вселенной,  
И это – хорошо,  
Иначе что мне делать  
Было бы с тобой.  
Я ведь не знаю,  
Что мне делать с тобой,  
Если бы ты был.

\* \* \*

Бывает желание лечь  
На снег и смотреть  
В небо, и истечь  
Туда, как струя дыма,  
Оставив шкурки шубки и сапог,  
Истаять телом до звенящей  
В душе и вдалеке одновременно  
Пронзительности существования  
Всего сущего.

\* \* \*

Жизнь невыносимую  
Меряю я зимами.  
Только счастьем  
Бывает не каждое лето.

\* \* \*

«Мы когда-то были близки,  
Но время спутало карты».  
И горечь утраты,  
И радость любви  
Перемешались мастью.

И сладость утраты  
Легла сверху – закрыла  
Горечь любви,  
И нету пиковых уже  
Королей в измятой  
Колоде судьбы.

Последней шестеркой  
Не бьются тузы,  
А просто бухают вместе.  
И наши валеты  
Уже не пажы,  
И светлые дамы  
Надменны и злы.  
А черные дамы  
Под краской седы.  
Хлебнули на пике  
Развала страны  
Сулимых раскладом  
Беды и сумы.

### **КАК? Я? ЖИВУ?**

Ты хочешь все понять,  
Как я живу?  
Я не живу – я тихо умираю,  
Но только чуть помедленней,  
Чем раньше.  
Ты сохраняешь мое тело,  
Остатки духа помогаешь сохранить.  
Но помни, реставратор – первый,  
Кто выясняет – подлинник погиб,  
Когда снимает груды наслоений.  
Так моя жизнь растает без сомнений,  
Когда разрушится последний миф.

\* \* \*

Такая долгая осень, так много грязи,  
Не грязи – неприкрытой земли,  
Нагой, бесконечно замерзшей и скорбной,



Как мы.  
Наконец, снега трижды за неделю  
Накрывали усталость осеннюю.

\* \* \*

Давай создадим театр,  
Я напишу пьесу,  
Ты, став режиссером,  
Будешь спать с актрисами,  
Я – водку, наверное, пить  
С талантами из актеров.  
Давай создадим театр:  
Маленький, скоро.  
Я – тысячелика,  
Ты – ростом с гору.  
Со всеми актрисами  
Буду в ссоре,  
А ты, на меня злясь,  
Уволишь актера,  
Конечно, за пьянство,  
Единственного талантливое.

Так сложно быть драматургом  
И драмой одновременно,  
Но не отчаивайся, театр  
Мы создадим непременно.  
Ведь будут у нас вместе  
Златые дни перемирий,  
Их называют премьерой  
Во всем театральном мире.  
А для семейной идиллии  
Сделаем дома пельмени:  
Крути мясорубку,  
Я раскатаю тесто,  
Единственный вид творчества,  
Доступный сейчас вместе.

\* \* \*

Меняются не внешние черты,  
А просто отлетает аромат.  
Голландские роскошные цветы  
Гораздо дольше полевых стоят.  
Но запах воли, ветра, неба  
Исчез под крышами теплиц.  
Под зимней штукатуркой лиц  
Не расцвести сиянью лета.

\* \* \*

Человек не может расстаться  
С самим собой.  
Впрочем, может,  
Но никогда не узнает об этом.

\* \* \*

Я взрослею.  
Умнею.  
Дичаю.  
Страннею.  
Перестаю быть бездной  
Неизвестной.  
Становлюсь относительно  
Известной бездной.  
Но недоверчивой к исследователям,  
Уже не ручной и ласковой  
Детскою сказкой,  
Не прямолинейною сагой,  
Не мерноударной былиной.  
Я становлюсь загадочным,  
В чем-то потерянным миром:  
Планетой «blood»,  
Где неживые живут;  
Живые туда попадают редко –  
Она ничьим мирам не соседка.

### **РАЗМЫШЛЕНИЯ О СУЩНОСТИ БРАКА**

Ты меня не напрасно ревнуешь:  
У меня есть любовник – НЕБО.  
Всеобъемлющий и безмерный,  
Он меня уведет навсегда,  
И я стану через года  
Его полностью неотъемлемой частью.  
Только брак этот называется СМЕРТЬЮ.

Так и каждая свадьба отчасти –  
Это смерть предыдущей жизни,  
Изменение всей свободы,  
Иногда и утрата отдельного смысла.  
И явление нового существа  
Под названием странным  
Семья – «7Я».  
Были взяты 2 ингредиента –  
Индивиды, ты и я,

А на выходе с алхимического алтаря –  
7 уже ипостасей:  
3 с половиной меня,  
3 с половиной тебя?  
А может, меня 2 (до и после),  
А тебя 5 разных особей,  
И каждая по-разному  
Относится к разной мне.

Любовник мой НЕБО  
Меня понимает тысячью звезд,  
Ласкает сотней разных ветров,  
Говорит облаками, дождями, снегами,  
Улыбаясь рассветами и закатами,  
И принять меня всю готов.

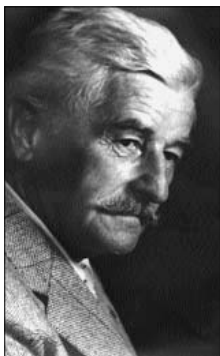
### **ОЩУЩАЮ СЛОВА**

Я слова ощущаю всем телом,  
Это трудно мне передать:  
Вязкие и рассыпчатые,  
Ароматные и химически чистые,  
Цветные и прозрачные,  
Стерильные, радиоактивные,  
Текучие, ползучие,  
Льющиеся, бьющиеся,  
Ломкие.  
Нейтральные и вероломные.

Уильям Фолкнер

# Приложение к роману «Шум и ярость»

Перевод с английского Диляры Гариповой



Творчество Уильяма Фолкнера, одного из самых выдающихся прозаиков XX века, оставившего огромное литературное наследство, до сих пор вызывает противоречивые суждения. Его причисляют к писателям-модернистам, но сам он относил себя исключительно к реалистам. Его талант называют «жестоким», но, со слов писателя, единственная школа, к которой он принадлежит и хотел бы принадлежать, – это школа гуманистов. При этом он всегда подчеркивал особое влияние Достоевского на свое творчество. Трудно переоценить влияние самого Фолкнера на литераторов всех мыслимых направлений, пишущих на всех существующих языках. И не только в смысле профессиональных приемов, но и тех высоких нравственных обобщений, до которых, следуя за ним, пытаются подняться пришедшие на смену поколения.

В предлагаемом вашему вниманию послесловии к роману «Шум и ярость» Фолкнер хотел сначала просто рассказать историю отдельных представителей рода Компсонов, чтобы эти персонажи «наконец оставили его в покое», но в процессе работы увлекся и написал целые новые сцены романа с диалогами и характеристиками действующих лиц. Почему-то это обширное послесловие в нашей стране до середины 90-х ни разу не переводилось. Данный перевод был сделан в 1995 году и включен Дилярой Гариповой – тогда выпускницей Литературного института им. Горького – в дипломную работу. Вот что написал в своем отзыве один из рецензентов, профессор Станислав Джимбинов: «Поскольку сложность языка Фолкнера общеизвестна, я сверял перевод с оригиналом, пытаясь найти неточности или пропуски, и не смог этого сделать. Наоборот, было интересно наблюдать, как переводчик умеет найти наиболее адекватные и в то же время стилистически точные слова для передачи фолкнеровского текста».

## 1699–1945 КОМПСОНЫ:

ИККЕМОТУББЕ. Американский король, лишенный своих владений. Прозванный Г'Номме (и даже de Г'Номме) молочным его братом, французским шевалье, который, не запоздай он со своим рождением, мог бы оказаться одним из самых замечательных в той блистательной плеяде благородных подлецов, каковыми были маршалы Наполеона, который таким вот манером перевел его имя, означающее «человек», с языка чикасо<sup>1</sup>; каковой перевод Иккемотуббе, сам человек, наделенный и остроумием, и воображением, так же как и поразительным знанием людских характеров, включая свой собственный, усовершенствовал, англизировав до «Doom»<sup>2</sup>. Тот, кто из обширных своих утраченных владений пожаловал одну квадратную милю девственной земли, что на севере Миссисипи, такой цельной и со столь правильными углами, словно то была поверхность ломберного стола (позднее засаженной лесом, ибо происходило это в давно минувшие дни до 1833 года, когда падали звезды и

Джефферсон, штат Миссисипи, представлял собой длинное, кое-как сколоченное бревенчатое строение, с одним всего лишь этажом и со щелями, замазанными грязью, где помещался агент чикасо и склад его фактории), внуку шотландского беженца, который лишился права первородства, связав свою судьбу с королем, который и сам уже потерял все прежние владения. И было то отчасти в уплату за право проследовать с миром тем способом, какой он и его люди сочтут подобающим, – пешими либо конными, в том случае, конечно, если это будут лошади чикасо, – на земли Дикого Запада, что именуется ныне Оклахомой, понятия не имея в ту пору ни о какой нефти.

ДЖЕКСОН. Великий Белый Отец со шпагой. (Старый дуэлянт, скандальный, тощий, неистовый, грязный, надежный вечный старый лев, который ставил процветание нации выше Белого дома, а жизнеспособность своей новой политической партии выше любого из этих двух, а превыше всех их, вместе взятых, он ставил даже не честь своей жены, но принцип, что честь должна быть защищена, есть таковая или нет, ибо защищена она была, есть ли, нет ли.) Который торжественно узаконил дар, скрепив его собственноручно печатью и подписью, в золотистом своем вигваме в Васси Тауне, так же точно понятия не имея ни о какой нефти: дабы в один прекрасный день бездомные потомки изгнанников поскакали, опрокинутые навзничь пьянством и роскошной комой, поверх пыльного последнего прибежища для своих костей на сооруженном специально, выкрашенном в алый цвет катафалке и пожарных машинах.

### ТЕ, ЧТО БЫЛИ КОМПСОНАМИ:

КВЕНТИН МАКЛАХАН. Сын печатника из Глазго, осиротевший и воспитанный родными его матери в Пертских горах. Бежал в Каролину из Каллоден Моора с палашом шотландских горцев и шотландским пледом, который днем он надевал на себя и под которым спал ночью, – и более почти ни с чем. В восемьдесят, однажды уже пововав против английского короля и проиграв, не пожелал совершать этой ошибки дважды и как-то ночью в 1779 году снова бежал с маленьким внуком-наследником и все тем же пледом (палаш же исчез, вместе с его сыном, отцом внука, из Тарльгонского полка на поле битвы в Джорджии что-то около года назад) в Кентукки, где сосед по имени Бун, или как там бишь его, уже основал поселок.

ЧАРЛЗ СТЮАРТ. Лишен чести и покрыт позором, а имя его и звание оглашены в родном Британском полку как имя и звание преступника. Сочтен мертвым и брошен в одном из болот штата Джорджия своей собственной отступающей армией, а затем и наступающей американской, причем обе на сей счет ошиблись. И у него все еще был при себе палаш, даже когда на самодельной деревянной ноге он четыре года спустя наконец догнал отца и сына под Харродсбургом, штат Кентукки, как раз для того, чтобы похоронить отца, получить раздвоение личности и надолго задержаться в этом состоянии, в то же самое время все еще пытаясь стать школьным учителем, которым, как ему казалось, он хотел быть, пока в конце концов не сдался и не стал авантюристом – кем и был в действительности и кем, собственно, были все Компсоны, при том условии, что первый шаг был шагом отчаяния, а шансы в достаточной степени неравными, хотя того, кем они в действительности были, ни один из них, похоже, не осознавал. Рисковавший – и весьма в том преуспевший – не только собственной шеей, но и безопасностью семьи, и даже тем честным именем, каковое хотел после себя оставить, когда вступил в тайное сообщество, возглавляемое приятелем его, именуемым Уилкинсоном (человеком немалого таланта, и влияния, и ума, и энергии), члены которого составили заговор с целью отделить всю долину реки Миссисипи от Соединенных Штатов и присоединить ее к Испании. Бежавший, в свой черед, когда

сей мыльный пузырь лопнул (в чем давно уже не сомневался никто, кроме Компсона – школьного учителя), причем личность, безусловно, необыкновенная в том смысле, что он единственный из всех заговорщиков вынужден был бежать из страны: и не мщение или гонения со стороны правительства, которое по его милости могло бы прекратить свое существование, были тому причиной, но приступ ярости, случившийся у бывших сообщников, обезумевших теперь от страха за собственную безопасность. Он не был изгнан из Соединенных Штатов; он сам называл себя лишенным отечества, а изгнание его было следствием не государственной измены, но того, что он так гласно, так откровенно воплощал ее в жизнь, каждым своим высказыванием сжигая за собой мосты один за другим, пока не достиг именно того места, где пришлось строить новый; итак: то был не начальник военной полиции и даже не гражданской, но его же бывшие созаговорщики, кто привел в движение механизм, имевший конечной целью изгнание его из Кентукки и Соединенных Штатов, а если бы его схватили, то, вероятно, также и с этого света. Бежал ночью, прихватив – в точном соответствии с семейной традицией – сына, старый палаш и шотландский плед.

**ДЖЕЙСОН ЛИКУРГУС.** Тот, кто, движимый своим огненно-красным именем, данным ему сардонически-озлобленным деревянноногим неукротимым отцом, который, надо полагать, и поныне всем сердцем верил, что единственно кем бы он хотел быть – это школьным учителем классических языков и классической литературы, однажды в 1820 с парой отличных пистолетов и одним тощим седельным выюком доскакал до тропы натчез<sup>3</sup> верхом на маленькой, едва достающей до пояса, но мощной кобыле, что два первых фарлонга<sup>4</sup> могла покрыть точно меньше, чем за полминуты, а следующие два – вовсе и не более того, впрочем, этим все и кончилось. Но этого было довольно: тот, кто достиг агентства чикасо в Окатобе (которая в 1860 все еще называлась Старым Джефферсоном) и не поехал дальше. Кто через шесть месяцев был приказчиком агента, а через двенадцать – его компаньоном, официально еще оставаясь приказчиком, хотя на деле уже являясь совладельцем того, что теперь представляло собой изрядное имущество, хранимое на складе вместе с выигрышами кобылы в скачках против лошадей молодых воинов Иккмотуббе, которые он, Компсон, всегда осмотрительно ограничивал одним кварталом<sup>5</sup> или самое большее – тремя фарлонгами; а на следующий год не кто иной, как Иккмотуббе стал владельцем маленькой кобылы, а Компсон – целной квадратной мили земли, которая в один прекрасный день окажется почти в центре города Джефферсона, уже засаженная лесом и по-прежнему засаженная лесом двадцать лет спустя, хотя к тому времени скорее похожая на парк, чем на лес, с лачугами рабов, и конюшнями, и огородами, и английскими газонами, и аллеями, и павильонами, распланированными тем же архитектором, что построил дом с колоннадой и портиком, с обстановкой, доставленной пароходом из Франции и Нового Орлеана, но и в 1840 оставаясь квадратной – целой еще – милей (и не только маленький белый поселок, называемый Джефферсоном, начал ныне ее окружать, но и весь белый округ почти что обступил ее, поскольку через несколько лет теперь уже потомки Иккмотуббе и его народ покинут эти места, а те, что останутся, будут жить не как воины и охотники, но как белые люди – как неумелые фермеры или, то там то сям, как хозяева того, что они тоже станут называть плантациями, и как владельцы неумелых рабов, чуть грязнее, чем белые, чуть ленивее, чуть безжалостнее, – пока наконец даже сама дикая кровь не исчезнет, чтобы лишь изредка проявляться то в форме носа негра, восседающего на фургоне с хлопком, то руки белого с лесопильного завода, то охотника, ставящего капканы, то локомотивного кочегара); уже тогда известная всем как имяние Компсонов и с тех самых пор вполне пригодная, чтобы вскармливать принцев, государственных деятелей, генералов и епископов и тем самым отомстить за Компсонов, изгнанных некогда

из Каллодена, и Каролины, и Кентукки; позднее известная как губернаторский дом, ибо безошибочно и своевременно произвела на свет божий или в крайнем случае принесла плод в виде губернатора – еще одного Квентина Маклахана после каллоденского дедушки, – и все еще известная как земля старого губернатора, даже после того как породила (1861) генерала (прозванная так с предрешенного, единодушного согласия всего города и округа, словно бы они знали уже тогда, заблаговременно, что старый губернатор был последним Компсоном, не потерпевшим краха во всем, чего бы ни коснулся, за исключением долгожительства или самоубийства) – бригадным генерала Джейсона Ликургуса II, который потерпел поражение при Шилохе в '62 и еще одно, хотя и не столь сокрушительное, при Ресаке в '64, который первым заложил цельную до той поры квадратную милю саквояжнику<sup>6</sup> из Новой Англии в '66, после того как старый город был сожжен генералом-федералистом Смитом, а новый городок, что будет в свой срок заселен главным образом потомками не Компсонов уже, но Сноупсов, начал вторгаться в ее пределы и затем обгрызать и вгрызаться в нее, в то время как потерпевший поражение бригадный генерал провел следующие сорок лет, распродавая ее по кускам, чтобы платить по закладной за остатки; до тех пор пока однажды в 1900 не скончался мирно на походной армейской койке в охотничьем и рыбачьем домике в нижнем течении реки Таллахачи, где он прожил большую часть своих последних дней.

И даже старый губернатор был теперь забыт; то, что осталось от прежней квадратной мили, теперь было известно просто как усадьба Компсонов – заглушенные сорняками следы былых разоренных газонов и аллей, дом, что нуждался в покраске уже слишком давно, облупившиеся колонны портика, где Джейсон III (обученный на адвоката и действительно державший контору в верхнем этаже над площадью, где погребенные в пыльные картотеки представители стариннейших родов округа – Холстон и Сатпен, Гренье, и Бошамп, и Коулдфилд – блекли год от года среди непостижимых лабиринтов архива: и кто знает, какая мечта лелеялась в вечном сердце его отца, теперь завершающего треть из трех своих реальных воплощений – первое в образе сына блестящего и смелого государственного деятеля, второе – главнокомандующего, чьи доблестные, неустрашимые солдаты сражаются на поле брани, третье же – как некий привилегированный лже-Даниэль Бун-Робинзон Крузо, который не возвратился в свою юность, потому что в действительности никогда ее не покидал, – так что адвокатская эта контора снова могла бы стать передней, ведущей в губернаторский особняк и в былое великолепие) сидел целыми днями с графином виски и разбросанными в беспорядке Горацием, Ливием и Катуллом с загнутыми уголками страниц, сочиния (как говорилось) колкие сатирические панегерики как на умерших, так и на здравствующих согорожан, который продал остатки имения, кроме того клочка, где располагался дом, и огород, и обвалившиеся конюшни, и одна хижина для прислуги, в которой жила семья Дилси, гольфклубу ради наличных, на которые его дочь Кэндэйс в апреле могла бы сыграть свою блестящую свадьбу, а сын Квентин в июне того же 1910 года мог бы окончить курс в Гарварде и покончить с собой; уже известная как усадьба Старого Компсона, даже когда Компсоны еще жили в ней, в те весенние сумерки 1928, когда обреченная, пропащая, безымянная семнадцатилетняя праправнучка старого губернатора ограбила последнего оставшегося в здравом уме родственника мужского пола (своего дядю Джейсона IV), вытащив деньги из его тайника, и спустилась по водосточной трубе, и убежала с актером из бродячего театра, и все еще известная как усадьба Старого Компсона много позже, когда из нее исчезли все следы Компсонов: после того как овдовевшая мать умерла и Джейсон IV, теперь уже более не опасаясь Дилси, заключил своего брата-идиота Бенджамина в государственный сумасшедший дом в Джеконе и продал собственный

дом сельскому жителю, который превратил его в меблированные комнаты для приезжих и торговцев лошадьми и мулами, и все еще известная как усадьба Старого Компсона даже после того как меблированные комнаты (а вскоре и площадка для игры в гольф) исчезли и прежняя квадратная миля стала вновь цельной, вся в теснящихся ряд за рядом, выстроенных на скорую руку маленьких, единоличностственных, полугородских бунгалло.

### И ЭТИ:

КВЕНТИН III. Тот, кто любил не тело своей сестры, но некую идею о чести Компсонов, ненадежно и (он прекрасно знал) лишь временно поддерживаемой крохотной, хрупкой плевой ее девственности, как если бы миниатюрная копия всей громадной шарообразной Земли могла удерживаться в равновесии на кончике носа дрессированного тюленя. Кто любил не идею кровосмешения, которого он не совершил бы, но некое пресвитерианское представление о вечном наказании за него: он, не Бог, мог бы таким способом низвергнуть и себя, и сестру в ад, где он мог бы стеречь ее вечно и сохранить на веки вечные непорочной меж извечного огня. Но кто любил смерть более всего, кто любил лишь смерть, любил и жил в преднамеренном и почти извращенном ожидании смерти, как любовник любит и намеренно воздерживается от томлящегося, вожделеющего, сочувственно-нежного, невыразимого тела своей возлюбленной, пока он, не в силах более перенести – не воздержания, но обуздания, не срывается, не кидается очертя голову, чтобы сдаться, утонуть. Покончил с собой в Кеймбридже, штат Массачусетс, в июне 1910, через два месяца после свадьбы сестры, дождавшись прежде окончания текущего академического года, чтобы таким образом получить полную стоимость его оплаченного заранее обучения, не потому, что носил в себе своих предков из Каллодена, и Каролины, и Кентукки, но потому, что оставшийся клочок прежней компсоновской мили, который был продан, чтобы оплатить свадьбу сестры и его курс в Гарварде, был всем этим, вместе взятым, за исключением той же самой сестры и огня, горящего в камине, которых любил его младший брат, рожденный идиотом.

КЭНДЭЙС (КЭДДИ). Была обречена и знала это; приняла свою судьбу, ни стремясь к ней, ни избегая ее. Любила брата вопреки ему, любила в нем того ожесточенного проповедника и непреклонного, неподкупного судью всему, что он считал честью и судьбой их семьи, ибо он думал, что любит, но на самом деле ненавидел в ней то, что он полагал хрупким, обреченным сосудом семейной гордости и отвратительным орудием ее бесчестия; и не только это, она любила его не только вопреки, но и в силу того, что он сам был не способен к любви, приняв тот факт, что превыше всего он должен ценить не ее, но девственность, хранительницей которой она была и которой нисколько не дорожила: непечным физическим устройством, которое значило для нее не более, чем значила бы заусеница. Знала, что брат более всего любит смерть и не ревнив, и вручила бы ему (а возможно, в предвидении замужества и по зрелом о том размышлении, действительно вручила ему) гипотетический яд. Два месяца назад забеременела от другого мужчины и, невзирая на то, какого пола будет ребенок, уже дала ему имя Квентин в честь брата, который – и они оба (она и брат) знали это – уже был все равно что мертв, когда она выходила замуж (1910) за чрезвычайно подходящего молодого индианца<sup>7</sup>, которого она и ее мать встретили, отдыхая предыдущим летом во Френч Лике. Брошена им в 1911. Вышла замуж в 1920 за мелкого киномагната из Голливуда, штат Калифорния. Брак был расторгнут с обоюдного согласия в Мехико в 1925. Пропала в Париже с началом германской



окупации в 1940, по-прежнему красивая и, вероятно, как и прежде, состоятельная, потому что выглядела лет на пятнадцать моложе своих фактических сорока восьми, и больше о ней никто ничего не слышал. Кроме одной женщины в Джефферсоне, местной библиотечарши, женщины роста и цвета мыши, которая никогда не была замужем, которая проучилась в городских школах в одном классе с Кэндэйс Компсон, а остаток жизни провела, храня «Навечно Амбер»<sup>8</sup>, с ее регулярно, хотя и частично, совпадающими реальными воплощениями, и «Юргена»<sup>9</sup> и «Тома Джонса» подальше от рук учеников младших и старших классов средней школы, чтобы эти последние не могли, даже встав на цыпочки, дотянуться до них и снять с задних полок, где она сама лично вынуждена была стоять на ящике, чтобы их укрыть. Однажды в 1943, после недельного помрачения рассудка, граничившего с почти полной его потерей, когда всякий, кто входил в библиотеку, невольно становился опять свидетелем того, как она поспешно задвигает ящик стола и поворачивает в нем ключ (так что матери семейств, жены банкиров, и докторов, и адвокатов, кое-какие из которых тоже учились в том бывшем классе средней школы, приходившие и уходившие в послеобеденное время с экземплярами «Навечно Амбер» и томами Торна Смита, старательно обернутыми от посторонних взглядов в листы мемфисских и джексонских газет, полагали, что она на грани болезни или, возможно, даже безумия), в полдень она закрыла и заперла на замок библиотеку и с сумочкой, крепко зажатой под мышкой, и двумя лихорадочными пятнами от прилива крови на ее обыкновенно бесцветных щеках вошла в магазин, торгующий всем необходимым для фермеров, где Джейсон IV начинал как приказчик и где теперь он завел собственное дело – как покупателя и продавца хлопка, преодолевая большими шагами эту угрюмую пещеру – самую угрюмую пещеру, в какую когда-либо ступала нога человека, загроможденную, заставленную, завешанную, словно сталагмитами, плугами, и культиваторными дисками, и витками постромочных ремней, и вальками, и хомутами для мулов, и половинами мясных туш, и дешевыми башмаками, и мазями для лошадей, и мукой, и патокой, угрюмую, потому что товары здесь были не выставлены, а скорее спрятаны, поскольку те, кто снабжал за часть урожая фермеров штата Миссисипи, или, по крайней мере, фермеров-негров штата Миссисипи, не желали, пока не получен урожай и не вычислена его приблизительная стоимость, демонстрировать им то, что они могли бы научиться хотеть, но лишь то, без чего они не могли бы обойтись, лишь самое необходимое, что предоставлялось им по их же собственному требованию, – зашагала по направлению к персональному джейсоновскому владению в самом дальнем углу: этакому пятакчу, тщательно отгороженному и загроможденному полками, и ящиками для бумаг, с насаженными на гвозди, в пыли и волокнах, квитанциями на хлопкоочистительные машины, и грессбухами, и образцами хлопка, и пропитанному смешанным запахом сыра, и керосина, и упряжной смазки, и громадной железной печки, возле которой вот уже почти сто лет выплевывался прожеванный табак, и поднялась к длинному, высокому, покосившемуся прилавку, за которым стоял Джейсон, и, не обращая внимания на мужчин в рабочих комбинезонах, что оборвали разговор и даже перестали жевать, как только она вошла, с каким-то близким к обмороку отчаянием открыла сумочку, и что-то вытащила из нее, и положила это прямо на прилавок, и стояла, дрожа, задыхаясь, пока Джейсон рассматривал это – картинку, цветную фотографию, очевидно, вырезанную из иллюстрированного журнала, исполненную роскоши, денег и солнечного света: на фоне Ривьеры с ее горами, и пальмами, и кипарисами, и морем открытая, мощная, дорогая, сияющая хромом спортивная машина, лицо женщины без шляпы, в обрамлении великолепного шарфа и котикового меха, прекрасной, не имеющей возраста, безучастно-спокойной и проклятой; подле нее красивый худой мужчина средних лет, с нашивками и погонами немецкого штабного генерала, – и

старая дева, ростом с мышь и цветом в мышь, дрожащая, потрясенная собственным безрассудством, пристально, не мигая, смотрела через снимок в лицо бездетного холостяка, на котором обрывался этот длинный ряд поколений – мужчин и женщин, в которых было кое-что от порядочности и гордости даже после того, как удача покинула их и утратилась былая цельность, а гордость все более оборачивалась тщеславием и жалостью к себе: от изгнанника, что вынужден был бежать из родной страны, не имея при себе почти ничего, кроме собственной жизни, но все-таки не признал своего поражения, и от того, кто дважды ставил на карту как жизнь, так и свое доброе имя, и дважды проигрывал, и столько же раз отказывался это признать, и того, кто всего лишь с маленькой умной четвертьлошадью в качестве орудия отплатил за лишенных владений отца и деда, добившись поместья, и блестящего, смелого губернатора, и генерала, который, хотя и потерпел поражение на поле брани, по крайней мере, так же рисковал в этом поражении и собственной жизнью, до образованнейшего алкоголика, который продал остаток вотчины не для того, чтобы покупать спиртное, но чтобы дать одному из своих потомков по крайней мере шанс – самый лучший шанс в его жизни, который он только мог себе вообразить.

– Это Кэди! – прошептала библиотечарша. – Мы должны спасти ее!

– Верно, Кэд, – сказал Джейсон.

Потом он засмеялся. Он стоял там и смеялся, глядя сверху вниз на фотографию, на безучастное прекрасное лицо, теперь помятое, с загнутыми углами от недельного пребывания в ящике стола и в сумочке. И библиотечарша знала, почему он смеется, тот, кто вот уже тридцать два года называл себя как угодно, только не мистером Компсоном, с тех самых пор как однажды в 1911, когда Кэндэйс, покинутая мужем, привезла домой крохотную дочку-наследницу и, оставив ребенка, уехала следующим поездом, чтобы больше не вернуться, и не только чернокожая кухарка Дилси, но и библиотечарша своим бесхитростным, Богом данным чутьем угадывала, что Джейсон, каким-то образом использовав жизнь и незаконнорожденность ребенка, шантажировал его мать и не только заставил ее всю оставшуюся жизнь провести вдали от Джефферсона, но и назначил себя единственным опекуном и безусловным распорядителем денег, которые она посылала на содержание ребенка, и уже окончательно, когда она отказалась говорить с ним после того, как однажды в 1929 ее дочь спустилась по водосточной трубе и убежала с актером из бродячего театра.

– Джейсон! – закричала она. – Мы должны спасти ее! Джейсон! Джейсон! – и все продолжала кричать, даже когда он большим и указательным пальцами взял снимок и швырнул им в нее через прилавок.

– Кэндэйс? – сказал он. – Не смешите меня. Этой суке нет и тридцати. А той – пятьдесят уже стукнуло.

А библиотека все оставалась запертой – и весь следующий день тоже, когда в три часа дня со стертymi ногами, истощенная, но не сдающаяся, с сумочкой, все так же крепко зажатой под мышкой, она свернула в чистый дворик в негритянском квартале Мемфиса, и поднялась по ступенькам чистого домика, и позвонила, и дверь открылась, и чернокожая женщина примерно ее лет какое-то время безмолвно на нее смотрела.

– Вы Фрони, не правда ли? – сказала библиотечарша. – Вы не помните меня? Я – Мелисса Мик, из Джефферсона...

– Да, – сказала негритянка. – Входите. Вы хотите видеть мамми.

И она вошла в комнату, чистую, хотя и загроможденную, спальню старой негритянки, пропитавшуюся запахом старых людей, старых женщин, старых негритянок, где старая женщина сидела в кресле-качалке подле камина, где, даже несмотря на то, что был июнь, теплился огонь, – дородная некогда женщина в вылинявшем, чистом

ситцевом платье и безукоризненно чистом тюрбане вокруг головы над затуманенными и теперь, очевидно, почти не видящим глазами, – и вложила вырезку с загнутыми углами в ее черные руки, которые, как руки всех женщин ее расы, были все такими же гибкими и тонко очерченными, какими они были в ее тридцать, или двадцать, или даже семнадцать лет.

– Это Кэдди! – сказала библиотекарша. – Это она! Дилси! Дилси!

– Что он сказал? – сказала старая негритянка.

И библиотекарша знала, кого она имела в виду, говоря «он»; и библиотекарша не изумилась не только тому, что старая негритянка знала то, что она (библиотекарша) знает, кого она имела в виду, говоря «он», но и тому, что старая негритянка знала вместе с тем, что она уже показывала снимок Джейсону.

– Вы ведь знаете, что он сказал! – закричала она. – Когда он понял, что она в опасности, он сказал, что это она, и сказал бы так, даже не имея я этой фотографии. Но как только он понял, что кто-то, все равно кто, пускай даже я, хочет спасти ее, хотя бы попытаться спасти ее, он сказал, что это не она. Но это – она! Взгляните сюда!

– Взгляните на мои глаза, – сказала старая негритянка. – Как я могу увидеть эту картинку?

– Позовите Фрони! – закричала библиотекарша. – Она узнает ее!

Но старая негритянка уже бережно складывала вырезку по старым сгибам и отдавала ее назад.

– Нету больше толку от моих глаз, – сказала она. – Не могу я ее увидеть.

Вот и все. В шесть часов она пробивала себе дорогу на битком набитой конечной остановке автобуса, с сумочкой, зажатой под мышкой, и с половинкой своего билета туда-и-обратно в руке, и была подхвачена и принесена на бурлящую платформу ежедневным приливом нескольких гражданских лиц средних лет, но главным образом солдат и моряков, по дороге то ли в отпуск, то ли на смерть, и бездомных молодых женщин с их попутчиками, которые вот уже два года день за днем живут в пульмановских спальных вагонах и отелях, когда им повезет, и в дневных пассажирских вагонах, и междугородных автобусах, и станциях, и вестибюлях, и общественных уборных, когда – нет, делая остановку чуть дольше обычной только для того, чтобы в благотворительных палатах или полицейских участках опростаться от очередного приплода и потом ехать дальше, и пробивала себе дорогу в автобус, маленькая – меньше, чем все остальные, так что ее ноги лишь изредка касались пола, пока кто-то (мужчина в хаки; она не могла его видеть, потому что уже плакала) не встал, и не подхватил ее, и не усадил на сиденье возле окна, откуда, все еще плача беззвучно, она могла бы посмотреть на пронесившийся мимо и исчезавший где-то там позади город, и теперь, совсем скоро, она снова будет дома, в безопасности, в Джефферсоне, где тоже продолжалась жизнь со всеми ее непостижимыми и страстью, и шумом, и горем, и яростью, и отчаянием, но там в шесть часов можно захлопнуть ее обложку, и даже невесомая рука ребенка сможет поставить ее обратно на полки, туда, где среди членов ее клана, столь не похожих друг на друга чертами лица, царит неизменный, никем не нарушаемый покой, и запереть ее на ключ на всю эту бесконечную и бессонную ночь. ДА, думала она, беззвучно плача, ИМЕННО ТАК; ОНА НЕ ХОТЕЛА ВИДЕТЬ ЕЕ ЗНАТЬ БЫЛА ЛИ ЭТО КЭДДИ ИЛИ НЕТ ПОТОМУ ЧТО ОНА ЗНАЕТ КЭДДИ НЕ ЖЕЛАЕТ БЫТЬ СПАСЕННОЙ НЕ ИМЕЕТ БОЛЕЕ НИЧЕГО КОЕГО РАДИ СТОИЛО БЫ БЫТЬ СПАСЕННОЙ НИЧЕГО ДОСТОЙНОГО БЫТЬ УТРАЧЕННЫМ ЧЕГО ОНА МОЖЕТ ЛИШИТЬСЯ.

ДЖЕЙСОН IV. Первый здравомыслящий Компсон еще со времен Каллодена и (бездетный холостяк) с тех же, следовательно, пор последний. Логичный, рациональный, сдержанный и даже философ в старой стоической традиции: вообще ничего так

или иначе не думающий о Боге, а просто принимающий в расчет полицию и оттого побаивающийся и уважающий только чернокожую женщину, которая готовила для него еду, своего заклятого врага с рождения и смертельного врага с того самого дня в 1911, когда бесхитростное, Богом данное чутье подсказало ей, что он каким-то образом использовал незаконнорожденность своей маленькой племянницы-наследницы, чтобы шантажировать ее мать. Тот, кто не только избавился от Компсонов и не порывал с ними, но и соперничал и не порывал со Сноупсами, которые вступили во владение городком вслед за сменой столетия, когда Компсоны, и Сарторисы, и другие старинные роды постепенно исчезли из него (то был не Сноупс, но сам Джейсон Компсон, кто, как только мать умерла – племянница уже пропала, спустившись по водосточной трубе, так что Дилси больше не располагала ни одной из этих дубинок, чтобы сдерживать его, – препоручил своего младшего брата-идиота заботам государства и покинул старый дом, искромсав прежде огромные, роскошные некогда комнаты на квартиры, как он их называл, – и продал все это целиком сельскому жителю, который превратил их в меблированные комнаты), хотя ничего трудного в том для него не было, так как весь остальной город, и мир, и род человеческий, кроме него самого, были Компсоны, непостижимые, однако вполне предсказуемые в том, что на них нельзя было полагаться ни в коем случае. Кто, после того как все деньги от продажи луга ушли на свадьбу его сестры и курс в Гарварде его брата, на свои собственные сбережения – сбережения скряги от скудного жалованья приказчика в магазине – послал сам себя в Мемфисскую школу, где научился различать сорта и определять качество хлопка, и таким образом открыл собственное дело, и вместе с ним после смерти отца-алкоголика возложил на себя все бремя разлагающейся семьи в разлагающемся доме, став кормильцем своего брата-идиота из-за их матери, принеся в жертву те удовольствия, что могли бы быть правом, привилегией и даже настоящей потребностью тридцатилетнего холостяка, чтобы жизнь матери как можно больше походила на ту, какую она вела до сих пор, и не оттого, что он любил ее, но (всегда человек здравомыслящий) оттого, что просто боялся чернокожей кухарки, которую он не смог заставить уйти даже тогда, когда попробовал не выплачивать ее еженедельного жалованья; и кто, несмотря на все это, ухитрился тем не менее скопить 2840 долларов 50 центов (три тысячи, как он заявил в ту ночь, когда племянница их украла) скупыми, отчаянными десятицентовиками, четвертаками и полудолларами, которые он хранил не в банке, так как банкир для него тоже был лишь еще одним Компсоном, но прятал в запертой стальной шкатулке под спиленной половиной доской в запертом стенном шкафу своей спальни, в которой ежеутренне собственноручно застилал постель, потому что держал дверь комнаты все время запертой, если не считать утра каждого воскресного дня, когда в течение полчасика в личном его присутствии и под личным его наблюдением допущенные сюда мать и Дилси меняли постельное белье и подметали пол. Тот, кто после неумелого, неудавшегося покушения его брата-идиота на проходившую мимо девочку назначил себя опекуном идиота, не допуская, чтобы об этом узнала мать, и таким образом смог кастрировать Божье создание, прежде чем мать узнала об этом, ибо была вне дома, и кто после смерти матери в 1933 сумел навсегда освободиться не только от брата-идиота и отчего дома, но и от чернокожей женщины, переселившись в пару контор, которые располагались прямо над магазином, одним лестничным маршем выше его хлопковых гроссбухов и образцов, и которые он превратил в спальню-кухню-ванную, в и вне которых по уикендам можно было встретить крупную, незамысловатую, дружелюбную, медноволосую, приятную на лицо женщину, уже не слишком юную, в круглых ярких шляпах и – в свой сезон – в шубе из искусственного меха, или их вдвоем – и торговца хлопком средних лет, и женщину, которую в городе называли просто его подругой из

Мемфиса, – когда они по ночам в субботу посещали местный кинотеатр, а по утрам в воскресенье поднимались по лестнице к себе в квартиру с бумажными пакетами от бакалейщика, наполненными булками, и яйцами, и апельсинами, и банками с супом, таких домашних, любящих, супружеских, пока последний дневной автобус не увозил ее обратно в Мемфис. Теперь он освободился от всякой опеки. Он был свободен. «В 1865, – говаривал он, – Эйб Линкольн освободил нигеро-американцев от Компсонов. В 1933 Джейсон Компсон освободил Компсонов от нигеро-американцев».

**БЕНДЖАМИН.** Нареченный при рождении Мори в честь единственного брата его матери: красивого, пшютоватого, самодовольного, неработающего холостяка, который у всех и вся занимал деньги, даже у Дилси, несмотря на то что она была черной, поясняя ей, пока вытаскивал руку из кармана, что не только в его глазах она была все равно что член семьи любимой сестры, но почиталась бы прирожденной леди где бы то ни было, в чьих бы то ни было глазах. Тот, кто, когда даже его мать наконец поняла, что он собой представляет, и, рыдая, настояла, чтобы ему дали другое имя, был переименован Бенджамина своим братом Квентином (Бенджамин, наш последний, проданный в Египет). Кто любил три вещи: луг, который был продан, чтобы оплатить свадьбу Кэндэйс и послать Квентина в Гарвард, свою сестру Кэндэйс, огонь в камине. Кто не утратил ни одной из этих вещей, потому что не мог помнить сестры, но лишь утрату ее, и огонь в камине был таким же ярким, как когда он засыпал, а луг был даже лучше, чем прежде, когда он не был продан, потому что теперь он и Ластер могли не только все время следовать вдоль забора за движущимися, которыми – и это даже не имело для него никакого значения – были человеческие существа, размахивающие клюшками для гольфа, но Ластер мог приводить их к островкам травы или сорняков, где в руке Ластера вдруг оказывались маленькие белые шарики, с которыми соревновались и даже побеждали, чего он даже не знал – так это зменого притяжения и всех этих непреложных законов, когда выпускаешь из руки на дощатый пол, или в стену коптильни, или на бетонный тротуар. Кастрирован в 1913. Отправлен в государственный сумасшедший дом в Джексоне в 1933. Но и тогда ничего не утратил, потому что, как и сестру, помнил не луг, но лишь утрату его, а огонь в камине по-прежнему был таким же ярким образом его сна.

**КВЕНТИН.** Последняя. Дочь Кэндэйс. Оставшаяся без отца за девять месяцев до своего рождения, оставшаяся без имени при рождении и даже обреченная остаться невенчанной с того самого мгновения, когда отделившаяся яйцеклетка определила ее пол. Та, что в семнадцать лет в тысяча восемьсот девяносто пятую годовщину с кануна воскресения Господа нашего вылезла из своего окна, и, раскачавшись на водосточной трубе, добралась до запертого окна пустой, запертой дядиной спальни, и разбила оконное стекло, и через окно проникла внутрь, и дядиной каминной кочергой сорвала запертый замок и скобу дверцы стенового шкафа, и подняла спиленную доску, и достала стальную шкатулку (и никто никогда не узнает, как ей удалось взломать на ней замок, как смогла семнадцатилетняя девушка взломать этот замок чем бы то ни было, не говоря уже о кочерге), и обшарила ее (и в ней было не 2840 долларов 50 центов, и даже не три тысячи, а почти семь тысяч. И бешенство, и невыносимая, кровавая ярость, охватившие Джейсона после той ночи, не отпускали его, и рецидивы их, то чуть слабее, то с прежней силой, случавшиеся время от времени в течение последующих пяти лет, заставили его всерьез поверить, что в какой-нибудь непредвиденный момент они уничтожат его, убьют так же мгновенно и наповал, как пуля или удар молнии: ведь несмотря на то, что он был ограблен не на жалкие, ничтожные три тысячи долларов, но почти на семь тысяч, он никому не мог даже сказать об этом; он не только не мог добиться оправдания себе – сочувствия он не хотел – в глазах других людей, которым не посчастливилось быть братом одной суки и дядей

– другой, он даже не мог потребовать помощи, чтобы вернуть их. Он не мог вернуть тех трех тысяч, ему принадлежавших, так как остальные четыре тысячи, которых он лишился, ему не принадлежали, а были законной собственностью его племянницы, как часть тех денег, что мать присылала на ее содержание последние шестнадцать лет, они не существовали вообще, потому что были официально зарегистрированы как израсходованные в тех ежегодных отчетах, что представлялись им окружному судье, как это требовалось от опекуна и доверенного лица его поручителей: так что его лишили не только им уворованного, но и того, что он скопил экономя; он стал своей собственной жертвой, так как лишился не только четырех тысяч долларов, благоприобретая которые он рисковал угодить в тюрьму, но и трех тысяч, которые он скопил почти за двадцать лет ценой жертв и отречений, порой откладывая буквально по пяти- и десятицентовику: и он пал не только жертвой себя самого, но и ребенка, который совершил это единым духом, не обдумывая ничего заранее, даже не зная, даже не заботясь о том, сколько обнаружит, когда взломает шкатулку; и теперь он не мог даже обратиться за помощью в полицию: он, который всегда считался с полицией, никогда не причинял им никаких хлопот, годами платил налоги, которые кормили их и позволяли им пребывать в их паразитическом и садистском бездействии; и не только это, он не смел преследовать девушку сам, потому что он мог бы ее поймать и тогда она бы заговорила, так что его единственным прибежищем была тщетная мечта, заставлявшая его метаться и обливаться потом по ночам и два, и три, и даже четыре года спустя после того происшествия, в то время как он должен был забыть об этом: о том, чтобы изловить ее без предупреждения, выпрыгнуть на нее из темноты, прежде чем она растратит все деньги, и убить, прежде чем она успеет раскрыть рот), и спустилась в сумерках по той же самой водосточной трубе, и убежала с актером, который уже был осужден за двоеженство. И таким образом пропала; и какая бы оккупация ее ни застигла, не прибыть ей в хромированном «мерседесе»; и никогда ни на одной фотографии рядом с ней не будет никакого штабного генерала.

Вот и все. Эти, другие, не были Компсонами. Они были черными:

ТП. Тот, кто ходил по мемфисской Бил-стрит в нарядной, яркой, дешевой одежде, сшитой специально для него владельцами чикагских и нью-йоркских фабрик, применявшими потогонную систему труда.

ФРОНИ. Та, что вышла замуж за проводника пульмановского вагона и уехала жить в Сент-Луис, а позже вернулась в Мемфис, чтобы создать для матери домашний очаг, потому что Дилси отказалась ехать куда бы то ни было дальше Мемфиса.

ЛАСТЕР. Мужчина четырнадцати лет от роду. Который был способен не только прекрасно ухаживать и защищать идиота вдвое старше себя и втрое выше ростом, но и мог его развлечь.

ДИЛСИ.

Они выстояли.

---

<sup>1</sup> Чикасо (ушедшие не так давно) – индейский народ в США, штат Оклахома. Говорят на мускогском языке. (Здесь и далее прим. переводчика)

<sup>2</sup> Судьба, рок.

<sup>3</sup> Натчез, натчи (воины с высокого обрыва) – индейский народ на юго-востоке США, штат Миссисипи.

<sup>4</sup> Фарлонг – восьмая часть мили, 200,17 м.

<sup>5</sup> Квартер – одна четвертая мили, 402,24 м.

<sup>6</sup> Саквояжник – северянин, добившийся влияния и богатства на Юге после войны 1861–65 гг.

<sup>7</sup> Молодой человек из штата Индиана.

<sup>8</sup> «Навечно Амбер» – роман Кэтлин Уинзор о приключениях безнравственной Амбер (период Реставрации в Англии).

<sup>9</sup> «Юрген» – роман Джеймса Бранча Кэйбла, в котором главный герой Юрген, любовник и философ, вращается в мифологических сферах и излагает свои взгляды на жизнь и любовь.

## Меняется жизнь

---



\* \* \*

Опять церквушка на пригорке,  
Стоит, утопшая в листву.  
Стук заблудившейся моторки  
Уходит плавно в синеву.  
Опять над озером в покое  
Горит заря едва на треть.  
И на душе царит такое,  
Что проще взять да помереть.  
Опять в лесу насквозь туманном  
Стволов, как призраков, столпы.  
И жизнь вся чудится обманом —  
Да чем еще ей можно быть?  
Опять прощальный окрик стаи  
Пророчит страшную судьбу.  
Простая боль, совсем простая  
С округлой дырочкой во лбу.

### ДЕЛЬТА\*

Нет дельты меж Босхом и Богом,  
Меж правым и левым плечом.  
И если ты хнычешь убого,  
Уже не взлетишь нипочем.

Нет дельты меж былью и бредом,  
Меж властью и шайкой воря,  
И, если считать по победам,  
У Господа с чертом — ничья.

---

\*Дельта — буква греческого алфавита, в математике означает разницу между сравниваемыми величинами.

---

Михаил Борисович Богуславский, род.24.07.1952 в Челябинске. Образование высшее — инженер-металлург. Актер театра «Маникен». Художественный руководитель детского поэтического театра «Арион». Начальник изд-ва ЧГУ. Автор стихотворных книг «И никаких иных чудес» и «Музыка снов».



Нет дельты меж верой и вирой.  
За все непосильна цена.  
И если ты бредишь ОВИРОм,  
Заплатишь чужбиной сполна.

Но все же меж мной и тобою  
Есть дельта. Торчит острие.  
Ты — ныне и присно с любовью,  
А я только с тенью ее.

\* \* \*

А пулю, выпорхнувшую из ствола,  
Поймать губами будет слабовато?  
Ты зря поверил, что Земля кругла.  
Она порой до боли угловата.

Свинцу лететь. Да не тебе ловить  
Те девять грамм смертельного металла.  
А можешь хлеб с Иудой преломить,  
Который улыбается устало?

Тебе, вжимаясь в камень злой, ползти,  
Чтоб задницу спасти (не ради славы).  
Ах как там рассуждают по Сети:  
«Мы пр-р-равы? Или, может быть, нэ пр-р-равы?»

Теория, она всегда суха.  
Хотя порой талантливы находки.  
Но чаще не хватает не стиха,  
А хлеба, сигарет, тепла и водки.

## МУЗЫКА

### *В. Мельникову*

Нет слов. Истончается сердце.  
У бездны на самом краю  
Изящное, грустное скерцо  
Судьбу подытожит мою.

Пьянила меня и качала  
Мелодия эта, как хмель.  
Я — лодка, что ищет причала,  
А сможет найти только мель.

Какая в душе безнадежность,  
Лишь только к струне прикоснусь.

...Возьмите хоть кто-нибудь нежность,  
Иначе я в ней захлебнусь.

Ну все. «Догорает эпоха»,  
Мелодией тая в ночи,  
Как таинство стона и вздоха  
В больном моем сердце звучит.

Так дай Бог Вам не оступиться,  
За шубой спеша в гардероб.  
А мне постараться не спиться...  
А впрочем, что по лбу, что в лоб.

Поскольку мелодия эта  
Пьянит посильней, чем вино...  
Сколь счастливы братья-поэты —  
Их пули отлиты давно.

### **ВЗГЛЯД НА СНЕГ ИЗ ОКНА ТРОЛЛЕЙБУСА**

Опять зима придет не в радость,  
Пе-ре-мо-ра-жи-вая всех.  
И чаще слабость, а не сладость  
От тех былых больших утех.

Опять зима укроет землю  
Привычным саваном седым.  
И силы зла, что летом дремлют,  
Взойдут предвестием беды.

Опять зима, а мы все те же,  
Лишь на год старше и больней.  
И мрак, и хлад, и глад, и нежить  
Опять придут привычно с ней.

Опять зима, сковавши реки,  
Лишит их воли и тепла.  
И мы, «седые человеки»,  
Поймем, что жизнь уже прошла.

Опять зима запрячет солнце  
За рядом блеклых облаков.  
И мы, узрев бутылки донце,  
Увидим: смерть недалеко.

Опять зима. И как-то странно:  
«Зима, зимою, о зиме».  
Жаль, нет у времени стоп-крана.  
Нет упоения в чуме.

**ВЕСНА**

Весна обещала зайти на минутку.  
Да все недосуг, все спеша, все бегом, и —  
То прыгала спяну в чужую «маршрутку»,  
То в гости летела к кому-то другому.

А мы все готовились, стол накрывали,  
Ее умоляли, звонили, просили.  
Весна извинялась: «Нет, завтра едва ли.  
Денька через три... Уговор еще в силе...».

Все женщины прокляли шубы с амвона  
И туфли ласкали нежнее, чем мужа,  
Синоптиков били до ясного звона:  
«Весны не бывало капризней и хуже!»

Она ускользала, как тень в подворотню,  
Скрывалась по дальним неведомым странам.  
И слухи плодила за сотнею сотню,  
Что, мол, не надейтесь, еще не пора нам.

А мы все же верили ей, словно дети.  
Мол, точно пора, ни к чему бить баклуши.  
И вот поздним мартом, на зыбком рассвете  
Она появилась, спасая нам души.

\* \* \*

Вот и выпал последний наш снег.  
Завтра — всадники Армагеддона.  
Сто мечей не заменят закона,  
Сто священников — пары аптек.

Жаль, что с нами не сладил Господь.  
Сотворил, поигрался и бросил.  
Мы остались и в прозе и в просе.  
В облаках намечается просинь.  
Божьим мельницам нас не смолоть.

Посчитаем чужие грехи.  
На свои и не хватит абака.  
Нам не выть на луну, как собака,  
Не писать сто томов чепухи.

Завтра, завтра уже — Высший суд!  
Пусть иных сто забот рвут на части.  
Подойди, мой греховный сосуд,  
Я наполню тебя влагой страсти.

И пока за окном этот снег —  
Он последний, другого не будет.  
Пусть о нас Провиденье забудет.  
Мы — друг в друге.  
И ночь наша — век.

## ОПЕРА

*Вике Карabasовой*

Закружит жизнь подобно штопору,  
Возьмет в суровый оборот...  
Ах, господа, ходите в Оперу.  
А остальное — все пройдет.

Там Мефистофель обаятелен,  
Там бесподобен Дон Жуан,  
Фальстаф там толст и обстоятелен,  
Там полупроводник Иван.

Там Виолетта с Маргаритою  
Плетут такие кружева,  
Там Нибеллунги, чудо-рыцари,  
Драконов рубят на дрова.

Там Дездемону душат искренне,  
Не за позорные рубли.  
Там голос есть — так это истина,  
А нет — «Вы не туда пришли».

Там много звука, мало мусора,  
Там сказка с чудом пополам.  
И там царит живая музыка,  
Неподконтрольная вождям.

Ну что ж, опять вернемся к штопору..  
...Там страсть царит, а не расчет.  
Ах, господа, ходите в Оперу.  
А остальное — все пройдет.

\* \* \*

Дождь пахнет кладбищем и первыми грибами.  
От костерка божьей неясный дым.  
А я воюю с непослушными губами,  
Что тянутся настойчиво к твоим.

Троллейбус прыгает по рытвинам как заяц.  
Гаишник с палкою глядит из-за угла.

А я опять перед рассветом замерзаю  
Без твоего животворящего тепла.

Судачат бабки, что дешевле, что дороже.  
Проклятьям власти, как годам, потерян счет.  
А пальцы помнят твою ласковую кожу,  
И им нейдет: дай еще, еще, еще.

День растворяется, как вор в универмаге,  
Он в суете пройдет, за ним наступит ночь.  
А я хочу, о чем не скажешь на бумаге,  
И так надеюсь, что и ты совсем не прочь.

\* \* \*

Меняется жизнь. Выдираясь со скрипом  
Из прежней межи, от накатанной лжи.  
И сердце болит, и дыхание с хрипом,  
И в мыслях тоска... Так меняется жизнь.

Она б не хотела. Да кто ж ее спросит.  
Аж за уши тянут, отяпать грозя.  
Так тянет канат первогодок-матросик.  
Он знает, что с боцманом спорить нельзя.

\* \* \*

Не создается мир по строгому приказу.  
Ему не указать: мол, делай так и так.  
Он падает на нас, большой и теплый. Сразу.  
В нем явно не всегда царит холодный разум.  
И нам порой цена здесь — стершийся пятак.

Ах, если б знали мы, куда же попадаем,  
Создатели миров, вершители судеб...  
Мы лишь вчера пришли, а голова седая.  
И слишком крепок чай. И слишком горек хлеб.

Но все равно идем на радость и на муку.  
И с криком, как слепцы, прокладываем путь.  
И женщина дает доверчивую руку.  
И так в порыве чувств ее трепещет грудь.

Потом придет пора прощаний и прощений.  
Мы будем пить вино у чуждых очагов...  
...Для молодых творцов день полон предвкушений.  
Им создавать миры без стен и берегов.

# Непридуманная история Петра Полежаева

*Опыт литературного расследования*

*Почту себя счастливым, если  
Вы... уделите мне несколько  
страниц...*

**(Из письма П.В. Полежаева  
к М.П. Погодину)**

Лет семь-восемь назад были у нас чрезвычайно любимы читателем исторические романы и повести. Десятки издательств выпускали их значительными для того неустойчивого времени тиражами: «Петербургское действо», «Басурманин», «Клятва при гробе Господнем», «Юрий Милославский или русские в 1612 году»... Всех не упомянешь, не говоря уже об их авторах. Между тем еще недавно их имена были на слуху, о них говорили. Но прошло немного времени, и отечественные книголюбы об этих халифах на час, всплывших подобно ложнесским чудовищам из глубин прошлого, благополучно забыли, переключив память на фамилии новых, ранее неизвестных (или, наоборот, давно забытых) авторов.

Для читателя беллетристика (историческая и любая другая) — это, как правило, развлечение, может быть, увлечение, но не настолько важное, чтобы всерьез интересоваться биографией самих беллетристов. Фамилия автора в данном случае служит для него лишь опознавательным знаком, паролем, называя который он имеет возможность получить нужную книжку в библиотеке или приобрести ее в магазине. Читателю, если он — малый не педант и не специалист, по большому счету, неважно и неинтересно, кто написал «Ледяной дом»: Лажечников или граф Салиас, Загоскин или Пикуль. Встретив подобный вопрос в каком-нибудь модном игровом шоу, он будет мучительно вспоминать правильный ответ, но так ничего и не придумав, позвонит другу-филологу: «Яша, у нас тридцать секунд. Кто автор «Пером и шпагой»:

а) Дюма, б) Загоскин, с) Пикуль, д) Юрий Милославский? Быстрее, Яша!».

Просвещенный любитель чтения скорее припомнит, что упоминавшегося «Юрия Милославского» приписывал себе гоголевский Хлестаков, чем то, что его написал Загоскин, которого жестоко громил в прессе Амплий Николаевич Очкин, которым, в свою очередь, восторгался сам Николай Языков, о котором Пушкин сказал... И так далее. Что же говорить о других, менее удачливых писателях-беллетристах, которым не светит даже такой «кривой» выход на классиков. Вот и приходится им бороться за свое место под солнцем всеми доступными средствами (причем не всегда художественными). А претендентов на это место не так мало.

С развитием сетевой литературы количество авторов-беллетристов многократно увеличилось. В «сетку» читателя попадают беллетристические произведения всех мастей на любой вкус, зачастую анонимные, второпях набитые на домашнем компьютере с грамматическими и другими ошибками. Тут уже не до выяснения имен авторов. В такой ситуации на плаву (вернее, на слуху) останутся имена двух-трех счастливцев, которые будут приводиться в учебниках в качестве классиков жанра. Все остальные захлебнутся в мутных потоках не прочитанного и не переваренного читателем легковесного изобилия под названием «беллетр».

Как тут не вспомнить бесконечно правых творцов слова, утверждавших, что писатель только тогда интересен читателю (важнейшее, но не единственное условие!), когда он пишет не только, как он слышит, но пишет про то, что видел, или про себя в увиденном. Заставить рядового читателя интересоваться собой — гораздо сложнее, чем просто быть хорошим, даже очень хорошим писателем. Можно, конечно, завоевать интерес читательской публи-

ки иным образом. Например, если ты не только и не столько писатель (Черчилль с его Нобелевской премией по литературе). Но это уже путь из варяг в греки, большинству писателей недоступный.

Во всех остальных случаях интерес к личности автора носит случайный или профессиональный характер, притом что в профессиональном всегда найдется место случайному. В этом я убедился на собственной шкуре, когда нелепая случайность заставила меня заниматься изучением биографии человека, не представлявшего для меня изначально никакого интереса.

Шел 1993 год. Я работал тогда над составлением книги «Непотребный сын» о судьбе первенца Петра I — царевича Алексея. Книга должна была выйти в замечательной ленинградской серии «Исторические факты и литературные версии». Каждый сборник в данной серии, посвященный какому-нибудь известному историческому событию или персонажу, должен был включать художественное произведение по обозначенной теме, документы, а также выдержки из работ историков. Литературной составляющей моей книги был роман некоего Петра Васильевича Полежаева «Царевич Алексей Петрович» в двух частях.

Когда книга уже была почти готова, мой редактор Светлана Алексеевна Прохвятилова попросила меня срочно найти что-нибудь о Петре Полежаеве и написать небольшое вступление к нему.

Заглянув в каталог Публички, я нашел там с десяток названий изданных в разное время произведений Полежаева. Даты жизни писателя в каталоге не было. Это меня несколько насторожило, но я продолжил поиски.

Перелопатив все имеющиеся книги Полежаева, я обнаружил, что ни в одной из них нет ни слова об их авторе. Скучные аннотации в трех-четыре переизданных в наше время романах гласили, что Полежаев — превосходный писатель-романист, которым восхищались современники и который был незаслуженно забыт впоследствии. И вот он вновь (теперь, получается, заслуженно?!) возвращается к народу.

Но, несмотря на первую неудачу, я продолжал думать только о хорошем. У меня была отличная заначка — мемуары

Полежаева с ностальгическим старушечьим названием «Давно минувшее». Стрелетом открыл я эту небольшую книжку, с вниманием прочел ее целых два раза (благое количество позволял) и с грустью вернул нерасторопным библиотекарям. Почти половину тонюсенькой книжонки составляло описание университетских преподавателей Полежаева, среди которых выгодно выделяется попавший впоследствии в Энциклопедию Брокгауза Н.А. Иванов, мимоходом рассказывается о некоторых выглядящих более чем пресно в глазах студента начала XXI века студенческих традициях. Вскользь упоминается и об однокурсниках, в частности о братьях Толстых, Льве и Дмитрие, учившихся вместе с будущим романистом в Казанском университете во второй половине 40-х годов. Вот она, казалось, зацепочка, — стоит только протянуть руку к именному указателю ПСС Льва Николаевича. Упоминание Толстого о Полежаеве — да это же сокровище!..

Разочарование пришло еще быстрее, чем радость. Насчет Полежаева Толстой категорически молчал. Вряд ли он вообще интересовался своим менее удачливым коллегой по перу — ведь во время учебы в университете они не только не общались, но даже не были знакомы. Вот что пишет по этому поводу Полежаев в своих воспоминаниях: «В числе студентов, слушавших лекции профессора Иванова были двое графов Толстых — один из них, Лев Николаевич, впоследствии автор высокохудожественного произведения «Война и мир», имени же другого брата не помню. Я был соседом Льва Николаевича на исторических лекциях, но сойтись с ним у меня и помышления не могло быть. Аристократические графчики никак не подходили к моим демократическим тенденциям того времени» (Петр Полежаев. Давно минувшее. — Санкт-Петербург, 1894. — С. 15).

Что тут скажешь... Жаль, конечно. Если бы Петр Васильевич все-таки сошелся со Львом Николаевичем, возможно, это повлияло бы не только на содержание его мемуаров. Но какие-то демократические тенденции помешали ему это сделать. Любопытно узнать, в чем же заключались эти самые тенденции?..

Одной из моих последних находок, имевших отношение к Полежаеву, был



№ 12 журнала «Век» за 1882 г., где были опубликованы три стихотворения Петра Васильевича. В двух из них Полежаев говорит о порочности и циничности окружающего мира, где нищета и разврат лицемерно осуждаются теми, кто породил их своим безразличием:

*Не могу оторвать от развратной земли  
Невеселого жадного взгляда,  
Где мы немощь и плоть обрели,  
Как от старого точно наряда,  
От земли, где царят одни деньги во всем,  
Где в труде надрываются груди,  
Где одни мы привольно, спокойно живем —  
Мы, солидные, важные люди!*

Для начала необходимо было выяснить, когда были написаны эти неумелые строки. В одном из трех стихотворений под названием «Ноктурно» речь идет о Петербурге. В столице, по моим данным, Полежаев впервые появился примерно в 1874-75 гг., то есть когда ему было 47-48 лет:

*Петербургский, туманный,  
дождливенький день  
Сероватая ночь заменила...  
Над столицей спустилась легкая тень,  
Но луна скоро мрак осветила;  
Под сиянием ея золотистых лучей,  
Среди сна отдыхавшей природы,  
Засветились главы дворцов и церквей  
И заискрились невкие воды.*

Кроме того, автор в предыдущем стихотворении пишет: «мы, солидные, важные люди», очевидно имея в виду и себя тоже. Таким образом, представляется вероятным, что опубликованные в «Веке» стихи не являются плодом юношеских забав, а написаны Полежаевым, когда ему было около пятидесяти. Но тогда зачем совершенно неуместная самоирония по поводу демократических тенденций юности в «Давно минувшем»?

Опять загадки! Я готов был простить Полежаеву неуклюжесть его стихов, лишь бы те добавили что-нибудь существенное к имевшейся у меня информации об их авторе. Но, повертев так и сяк опусы Полежаева, я понял, что больше ничего хорошего от них ждать не следует. Их автор словно издевался надо мной своими ужасными стихами:

*Ты хочешь жизнь мою узнать?  
Вот юности моей тетрадь...*

Хотел бы я узнать, где эта самая тетрадь! Надеюсь, это не воспоминания о «давно минувшем»?!

Оставшуюся часть мемуаров (около половины) занимает рассказ «Вас. Вас. Стручина, студенческого друга» Полежаева, о его юношеской страсти к одной молодой особе. Описание дано настолько точно, доходчиво и вместе с тем лирично, что возникает мучительное подозрение: мемуарист пишет о самом себе. Эту мысль подтверждает и то, что в списках студентов Казанского университета фамилии Стручина нет. К тому же зачем 66-летнему «солидному, важному» человеку уделять половину своих мемуаров описанию (признаться, скучному и банальному) чужого любовного романа? За неимением собственного опыта несчастной любви? Или, в самом деле, не лукавил Полежаев, говоря о музе в другом своем стихотворении:

*Петь о любви она мне не могла,  
Но искру сострадания зажгла...*

Сострадания к чужой несчастной любви? Похоже, Петр Васильевич был если не демократом, то, по крайней мере, очень добрым человеком, что не позволяло ему равнодушно смотреть на чужие несчастья. Прогуливаясь (в своих стихах) по ночному Петербургу, он жалеет пойманного вора, оправдывая его тем, что ему нечего есть, сочувствует пьяной проститутке, возвращающейся после удачного заработка. Так почему же его доброта могла обойти несчастье друга?

Все бы так, но уж очень смущало меня описание именина Стручиных, куда курсник Полежаева приехал на студенческие каникулы. Отец Полежаева Василий Петрович был из подьяческих детей, и фамилия Полежаевых стала дворянской только в 1840-м году (если верить «Родословной Книге дворян Пензенской губернии»). В рассказе же Стручина описывается пусть и не очень богатая, но все же традиционная дворянская семья. Барский сынок вернулся в свое родовое гнездо, и никаких отдаленных признаков, позволяющих узнать в родственниках Стручина семейство Полежаевых, нет.



Можно лишь предположить, что Полежаев, этот великий конспиратор собственной биографии, нарочно дал описание дворянской усадьбы, чтобы уж точно никто не догадался, кто же, в конце концов, влюбился: он или полуапокрифический Стручин. Маскироваться-то Петр Васильевич, может, и любил, но не настолько, чтобы свою разночинную юношескую гордость променять на слащавую дворянскую экзотику. «Благородные графчики» были ему чужды, и у него не было никаких оснований превращать свою семью в «барскую». Однако, повторяю, это только догадка. Возможно, будущие полежаеведы опровергнут меня...

Если же Полежаев просто-напросто по этическим соображениям изменил имя и фамилию друга, у нас ничего другого не остается, как посочувствовать и другу, и Петру Васильевичу, вернее, его биографии.

Либерализм Полежаева проявился и в выборе героев написанных им романов, которые, кстати, почти все являются известными историческими персонажами. Главные действующие лица полежаевских романов, как правило, оппозиционеры, находящиеся на самой вершине власти (царевич Алексей Петрович, Артемий Волынский). В те времена, о которых идет речь, другой оппозиции просто быть не могло: либо мужицкий бунт, либо вельможный заговор.

По замыслу Полежаева для интриги в романе совсем не требуется создавать трех мушкетеров, — достаточно царей, престолонаследников, фаворитов, известных придворных, чьи реальные приключения не менее интересны, чем вымышленные. То же самое касается темы любви: любовная драма Алексея и Ефросиньи «держит» читателя в течение всего романа «Царевич Алексей Петрович».

Но сосредоточение сюжетной канвы вокруг царского двора совсем не исключает наличие простолюдинов в романе. Полежаев использует доступный прием: разговоры крестьян, простых горожан, чьими устами нередко излагается отношение самого романиста к описываемым событиям. И в этом Полежаев-романист более этичен, чем многие его коллеги, которых покойный Михаил Чулаки справедливо обвинял в смертном литературном грехе

за то, что те вкладывают «собственные мысли в голову героя и героя невымышленного!».

Что и говорить, у исторического романиста часто возникает большой соблазн втиснуть кусочек своего нераскрывшегося «я» под полы одежды какого-нибудь великого персонажа, — например, под полы шинели убегающего от террориста Александра II из повести Игоря Волгина «Последний год Достоевского».

Читая романы Полежаева, с любопытством наблюдаешь борьбу художника и ученого. Первый робко пытается для «красного словца» придать роману изюминку и готов ради этого даже пойти на «невинную ложь ради общей, то бишь читательской пользы», а второй удерживает его «ради правды, которая превыше всего». Иногда в подтверждение своих доводов Полежаев-ученый ссылается в своих романах на документальные материалы, — явление достаточно редкое и примечательное для историка-беллетриста любого разлива.

Итогом малоприметной борьбы художника и ученого мужа становится компромисс: мысли автора излагают люди из народа, автор только слегка подкрашивает интригу романа, но не с помощью антиисторических фантазий, а за счет придания романтизма и яркости поступкам героев. Полежаев не рисует новую историческую картину, он только придает постаревшему от времени гениальному полотну, сотканному самой жизнью, яркие краски, чтобы читатель по неопытности не проходил мимо поблекшего шедевра, а остановился хотя бы на миг завороченный. Полежаев не сочиняет, а описывает непридуманную историю, которая для него интересней любого вымысла. После прочтения «Давно минувшего» сложно ожидать от него чего-либо другого: в своих воспоминаниях он не пишет о себе практически ни слова! Качество драгоценное для человека, но предательское по отношению к его биографу, которому, между тем, ничего не оставалось делать, как продолжать свои непредсказуемые поиски. Отступить не хотелось: во-первых, было жаль уже потраченного времени, во-вторых, интерес к работе возрастал с очередной неудачей.

Я обратился к книжке А. И. Михайловского «К столетней годовщине Казан-



ского университета» 1901-го года издания. В перечне студентов, учившихся в университете в 40-х годах прошлого века, я без труда нашел фамилию Петра Васильевича Полежаева. Несколько строчек, посвященных ему, гласили, что мой герой был действительным студентом юридического факультета Казанского университета в период с 22 августа 1844 по 2 июня 1848 года. И это, увы, все.

Что было до? Что было после? Пойди поищи: где и когда Полежаев родился, где и когда умер?

Впрочем, насчет смерти у меня одна догадочка была. Поскольку все книги Петра Васильевича в 1870–90-х гг. выходили в Петербурге, я не исключал, что Полежаев жил и даже умер именно в столице империи.

Поиск в «Адрес-календаре»<sup>1</sup> обнадежил хорошей находкой: Полежаев действительно жил в Петербурге начиная с 1874 или 1875 года<sup>2</sup>. Первое же упоминание о писателе относится к 1861–62 гг., когда он предстает членом совета Уфимского попечительного о бедных комитета, занимая по службе место стряпчего казенных дел в Оренбургском губернском правлении. Далее, едва ли не в каждом томе, Полежаев продвигается по служебной лестнице. Так, если в 1863 г. он является товарищем председателя палаты гражданского суда Оренбургской губернии, то уже в 1866 г. становится председателем палаты уголовного, а с 1867 г. и гражданского суда Уфимской губернии. Вместе с должностями растут чины. В 1857 г. Полежаев всего лишь титулярный советник. А в 1871 г. он уже — действительный статский советник. Классический образец выслужившегося чиновника.

В «Адрес-календаре» на 1875 г. Полежаев значится как сверхкомплектный чиновник, состоящий за обер-прокурорским столом в 4-м департаменте Сената. Эту должность он, по-видимому (что потом и подтвердилось), оставил в 1882 г., поскольку на 1883 г. сведений о работе Полежаева в Сенате нет. Примечательно, что отставка пожилого либерала Полежаева совпадает с окончанием царствования царя-реформатора Александра II. В 1896 г. имя писателя исчезает из «Адрес-календаря».

Так все-таки когда же он умер? По-видимому, где-то в районе 1896-го года...

Поиски в адресных книгах Петербурга, Уфы, Казани, Оренбурга и Пензы не дали никаких результатов. Следующим этапом был неизбежный поход в РГИА.

Новая информация, правда, немного иного рода не могла не порадовать сердце, — мне стало известно, что Петр Васильевич женился в 1857 г. на дочери статского советника С. Н. Сушковой<sup>3</sup>. К сожалению, это была всего лишь однофамилица знаменитой дермонтовской черноокой красавицы Екатерины Сушковой. От брака с Софьей Николаевной у Полежаева было пять детей: два сына и три дочери.

Попутно я заглянул в «Список гражданским чинам IV класса (исправленный по 10.06.1882 г.)», где обнаружил любопытные сведения. Оказывается, у четы Полежаевых была в Уфимском уезде 321 десятина земли (31 десятина приобретена мужем и 290 десятин — собственность жены, Софьи Николаевны). Ай да Петр Васильевич!

Тогда же на глаза мне вовремя попался «Исторический очерк Пензенской 1-ой гимназии с 1804 по 1871 гг.» некоего П. П. Зеленецкого, откуда я узнал о том, когда Полежаев родился. Но этого было мало. В «Списках дворянских родов, внесенных в родословную книгу Пензенской губернии к 1902 г.» я нашел окончательное подтверждение того, что Петр Васильевич родился именно в Пензенской губернии.

«Пензенская» находка вдохновила меня, поскольку детство Полежаева до сих пор оставалось для меня самым темным моментом в биографии писателя. И если дату рождения Петра Васильевича я приблизительно вычислил — отнял от сорок восьмого года семнадцать лет (вероятный возраст поступления моего героя в университет) и получил двадцать седьмой год, то насчет места рождения у меня были сильные сомнения. Где только не наткнулся я на следы писателя: в Казани, Уфе, Оренбурге и, наконец, Петербурге.

Прошло два года. Я переехал в Москву. Не знаю, хорошо это было для меня, но для Полежаева — просто чудесно. Дело в том, что о моих сизифовых изысканиях стало известно в биографическом словаре «Русские писатели. 1801—1917». Я никогда до этого не имел дел с подобными изданиями, поэтому с радостью ответил на приглашение редакции словаря написать статью о моем герое.

Удивительное и превосходнейшее явление эти «Русские писатели». Авторский кюстик «Русских писателей» — сотрудники Пушкинского дома, возрадившие идею этого издания еще в 70-х годах прошлого века. Словарь единогласно признается в качестве последней инстанции, куда можно обратиться, если есть сомнения или просто не хватает информации о том или ином писателе. В «Русских писателях» можно узнать уточненную дату рождения нужного литератора, выяснить дату выхода в свет его произведений, разобраться в круге его знакомств и литературных связей, познакомиться с именами малоизвестных современному читателю авторов, оставивших след не только в литературе, но и в истории.

Тираж словаря всего пять тысяч. Пять тысяч для издания, которое по сути своей является эпохой и прижизненным памятником отечественному литературоведению! Но и эти пять тысяч издаются с мучительным скрипом. Первый том словаря вышел в издательстве «Советская энциклопедия» еще в революционном 1989 г., следующий — в 1992 г., третий и четвертый тома — в 1994 и 1999 гг. соответственно. Пятый том все никак не может быть издан из-за финансовых проблем.

Единственное, что не позволяет верить в гражданскую смерть словаря, — его сотрудники. Это и авторы, и редакторы с их непокорным оптимизмом и верой в то, что они делают ненеправильную работу. Бесспорно, чудный человек — Сергей Михайлович Александров. Именно благодаря его давлению я, легкомысленно посчитавший, что больше уж нигде ничего не найдешь, продолжил поиски — теперь уже в Москве. Моя книга о царевиче Алексее уже давно вышла, так и не дождавись статьи о Полежаеве, но меня это уже мало смущало: мне было интересно то, что я делаю.

В РГАЛИ ничего не было. Хороший архив, приятные люди, но, увы... Зато работа в Ленинке приятно удивила. То, что я там обнаружил, было чудом: автограф самого Полежаева! Передо мной лежало письмо двадцатитрехлетнего Петра Васильевича к самому Михаилу Петровичу Погодину. Поистине ради этого стоило оказаться в Москве! Не могу не привести здесь целиком это небольшое послание начинающего историка прославленному мэтру:

«Милостивый Государь, Михаил Петрович!

Занимаясь *в свободное от служебных занятий время* (курсив мой. — Р.Б.) изучением финансовой стороны древней Русской истории по нашим источникам, я составил по этому предмету несколько замечаний, из которых посылаю к Вам с этой же почтой небольшой отрывок. Почту себя счастливым, если Вы найдете эти замечания справедливыми и уделите мне несколько страниц издаваемого Вами журнала. Уважая в полной мере Ваши заслуги по критической разработке наших исторических письменных памятников, я надеюсь, что Вы не оставите без внимания и мою посильную первую лепту. Вместе с этим, имею честь Вас уведомить, что мною собрано несколько довольно драгоценных материалов, относящихся до истории нашего края и несколько описаний курганов, городищ. Все это по мере приведения в порядок, я сочту за особенное удовольствие препроводить к Вам.

С истинным к Вам почтением и преданностью, имею честь быть Вашим, Милостивый Государь, Покорный слуга

Пет. Вас. Полежаев

5 сент. 1851 г. гор. Пенза».

В журнале «Московитянин», издаваемом в то время Погодиным, материалы Полежаева опубликованы не были. Возможно, Михаил Петрович не ответил начинающему любителю истории. По крайней мере, в бумагах Погодина, хранящихся в Ленинке, упоминание фамилии Полежаева не встречается. Хотя бы какой-нибудь обрывок черновика письма!..

Неизвестно, то ли невнимание Погодина, то ли что-то другое повлияло на молодого Полежаева, но профессиональным историком он не стал. В 1861 г. была опубликована его первая книга «О праве собственности по русским законам»<sup>4</sup>. Судя по названию, содержание данной книги и есть то, что имел в виду Полежаев в своем письме к Погодину. А вот краеведческие материалы, относящиеся к истории Пензенского края, о которых также вспоминал Петр Васильевич, по имеющейся у меня информации, так и не были им нигде использованы, хотя возможность, бесспорно, была: в 1878—80 гг. Полежаев редактировал довольно любопытный с точки зрения любителя истории журнал «Историческая



библиотека». Вместо пензенских находок Петр Васильевич опубликовал здесь два своих произведения: «Московское княжество в первой половине XIV в.» (1878, № 1—3), работу, которую, как и «Право собственности по русским законам», можно отнести к предмету истории государства и права, и свой первый исторический роман «Престол и монастырь» (1878, № 12; 1879, № 1, 2, 8).

Под романом стоит подпись: Ш-б-ский. В словаре псевдонимов Масанова такой псевдоним не значится. Полистав далее «Историческую библиотеку», я обнаружил любопытную штуку. Полежаев полемизировал с неким рецензентом из журнала «Древняя и новая Россия», который придирался к Петру Васильевичу, прежде всего как к редактору. Мол, пагинация у «Исторической библиотеки» не та, да и произведения какие-то странные. Взять хотя бы «Престол и монастырь» Ш-б-ского, — не роман, а сплошное «блинопечение». Слава Богу, брюзга-критик не дожил до наших «блинопеченых» времен!

Полемика продолжалась недолго — до декабря 1879 г. Затем все как-то тихо прекратилось. Полежаев не особо огрызался по поводу «Престола», тем более что через год роман вышел отдельным изданием с указанием подлинного имени его автора. Полное его название звучало так: «Престол и монастырь. Исторический роман в 2-х частях из русских летописей 1682—1689 гг.». Всего же до революции это сочинение издавалось четыре раза!

Не меньший успех среди читателей ждали и другие романы Полежаева: «Бирон и Волынский» (или «150 лет назад») — о борьбе русской и немецкой партии в царствование Анны Иоанновны, «Лопухинское дело»<sup>5</sup> — о придворном заговоре во главе с лейб-медиком И.Г.Лестоком против вице-канцлера Бестужева, «Фавор и опала» — о дворцовой неразберихе после смерти Петра I и падения Меншикова. Продолжая хранить верность своей любимой теме — истории России XVIII столетия, Полежаев написал интереснейший роман «Тузы и двойки. Листки из столичной хроники 1780 г.», где речь идет о приезде в Петербург известного авантюриста Джузеппе Бальзамо, графа Калиостро. Но все же самое знаменитое творение Поле-

жаева — это его роман «Царевич Алексей Петрович», впервые изданный в 1885 г. Далее роман выходил еще три раза. Один раз целиком (в 1902 г.) и два раза отдельно, по частям: «До побега» (1885) и «Побег и смерть» (1885).

Многие романы Полежаева были переизданы уже в наше время в середине 90-х. Однако вскоре историческая беллетристика перестала волновать дух неприязнительных читателей, — ее место заняли «блинопеченые» детективы и женские романы. Прекратили переиздавать и Полежаева, который, не успев появиться на поверхности литературной жизни, вновь захлебнулся в мутной проруби забвения...

Но номенклатура слепого и беспощадного книжного рынка уже не могла повлиять на мое отношение и интерес к Полежаеву. Когда статья для энциклопедии была готова и ее образцы давно разошлись по государственным архивам Уфы, Казани, Пензы и Оренбурга, я зашел в питерскую Публичку — почитать «Уфимские губернские ведомости» за середину 90-х годов позапрошлого века. После получения новых данных у меня было сильное подозрение, что Полежаев умер именно в Уфе, а не в Петербурге, и я надеялся отыскать его некролог. Как-никак, а в Уфе Петр Васильевич был человеком уважаемым, особенно с тех пор, как стал председателем Уфимского попечительного о бедных комитета (должность отнюдь не свадбногенеральская!). На деньги Петра Васильевича содержался приют для бедных учеников гимназии при комитете, — словом, я надеялся непременно найти некролог Полежаева, установив, таким образом, точную дату его смерти.

Пролистав все номера за 1894 год, я ничего не нашел, но инстинкт подсказывал мне искать дальше. 1895... ничего. 1896 год... Наконец-то! Наверное, Сальери так не радовался, читая некролог Моцарта:

«Уфимский попечительный о бедных комитет и П.В. Полежаев (ум. 19 марта 1894г.)

Посвящается достойной памяти незабвенного деятеля комитета».

Далее в небольшой заметке — некрологе говорилось о том, что два года назад (некролог спустя два года после смерти!) скончался выдающийся гражданин Уфы,

активный деятель Уфимского попечительного о бедных комитета Петр Васильевич Полежаев. Автор некролога член комитета Н. А. Гурвич сокрушался, что из-за скромности покойного у редакции и у комитета нет никаких сведений о Петре Васильевиче Полежаеве. Гурвич надеялся со временем получить хоть какую-нибудь информацию о Полежаеве, призывая всех, кто знал скромного писателя и мецената, обращаться в редакцию. Я перелистал до конца все номера за 1896, за 1897 г. и так далее вплоть до революции, — к сожалению, в газете так ничего и не узнали о талантливом беллетристе и просто хорошем человеке.

В одном из номеров уже упоминавшийся Гурвич сообщил, что он вышел на сына Полежаева Владимира и, возможно, скоро сможет, обладая нужными сведениями, написать более обширный материал о Петре Васильевиче. Прошло время. Материал так и не появился в газете.

Но на этом приключения Полежаева, вернее его биографии, по задворкам литературы не завершились. Последний, четвертый, том словаря «Русские писатели» заканчивается статьей о М. П. Погодине, том самом Михаиле Петровиче, которому начинающий любитель истории и краеведения из Пензенской губернии Петр Полежаев отправил свою «посильную

скромную лепту». Погодин не опубликовал материалы Полежаева в издаваемом им журнале. И вот теперь следующий том, где одной из первых статей должна была быть статья о Полежаеве, так и не может появиться на свет Божий. Снова что-то мешает именам Полежаева и Погодина встретиться на страницах одного издания. Что это? Случайное совпадение? Необъяснимая закономерность?

Ты хочешь жизнь мою узнать?.. Видно, не судьба, Петр Васильевич!

---

<sup>1</sup> Полное название: «Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц Российской империи».

<sup>2</sup> Позднее, после работы в РГИА, я уточнил дату: 1874 г.

<sup>3</sup> Последующее уточнение из Пензенского архива: свадьба состоялась в 1852 г.

<sup>4</sup> Ранее отдельной брошюрой была опубликована статья Полежаева «О губернском надзоре» в «Журнале Министерства Юстиции» (1859, № 5).

<sup>5</sup> В аннотации к одному из последних переизданий романа в наши дни говорится, что его сюжет был использован при создании фильма «Гардемарины, вперед!».

# Поздний Бабель. Опыт прочтения

---

## 1. «СУЛАК». КУЛЬТ ЗООТЕХНИКИ

*«С тобой как с человеком разговаривают», — сказал Чернышев и выстрелил.*

Рассказ «Сулак» впервые опубликован Бабелем в 1937 году и относится к произведениям позднего периода творческой жизни писателя. Он в полной мере обнаруживает стилистические черты, характерные для рассказов этого ряда — предельную лаконичность повествования, скупость изобразительных средств — короче, все то, что можно бы назвать словом «простота», точнее — «великая простота», «простота шедевра», когда из ткани текста убрано все, помимо имеющего самое прямое отношение к предъявляемой читателю драме. К драме в античном смысле, в которой поступками героев управляют не их собственные намерения, не рекрутировавшие их историко-социальные обстоятельства и даже не превратности судьбы, а силы столь высокого порядка, что не осознаются самими героями по меньшей мере до последнего момента — момента развязки драмы. Эти силы непонятны, но они масштабны в своих действиях, а следовательно, имеют внутреннюю логику реализации и потому красивы. Вот эта красота, красота *force majeure*, и очаровывает читателя исподволь — независимо от понимания им ее источника. Собственно, сходным образом построено большинство, если не все рассказы Бабеля, однако нигде подобная драматургия, похоже, не присутствует в столь дистиллированном виде, как в рассматриваемой нами полоторастраничной миниатюре.

Завязка рассказа практически совпадает с его фабулой:

«В двадцать втором году в Винницком районе была разгромлена банда Гулая. Начальником штаба был у него Адрян Сулак, сельский учитель. Ему удалось

уйти за рубеж в Галицию, вскоре газеты сообщили о его смерти. Через шесть лет после этого сообщения мы узнали, что Сулак жив и скрывается на Украине. Чернышеву и мне поручили поиски. С мандатами зоотехников в кармане мы отправились в Хошеватое, на родину Сулака».

Стоит добавить к этому единственную фразу, допустим, такую: *В первую же ночь мы обнаружили Сулака скрывающимся в доме своей жены и застрелили при задержании*, как весь ход событий окажется исчерпанным. Тем самым читателю дают понять, что перед нами **не-детектив**. То есть смысловой акцент рассказа отстоит далеко от перипетий поиска Сулака чекистами и их с ним единоборства. Такова главная функция первого абзаца. Впрочем, есть и вспомогательные. Во-первых, это, конечно же, задание стилистической тональности — этакий чуть усталый газетно-канцелярский нарратив. Во-вторых, — указание времени действия. Простая арифметическая операция дает нам двадцать восьмой год — как известно, последний год нэпа, переломный год, когда крестьянская Россия была принесена в жертву неким возвышенным, но неизвестным ей целям. Кроме этого, обратим внимание на значимую фамилию Чернышева — убийцы заглавного героя, — значимую не только в контексте творимого им зла, но и по созвучию со словом «чернец». Впрочем, к церковно-монастырской теме мы еще вернемся, а сейчас обратим внимание на еще одно, как бы ни с чем не связанное слово — «зоотехник». Проще всего сказать, что это фактический эвфемизм. «С мандатами живодеров», «с мандатами душегубов» — как-то так должно было сорваться с языка. Ведь не «ветеринар», а именно «зоотехник»: соединение живого с доминирующей над ним машиной. Однако Бабель заставляет это слово, как и фамилию Чернышев, «работать» в несколь-

ких различных планах. Липовый мандат зоотехников создает двойную оппозицию «правда-ложь»: в отношении жены Сулака, которая, курируя разведение кроликов, выполняет в своем селе реальные функции зоотехника<sup>1</sup>, и в отношении самого Сулака, который, несмотря на подпольное существование, остается самим собой — живет в своем доме со своей женой. Тогда как чекисты, напротив, являются с ложными личинами и ложно ищут ночлега в доме Сулака.

Резонно предположить, что далее рассказ и будет строиться по линии противопоставления безжалостно-разрушительной воли ложных зоотехников и беззащитного крестьянского мира, притягивающего читательские симпатии. Получилось бы повествование в духе «Канунов» В. Белова, имевшее, кстати сказать, реальные шансы проскочить тогдашнее цензурное сито, как проскочил ее, допустим, «Тихий Дон». Дело в том, что раннесоветская цензура, по всей видимости, была способна закрыть глаза на притягательное изображение «классово-чуждых элементов» при условии торжества основной идеологемы: *против советской власти как против дома — нет приема.*

Тем не менее, Бабель избегает столь банального противопоставления, создавая существенно более сложную вселенную рассказа. Посмотрим, как она организована.

Для начала заметим, что все связанное с домом Сулака и его женой-карлицей, словно бы в насмешку названной Харитиной<sup>2</sup>, отнюдь не вызывает однозначной симпатии и сочувствия:

<...> дом, крытый железом. В горнице, перед грудой холста, сидела карлица в белой кофте навыпуск. Два мальчика в приютских куртках, склонив стриженные головы, читали книгу. В люльке спал младенец с раздутой, белесой головой. На всем лежала холодная монастырская чистота.

Ясно, что это не описание домашнего уюта. Скорее — монастыря<sup>3</sup>, богадельни, на что прямо указывают, в частности, куртки мальчиков. Не добавляет симпатии и сопровождающий тему Сулака и его дома мотив железа:

<...> дом, крытый железом.

На огороде Сулака <...> валялось об-

ломанное железо.

Сулак внизу возился с затвором, затвор щелкнул.

Ноги мертвеца в польских башмаках, подкованных гвоздями <...>.

Лицо ее с перекосившимися костями казалось металлическим.

Или такой вот эпизод:

«Муж у папы римского, — сказал Чернышев, — а жена в год по ребенку приводит...» «Живое дело, — ответил председатель, увидел на дороге подкову и поднял ее, — вы на эту вдову не глядите, что она недомерок, у ней молока на пятерых хватит. У ней молоком другие женщины заимствуются...»

Здесь металлическая подкова, вернее — жест ее поднятия, является, по сути, субститутом фразы «что касается вдовы Сулака». В этом же месте, однако, мы замечаем и иные мотивы, сцепленные с темой Харитины Терентьевны. Это молоко, это «живое дело» — словосочетание, использованное председателем сельрады в рассказе еще один раз — по отношению к кроликам, неудержимо желающим по весне размножаться.

Таким образом, дом Сулака (в широком смысле) обладает следующими свойствами. Это нечто *строгое, твердое, серьезное, дарующее, однако, жизнь*: рожающее своих детей, питающее молоком чужих, заставляющее плодиться кроликов. Стоит обратить внимание еще и на тот факт, что Сулак и его жена — сельские учителя. В свете сказанного становится понятным, что перед нами своеобразная метафора Церкви (института, а не здания), и, взглянув под этим углом, мы видим, что герои рассказа совершают в нем, по сути, некий квазирелигиозный ритуал.

В самом деле, для участников ритуала характерно отсутствие сомнений в своих действиях. Все знают, что надо делать и когда, что будет дальше и какие чувства надо испытывать в каждый момент. Действительно, в рассказе мы ни разу не встречаем сомнений, метаний кого-либо из четырех основных героев: рассказчика, Чернышева, Харитины и Сулака. Они делают все словно бы по заданной программе, никогда не совещаются и не спорят: *Рядом со мной на сене ворочался Чернышев. «Пошли», — сказал он. Мы встали. На чистом, без облачка, небе сияла луна.* Аналогичным образом, Ха-



ритина во время первого визита «зоотехников» в её дом даже не пытается защититься от непрошенных постояльцев или хотя бы вывести их намерения, что было бы вполне естественным в ее ситуации: «*Харитина Терентьевна, — неуверенным голосом сказал председатель, — хочу хороших людей к тебе постановить.*» *Женщина показала нам хатыню и вернулась к своему холсту.* Она словно бы знает, что эмоциональная реакция позволена ей лишь в краткий кульминационный миг ритуала: *Упустив миску, карлица бросилась ко мне и укусила за руку. Зубы ее свело, она тряслась и стонала.* После чего обязана вернуться к прежней своей сосредоточенной невозмутимости:

«В головах у мужа неподвижно сидела карлица. В затмевающемся свете луны лицо ее с перекосившимися костями казалось металлическим. На маленьких ее коленях спал ребенок».

В свете данной интерпретации становится понятным также, почему, вроде бы договорившись о постое с Харитиной, «зоотехники» все же остаются ночевать у председателя. Они просто не имеют право использовать для профанных целей (ночлега) сакральное пространство дома Сулака, дома, в который они должны вступить извне и в котором им предстоит совершить сакральное действие — убить хозяйина.

Понятно также, что участники ритуала не должны питать друг к другу каких-либо сильных чувств, мы и не встречаем среди них ничего похожего на личное отношение вплоть до последней фразы рассказа, именно проявлением такого отношения как раз и обозначающей границу ритуала: «*Молочная, — сказал вдруг Чернышев, шагавший по дороге, — я тебе покажу молоко...*». Чернышев словом ненависти нарушает ритуал — отсюда это «вдруг».

Есть в рассказе и другая граница ритуала — так сказать, внутренняя. Это целый абзац, относящийся к дому председателя сельрады.

Дома председатель зажарил яичницу с салом и поставил водки. Опынев, он полез на печь. Оттуда мы услышали шепот, детский плач. «Ганночко, божусь тебе, — бормотал наш хозяин, — божусь тебе, завтра до вчительки пойду...» «Разговорились, — крикнул Чернышев, лежащий рядом со мной, — людям спать не даешь...» Всклокоченный председатель

выглянул из-за печи; ворот его рубахи был расстегнут, босые ноги свисали книзу. «Вчителька в школе трусов на развод давала, — сказал он виновато, — трусику дала, а самого нет... Трусиха побыла, побыла, а тут весна, живое дело, она и подалась в лес. Ганночко, — закричал вдруг председатель, оборачиваясь к девочке, — завтра до вчительки пойду, пару тебе принесу, клетку сделаем...» Отец с дочерью долго еще переговаривались за печкой, он все вскрикивал «Ганночко», потом заснул.

Здесь и вообще — в лице председателя ритуалу как бы противопоставляется естественность, жизнь, «живое дело». Спор этот явно неравен — председатель все время словно бы оправдывается, он смешон своими *свисающими книзу* ногами. Мы не знаем точно, в курсе ли он настоящих мандатов «зоотехников», осведомлен ли о действительном местонахождении Сулака<sup>4</sup>, но каким-то иррациональным чутьем он понимает, что принужден соучаствовать в великом и жестоком ритуале, который сильнее него.

И, наконец, попытаемся сопоставить этот ритуал с чем-либо подобным, существующим в действительности. Просмотрев текст с этой целью, мы с удивлением обнаружим массу деталей, намекающих на обычаи и символы христианского вероучения. Это и словно бы воскресший из мертвых Сулак (*газеты сообщили о его смерти. Через шесть лет <...> мы узнали, что Сулак жив*), и пародия на непорочное зачатие (*Муж у папы римского <...> а жена в год по ребенку приводит...*), и пародирование таинства Евхаристии — кормление Сулака красным борщом, а также не связанная вроде бы ни с чем фраза председателя: *в том Хочеватом людей живьем едят...*<sup>5</sup> И даже те же гвозди, которыми подкованы ботинки на ногах мертвого Сулака. Тем не менее, все эти детали не складываются в прямую метафору христианского богослужения или евангельской истории. Рискем предположить, что и не могли сложиться — для сознания Бабеля, воспитанного совсем в другой религиозной традиции, христианство — лишь случайный набор кирпичиков, не образующий обязательного единства. И потому допускающий вполне произвольное использование<sup>6</sup>.



## 2. «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». ВЕСЕЛЫЕ КАРТИНКИ

Даже при беглом прочтении «Иван-да-Марья» бросается в глаза изрядная, неожиданная для небольшого в общем — 2850 слов — повествования о событиях 1918 года на Волге, концентрация весьма отдаленных от Волги этнонимов и топонимов. Это и Канада с Калифорнией, и голландцы с Саардамом и Гарлемом, и немцы, и итальянские арии с шотландским кучером, и чехи с латышами. Есть, само собой, и жид, а также цыгане и уральские казаки — последние, кстати, единственные, да и то до некоторой степени натяжки, представители многочисленных народов, чей ареал традиционного проживания обыденное сознание российского человека все-таки связывает с юго-востоком страны. Если добавить к этому *цепь верблюдов*, которая *легла у воды*, а также Белое море, по которому на парусниках ходил капитан «Иван-да-Марья» Коростелев, — то не составит труда оформить все это в какой-нибудь пусть и плохонький, но глобус. В духе глобусов XVI века, очертания стран и их взаимные размеры на которых соответствовали в первую очередь мифологическим представлениям составителя.

Говоря иначе, упомянутая географическая фактура, не связанная напрямую с происходящим в рассказе<sup>7</sup>, требует какой-то жесткой, рельефной организации, угрожающей в противном случае взорвать текст в графоманский кич.

Попробуем теперь нащупать принцип этой организации.

Вот начало и конец рассказа:

«Сергей Васильевич Малышев, ставший потом председателем Нижегородского ярмарочного комитета, образовал летом восемнадцатого года первую в нашей стране продовольственную экспедицию. С одобрения Ленина он нагрузил несколько поездов товарами крестьянского обихода и повез их в Поволжье, для того чтобы там обменять на хлеб».

«Мы пошли с Малышевым в каюту. Я обложился там ведомостями и стал писать под диктовку телеграмму Ильичу.

— Москва. Кремль. Ленину.

В телеграмме мы сообщали об отправке пролетариям Петербурга и Москвы

первых маршрутов с пшеницей, двух поездов по двадцать тысяч пудов зерна в каждом».

Мы видим, что первый и заключительный абзацы образуют своего рода скобки, объемлющие все повествование, — лишь в них, по сути, рассказывается об отношении героев с теми, кто возложил на них миссию. Маркируется это двумя из трех упоминаний в рассказе имени Ленина, причем только здесь Ленин — живое лицо, тогда как в третьем случае — лишь изображение на портрете. Тем самым Ленин становится персонажем рассказа — статично-неизменным от его начала до конца. Он одобряет чужую инициативу, а потом ждет доклада о ее реализации.

Еще более замечательным персонажем является Малышев, ибо лишь про него (помимо рассказчика) становится известно, что он продолжил свое существование во времени ощутимо **за** границу пространства событий рассказа. Прочие же персонажи остаются **внутри**, и об их дальнейшей судьбе мы никогда не узнаем. Стоит мысленно удалить это упоминание о карьере Малышева **потом**, и степень перфектности происходящего заметно снижается — успех его поволжской миссии становится не столь очевидным даже несмотря на финальную телеграмму: мы не узнаем, спасли ли рабочих Петрограда и Москвы *два поезда по двадцать тысяч пудов зерна в каждом*.

Теперь обратим внимание на следующий, пятый по порядку, абзац:

«В июльское утро «Тупицын», вываливая жирные клубы дыма, потащил нас вверх по Волге, к Баронску. Немцы называли его Катариненштадт. Это теперь столица области немцев Поволжья, прекрасного края, населенного мужественными немногословными людьми».

Безусловное недоумение вызывает в нем слово «теперь». Дело в том, что авторская датировка рассказа — 1920—28 годы. Опубликован же он был впервые в четвертом номере журнала «30 дней» за 1932 год<sup>8</sup>. К этому времени, да и вообще — с 1924 года, Баронск, переименованный в Марксштадт<sup>9</sup>, уже не был столицей области (республики) немцев Поволжья. В этом качестве выступал г. Покровск, переименованный соответственно в Эн-



гельштадт (нынешний г. Энгельс). Зная, с какой тщательностью Бабель в тридцатые годы выверял свои рукописи, резонно предположить, что это не есть авторская небрежность, а скорее некоторая намеренная неточность, допущенная с определенной целью.

Это предположение, похоже, подтверждается уже в следующем абзаце:

«Степь, прилегающая к Баронску, покрыта таким тяжелым золотом пшеницы, какое есть только в Канаде.<...> мы перенесли в русскую и этим еще более необыкновенную Калифорнию».

Калифорния, как известно, находится не в Канаде, хотя и на одном с ней континенте. Неточность еще более демонстративная, словно бы задающая параметры авторской приблизительности: дескать, что Канада — что США, что Маркс — что Энгельс... В принципе, почти одно и то же!..

Приняв подобную тональность, убаюканный ею, читатель уже не удивляется, когда в следующем абзаце мужественные и немногословные немцы Поволжья вдруг трансформируются. Теперь это *потомки голландских фермеров, переселенных при Екатерине в Приволжские урочища. Лица их остались такими же, как в Саардаме и Гаарлеме*. В самом деле — голландцы, немцы — велика ли разница для русского читателя? Или, может, это и в самом деле были голландцы?

Действительно, среди приглашенных в 18 веке на жительство в Россию иностранцев, помимо собственно немцев, а также швейцарцев, скандинавов<sup>10</sup> и пр., как будто были и голландцы. Точнее — заметная группа голландцев-меннонитов. Более того, сам город Баронск назван так в честь основавшего его барона Борегардта де Кано — голландца по происхождению. Как будто бы все сходится, но... во-первых, голландцы-меннониты, прожившие перед тем едва ли не два века в прусском изгнании и говорившие, в общем, по-немецки (хотя и несколько отлично от основной массы поволжских немцев), едва ли ощутимо идентифицировали себя с жителями Саардама и Гаарлема. Во-вторых, еще в самой Голландии, до прусского изгнания, меннонитами становились главным об-

разом «иностранцы»: те же выходцы из Швейцарии, Фрисландии и т.д. В-третьих же и в-главных — в самом Баронске голландцы-меннониты если и присутствовали, то в крайне небольших количествах: обычными местами их дореволюционного расселения была Таврическая губерния, Кавказ и Сибирь. Екатеринштадт же был действительным культурным и экономическим центром немцев, живших в Самарской и Саратовской губерниях<sup>11</sup>. Что же касается происхождения барона де Кано, то оно здесь значения не имеет. Барон был агентом принимающей стороны (русского правительства), а не лидером общины колонистов. И в этом своем качестве мог, в принципе, быть кем угодно — хоть греком, хоть португальцем.

Итак, мы имеем все основания полагать, что и Карл Бидермаер, и Анна с Августой были голландцами лишь в воображении рассказчика. В действительности же это были поволжские немцы.

Рискнем предположить, что перед нами особого рода авторский прием. Намеренная неточность — смещение действительности небольшое, без сопротивления проглатываемое неискушенным читателем, однако заметное для понимающего глаза. Заметное и говорящее.

Что именно оно говорит, мы исследуем несколько позже, сейчас же отметим, что этот прием конечно же не Бабель изобрел. Так, в «Повести об убиении Андрея Боголюбского» (Ипатьевская летопись) описание центрального события содержит следующую фразу: **«Петр же оття ему (Андрею Боголюбскому. — Л.У.) руку десну»**. Известно, что написана повесть была вскоре после роковых для Андрея событий<sup>12</sup>, т.е. едва ли не их очевидцем, наверняка знавшим, что убийцы отсекли князю как раз левую, а не правую руку<sup>13</sup>. И тем не менее, он написал то, что написал, достаточно однозначно, через цитирование Евангелия<sup>14</sup>, указав «продвинутым» читателям на главное, по его мнению: нравственную причину столь печального конца героя.

Теперь вернемся к вопросу о смысле нашего отклонения от реальности: переназначении немецких колонистов голландцами. Чтобы ответить на него, вос-

становим основные ассоциации со словом «Голландия», возникающие у культурного русского человека, не имевшего, подобно Бабелю образца 1918 года, опыта заграничных путешествий.

По большому счету, этих ассоциаций две:

1) Голландия — как культурная база создания Петром I современной России (здесь значим, кстати сказать, упомянутый в рассказе Саардам, в котором-де царь Петр собственноручно плотничал);

2) голландское искусство — точнее, живопись Нидерландов 15–17 веков.

Стоит сделать первое допущение, как фраза «*это теперь столица области немцев Поволжья*» обретает некоторый дополнительный символический смысл. Голландцы Петра стали простыми немцами, т.е., говоря иначе, петровская Россия кончилась, исчезла, превратившись во что-то иное, хотя и населенное *мужественными, многословными людьми*. Предваряя дальнейшее, отметим, что мотив конца России — важнейший в нашем произведении — присутствует в нем многократно. Он же проводится, например, через смерть Коростылева — единственную в рассказе. Коростылев как бы самый русский среди персонажей «Иван-да-Марья» — русский и по опыту своей жизни, и по складу души. Даже демонстративно русский. Отметим также, что, проявив несомненную волю в организации и осуществлении ночного похода *за самым сливочным самогоном*, он, однако, даже не пытается защищать себя в конфликтных моментах: в пьяной ли ссоре с латышом-комиссаром<sup>15</sup>, на судилище ли чапаевского сотника Макеева. Именно поэтому смерть его закономерна, невзирая на первоначальную осечку макеевского маузера. Этот же мотив слышится и в ночном диалоге на палубе «Иван-да-Марья»:

— Жид, — сказал мне рулевой, — что с детьми будет?

— С какими детьми?

— Дети не учатся, — сказал рулевой, ворочая кругом, — дети воры будут...

Рассказчик оставляет повисшим в воздухе вопрос пьяного рулевого, однако читатель вправе ожидать ответа — в том или ином виде. Но не станем забегать вперед — вернемся к голландцам, вернее, как уже говорилось, — к нидерландской

живописи. Прежде лишь заметим, что цитирование классических произведений изобразительного искусства — ничуть не экзотический прием для Бабеля. Вот, например, «Боярыня Морозова» В. Сурикова, возникающая на страницах рассказа «Кольвушка»:

«Его прервал шум, глухой и дальний топот... По разломившейся улице повалила толпа. Безногие катились впереди нее. Невидимая хоругвь реяла над толпой. Добежав до сельрады, люди сменили ноги и построились. Круг обнажился среди них, круг вздыбленного снега, пустое место, как оставляют для попа во время крестного хода. В кругу стоял Кольвушка в рубахе навывпуск под жилеткой, с белой головой. Ночь посеребрила цыганскую его корону, черного волоса не осталось в ней. Хлопья снега, слабые птицы, уносимые ветром, пронесли под потеплевшим небом. Старик со сломанными ногами, подавшись вперед, с жадностью смотрел на белые волосы Кольвушки».

Собственно, можно ограничиться одной констатацией обилия в рассказе переданных словесно мотивов и приемов нидерландской живописи<sup>16</sup> — в той части, где описывается мирная жизнь крестьян-колонистов. Они очевидны — как в деталях, так и в самих принципах организации пространства. Вот, скажем, такое:

«Окошечки, высеченные в столетних черных стенах, походили на иллюминаторы. Сквозь них просвечивал дворик божественной чистоты, немецкий дворик с кустами роз и глициний, с фиолетовой пропастью раскрытой конюшни. Старухи в тальмах вязали у порогов чулки Гулливера. С пастбищ возвращались стада. Августа и Анна присаживались на скамеечки к коровам».

Здесь характерный для нидерландской живописи прием «картина в картине», когда некоторая архитектурная деталь (окно, ворота, арка и т.д.) образует рамку для самостоятельного, вложенного в основной, изобразительного сюжета. А также — подчеркнутое равноправие крупных и мелких планов, прорисованных одинаково тщательно.

И, тем не менее, сделаем более узкое предположение: большинство, если не все детали «Иван-да-Марья», отсылающие так или иначе к живописи Нидерландов,



могут быть «размещены» внутри творчества всего лишь двух художников: Иеронима Босха<sup>17</sup> и Питера Брейгеля-старшего, т.н. Брейгеля-«Мужицкого».

Так, у Брейгеля мы находим и *тяжелое золото пшеницы* («Жатва», 1565 г., музей Метрополитен, Нью-Йорк), и калек («Калеки», 1568 г., Париж, Лувр) — именно о них вспоминаешь, читая:

«Калеки поднимали в воде илстые розовые фонтаны. Охранники были об одной ноге, другие недосчитывали руки или глаза. Они спрягались по двое, чтобы плавать. На двух человек приходилось две ноги, они колотили обрубками по воде, илстые струи втягивались водоворотом между их тел. Рыча и фыркая, калеки вываливались на берег; разыгравшись, они потрясали культяпками навстречу несущимся небесам, закидывали себя песком и боролись, уминая друг дружке обрубленные конечности».

Есть, понятно, в изобилии и всевозможные *готические изгороди хлебных амбаров*, и *старухи в накрахмаленных цепях*. Вообще, богатейший инвентарь полотен Брейгеля и Босха позволяет найти в нем что угодно — хотя бы даже и верблюда из фразы *цепь верблюдов легла у воды* (триптих Босха «Сад наслаждений» из музея Прадо, Мадрид). А фраза Бабеля о блаженстве сытости (*нас томил хмель блаженного несварения желудка*) с неизбежностью вызывает в памяти хранящуюся в мюнхенской Старой Пинакотеке великолепную картину Брейгеля 1567 года «Страна Ленивия» (Das Schlaraffenland).

Теперь оставим ненадолго текст Бабеля и сделаем несколько самых грубых замечаний по тематике творчества упомянутых художников. Как известно, наряду с жанровыми и аллегорическо-сатирическими сюжетами из крестьянской и бюргерской жизни, значительное место в творчестве Питера Брейгеля занимают сюжеты апокалиптические. Этих же сюжетов полно в творчестве Босха. Собственно, наличие подобных сюжетов вполне естественно для обоих мастеров — Брейгель жил в эпоху начала антииспанского восстания Нидерландов и связанных с этим беспрецедентных военных бедствий и карательных экспедиций. Что же касается Босха (1460—1516), то здесь следует отметить приходящийся на

1500 год пик ожиданий населением Европы Конца Света. Таким образом, оба художника были «с Апокалипсисом на ты» уже в силу своей биографии. Причем оба в значительной степени воспринимали это событие через призму лично-социального нравственного разложения современного им человека.

Вновь вернемся к «Иван-да-Марье». Деталей, родящих рассказ с «апокалиптической» частью наследия художников мы видим достаточно. Это и босховские человеко-монстры, такие, как *рябая баба, статная как лошадь*, а рядом с ней *карлик в остроконечной ватной шапке и маленьких сапожках, разинув рот, стоял тут же или Лисей, чьи ноги не доставали до полу, пухлыми пальцами, прижатymi к животу, он плел невидимую сеть*. Или оппонент его — латыш Ларсен, который *запрокинул пороссячью свою голову и резко захохотал*. Или даже как сам Коростелев, который *двинулся и пополз, забирая вперед руками, таща за собой скелет в холщовой рубахе*.

Деталью иного рода является сам колорит кульминационной части рассказа — темнота, озаряемая открытым пламенем, как на брейгелевской «Безумной Грете» (1562 г., музей Майер ван ден Берг, Антверпен) или «адских» частях основных босховских триптихов «Страшный суд», «Воз сена», «Сад наслаждений»:

«Огней не было на «Иван-да-Марье», корпус парохода темнел мертво, только факел рвался высоко над ним. Пламя металось над мачтой и чадило».

А кроме того:

«Факел сорвался с мачты и проволочился по крутящейся волне. <...> Мы летели во мраке, никуда не сворачивая. На берегу взвилась ракета, по нас ударили трехдвоймовкой».

Обратим внимание, что и человеко-монстры и сполохи во тьме локализованы в той части рассказа, где описан ночной поход «Иван-да-Марье» за линию фронта (т.е., в некотором смысле — в мир иной). Выстрел трехдвоймовки играет здесь роль удара колокола, маркирующего отбытие из «царства живых». Это, кстати сказать, является еще одним обоснованием смерти Коростылева и выстрелов(!), сопровождавших аресты(?) чапаевцами матросов

парохода: с того света никто, кроме повествователя и его друга Орфея-Селецкого, живым не возвращается).

Еще одним элементом, связывающим наш рассказ с апокалиптическими полотнами, является отмеченная нами в самом начале «пространственная широта». Действительно, Бабель настолько обстоятельно, к примеру, излагает военную ситуацию в Поволжье, что ее так и тянет переложить на бумагу в виде самодельной географической карты:

«Фронт проходил в двадцати верстах. Уральские казаки, соединившись с чешским батальоном майора Воженилика, пытались выбить из Николаевска разрозненные отряды красных. Севернее — из Самары — наступали войска Комуча — Комитета членов Учредительного собрания. Распыленные и необученные наши части перегруппировались на левом берегу. Только что изменил Муравьев. Советским главнокомандующим был назначен Вицетис. Оружие для фронта привозили из Саратова».

Что это, если не характерные для уже упомянутых и ряда других картин высокие горизонты, превращающие живописные полотна в подобия этих самых географических карт и имеющие целью показать, что Конец Света — явление всеобщее, глобальное?

Таким образом, мы вновь вернулись к теме всеобщего конца, смерти как таковой, момент которой помечен действительной смертью Коростелева и природа которой также определена вполне недвусмысленно:

«Матросов выводили по одному. За амбарами их встречали немцы<sup>18</sup>, высыпавшие из своих домов. Карл Бидермаер стоял среди своих земляков. **Война** пришла к его порогу».

Причем приближение этой точки ада, смерти всячески предваряется как напрямую — двукратным напоминанием о том, что *фронт проходил в двадцати верстах*, так и нагнетанием соответствующей символики:

«Палуба парохода бывала уставлена ящиками с набитыми по трафарету черепами, с надписью под черепами: «Смертельно»».

Или:

«...шел **серный** дух самогона...»,  
или даже простым перечнем музы-

кальных произведений из репертуара Селецкого — «Смерть» Гречанинова на стихи Ковалевского, песенка Мефистофеля «Блоха», ария помешавшегося мельника из оперы Направника «Русалка». Да и сам голос Селецкого, *безгранично*, смертельно *раздвигаясь, наполнял душу сладостью* самоуничтожения *и цыганского забвения*.

Точнее сказать, пение Селецкого охватывает в рассказе, берет в своеобразные скобки, именно inferнальный момент как таковой: оно раздается непосредственно до вступления героя на палубу «Иван-да-Марья» и в момент возвращения парохода из ночного набега за самогоном. Трудно отделаться от предположения, что подобным образом автор выделяет часть текста с повышенным мистическим содержанием.

Таким образом, складывается вполне стройная символическая интерпретация происходящего. Согласно ей, «Иван-да-Марья» — рассказ о Конце Света. Точнее, о том, как он наступает и, главное, что происходит потом: какая жизнь возможна после Конца Света. В конечном счете, этой новой формой жизни после смерти и оказывается Советская Власть, со всеми ее чапаевскими тачанками, малышевскими<sup>19</sup> и ленинами в Кремле. Результат не столь банальный, как может сперва показаться: сама логика русской литературы требовала, чтобы кто-то его получил<sup>20</sup>.

Однако столь складную однозначность до некоторой степени разрушает сам... Иероним Босх. Ибо ночной вояж «Иван-да-Марья» слишком отчетливо наводит на вполне конкретное полотно великого живописца — хранящуюся в Лувре картину «Корабль дураков». Причем данная картина относится, если так можно сказать, именно к сатирической, а вовсе не к апокалиптической части наследия художника (ее часто соотносят с тогдашним интеллектуальным бестселлером — одноименной сатирой Себастьяна Бранта, вышедшей в 1494 г. и переведенной в 1500 г. на фламандский). Сатира Босха направлена, главным образом, против средневековой, клерикальной и, вместе с тем, гедонистской жизни — в убогом суденышке под красным(!) флагом мы видим вакханалию с участием по крайней мере трех монахов: женщины и двух мужчин. А ведь на борту «Иван-да-Марья» пьянству



также предаются две в каком-то смысле «духовные особы»: монах новой веры — комиссар Ларсон, а также бывавший в скитах и в монастыре на послушании Коростелев. Как видно, характер веры роли не играет — оба они есть команда корабля дураков, закономерно движущегося к своему трагическому финалу.

### 3. «ДОРОГА». ОСОБЕННОСТИ СИОНИЗМА В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

Бывают странные межъязыковые совпадения. Русское «дорога» столь напоминает ивритское «дэрэх», означающее ровно тот же предмет во всем спектре смыслов, что закрадывается предположение об общей этимологии. Предположение, по-видимому, ложное, но нас сейчас интересует не теория, а практика: случайно ли, в контексте названного двуличия, появление этого слова в качестве заголовка опубликованного в 1932 г. рассказа Бабеля?

Из общей фабулы рассказа понятно, что речь идет, главным образом, о двух значениях слова:

- 1) дорога как путь к чему-то, куда-то, имеющий четкую конечную точку,
- и
- 2) дорога как метафора жизненного пути в целом.

Это, второе, значение на иврите звучит как «дэрэх-хайм». С легким удивлением мы тут же находим недостающую часть словосочетания в тексте рассказа:

«Он приблизил ко мне мятое озабоченное лицо, — отодрал от кальсон четыре золотых десятирублевки, зашитых матерью на дорогу, снял с меня сапоги и пальто, потом, повернув спиной, стукнул ребром ладони по затылку и сказал по-еврейски:

— Анклойф, Хаим... [Беги, Хаим (евр.)]

Я пошел, ставя босые ноги в снег. Мишень зажглась на моей спине, точка мишени проходила сквозь ребра. Мужик не выстрелил».

«Хаим» на иврите — «жизнь». Именно в свете этого, кстати сказать, становится понятно, почему чудной, говорящий по-еврейски, русский мужик все-таки не выстрелил: он же сказал «хайм», «жизнь», а не — «мавет», «смерть»!

Теперь зададимся вопросом, когда же указанные значения слова «дорога» максимально сближаются. Ответ также несложен: в двух случаях — если конечной точкой пути становится точка смерти или если жизненный путь приводит в рай, в землю обетованную. Тончайшая вибрация между этими жизненными сюжетами и есть, по сути, внутренняя драма нашего рассказа.

Заметим также, что нами попутно только что едва не произнесено нечто, что можно бы назвать идеей личного сионизма: жизненный путь еврея имеет смысл тогда лишь, когда приводит его в Землю Обетованную. Можно бы — но нельзя. Нельзя, потому что... потому что путь героя направлен ровно в противоположную от Палестины сторону!

Профессор Иерусалимского университета В. Хазан<sup>21</sup> обращает внимание на хронологическое совпадение начала рассказа (*я ушел с развалившегося фронта в ноябре семнадцатого года*) не только с Октябрьской революцией и большевистской «Декларацией Прав Народов России», но и с датой «Декларации Бальфура»<sup>22</sup>, подтвердившей право евреев на создание национального очага в Палестине и ставшей мощным мотивирующим фактором для переселения туда европейских евреев. Герой же рассказа избирает иной маршрут: *мой путь лежал на Петербург*. Собственно, все дальнейшее в рассказе можно, по большому счету, рассматривать как оправдание героем (или почти сливающимся с ним автором) такого выбора.

Центральным моментом, ступицей этого оправдания, является упомянутый словно бы невзначай Иегуда Галеви — живший в Испании крупнейший еврейский поэт и один из крупнейших еврейских философов Высокого Средневековья:

«Так отпадает необходимость завоевать Петербург», — подумал я и попытался вспомнить имя человека, раздавленного копытами арабских скакунов в самом конце пути. Это был Иегуда Галеви».

На первом плане здесь как бы бравлада: решивший переселиться в Палестину Галеви, согласно легенде, действительно встретил случайную смерть у самых во-

рот Иерусалима, тогда как герой имеет все шансы все-таки достичь возжеленного Аничкова дворца на Фонтанке<sup>23</sup>. Уже этим выбранный героем путь выглядит не в пример удачнее. Несколько глубже лежит более объемистый пласт сопоставления. Вот как описывает его В. Хазан:

«Бабель почти наверняка был знаком <...> с самими стихами Галеви, и в особенности со знаменитой Одой Сиону, которые существовали как по-древнееврейски, так и в переводе на русский язык. В последнем случае он мог воспользоваться, скажем, книгой А. Я. Гаркави «Иегуда Галеви. Очерк его жизни и литературной деятельности» (СПб., 1896, с. 41–42), где Ода была напечатана полностью, или сборником сионистских стихотворений «Еврейские мотивы» (Гродно, 1900, с. 84–88; 2-е изд. в 1902 г.). (Ода Сиону опубликована здесь в переводе М. Абрамовича.) <...> Петербург бабелевской «Дороги» своим запустением и мертвечиной разительно напоминает Иерусалим Галеви с его былой царственной мощью, осевшей на дно могилы, ср. в «Оде Сиону»: Иерусалим — «заброшенная пустыня», в «Дороге»: Гороховая улица — «обледенелое поле, заставленное скалами». Интереснее другое: при наложении «Оды Сиону» на «Дорогу» в нарративе последней проскальзывают неожиданные иронические интонации. Судите сами: если Бабель действительно строил образ Петербурга как проекцию Иерусалима Галеви, то строчки из «Оды Сиону» — «Рабы как смели сесть на месте/ Твоих бойцов — богатырей!» — метят в его собственный текст, где рассказывается о том, как, расположившись в бывших царских покоях, герой-рассказчик, облаченный в халат Александра III, и его друг, чекист Калугин, курят сигары, подаренные Абдул-Гамидом российскому монарху. Образные соответствия между «Одой Сиону» и «Дорогой» выходят далеко за пределы случайных или чисто внешних и воспринимаются как намеренно иронические бабелевские переосмысления древнего текста. Скажем, то место в рассказе Бабеля, где бандиты, напавшие на поезд, снимают с героя-рассказчика сапоги («Я пошел, ставя босые ноги в снег»), выглядит откровенной пародической параллелью к стихам Галеви, который, обращаясь к Иерусалиму, признается, что «скитаться

босым любо ныне/ Мне по развалинам твоим», а финал рассказа, когда счастливая метаморфоза в судьбе героя сопровождается приливом патетики и вызывает у него вполне искреннюю патриотическую здравицу («Не прошло и дня, как все у меня было, — одежда, еда, работа и товарищи, верные в дружбе и смерти, товарищи, каких нет нигде в мире, кроме как в нашей стране»), не иначе как имитирует стихи еврейского поэта об избранных: «и счастлив будет тот, кого Он <Господь> отметит, приведет и поселит в твоей <Сион, Иерусалим> святой обители».

Но есть по крайней мере еще один пласт сопоставления, связанный с именем средневекового поэта. В нем автор (именно автор, а не герой) проецирует себя на Галеви не биографически, а именно как творческая личность. Дело в том, что поэтическое новаторство последнего выразилось, в частности, обилием жизнелюбивых, гедонистических мотивов, вполне достойных человека, написавшего:

«Мудрость дедов сидела в моей голове: мы рождены для наслажденья трудом, дракой, любовью, мы рождены для этого и ни для чего иного» («Гюи де Мопассан»).

Но даже не это главное. Главное, наверное, то обстоятельство, что заметная часть стихов Галеви, а также все его философские сочинения написаны не на иврите, а по-арабски. То есть на языке окружающего его нееврейского населения<sup>24</sup>. Едва ли сознание русского писателя Бабеля проигнорировало этот исторический прецедент...

Однако прецедент прецедентом, но чтобы взять и вывернуть наизнанку идею воссоединения с подобными себе в Эрец-Израэль, нужны более веские доводы. По сути, нужно убедить себя (или других?) в том, что и без Эрец-Израэль можно воссоединиться с таковыми. Бабель вроде бы делает это в уже процитированном патетическом финальном абзаце, но помимо этого он делает и еще один виртуозный трюк. Дабы оценить его в полной мере, окинем взглядом безмолвный парад людей и сущностей, встреченных героем на его пути к цели.

1) Город Киев.

В Киев я угодил накануне того дня, когда Муравьев начал бомбардировку го-



рода. <...> Двенадцать суток отсидели мы в подвале гостиницы Хаима Цирюльника на Бессарабке. Пропуск на выезд я получил от коменданта советского Киева.

Мы видим, что за время подвальной отсидки героя в Киеве меняется власть, т.е. город как бы преображается, меняет свое политико-административное естество.

#### 2) На вокзале.

Старухи галичанки мочились на перрон стоя.

Т.е. (почти совершенно в ветхозаветном духе) потеряли свою женскую природу.

#### 3) В поезде.

В вагон вошел станционный телеграфист в дохе, стянутой ремешком, и мягких кавказских сапогах.

Телеграфист протянул руку и приоткнул пальцем по раскрытой ладони.

— Документы об это место...

<...> Телеграфист прочитал их мандат, подписанный Луначарским, выгатачил изпод дохи маузер с узким и грязным дулом и выстрелил учителю в лицо.

Перед нами телеграфист, превратившийся в бандита, абрека. Здесь же — уже цитированный нами эпизод с русским мужиком, заговорившим по-еврейски<sup>25</sup>.

#### 4) В лесу.

Лесник <...> сидел в бамбуковом бархатном креслице.

Т.е. как бы по-барски, а не так, как подобает леснику.

#### 5) Больница.

В больнице не оказалось доктора, чтобы отрезать отмороженные мои ноги: палатой заведовал фельдшер. Каждое утро он подлетал к больнице на вороном коротком жеребце, привязывал его к коновязи и входил к нам воспламененный, с ярким блеском в глазах.

— Фридрих Энгельс, — светясь углями зрачков, фельдшер склонялся к моему изголовью, — учит вашего брата, что нации не должны существовать, а мы обратно говорим, — нация обязана существовать...

Срывая повязки с моих ног, он выпрямлялся и, скрипя зубами, спрашивал негромко:

— Куда? Куда вас носит... Зачем она едет, ваша нация?.. Зачем мутит, турбуется...

Совет вывез нас ночью на телеге — больных, не поладивших с фельдшером, и

старых евреек в париках, матерей местечковых комиссаров.

Здесь мы видим больницу без врача, т.е. переставшую быть таковой, фельдшера, превратившегося в какого-то агрессивного политика, чуть ли не полевого командира, а также традиционных евреек, тоже до некоторой степени отклонившихся от своей предписанной традицией судьбы — воспитывать хороших еврейских детей, чтущих традицию.

#### 6) В товарном поезде.

Федюха, случайный спутник, проделывавший великий путь дезертиров, был сказочник, острослов, балагур. Мы спали под могучим, коротким, задраным вверх дулом и согревались друг от друга в холстинной яме, усталанной сеном, как логово зверя. За Локней Федюха украл мой сундучок и исчез.

Здесь — товарищ, превратившийся в вора.

#### 7) На вокзале.

Заградительный отряд палил в воздух, встречая подхлотивший поезд.

Мешочников вывели на перрон, с них стали срывать одежду. На асфальт, рядом с настоящими людьми, валились резиновые, налитые спиртом.

Мы видим стрельбу не ради поражения цели, а также людей, превратившихся в резиновых кукол.

#### 8) На Гороховой, 2.

В доме номер два, в бывшем здании градоначальства, помещалась Чека. Два пулемета, две железных собаки, подняв морду, стояли в вестибюле. Я показал коменданту письма Вани Калугина, моего унтер-офицера в Шуйском полку. Калугин стал следователем в Чека<sup>26</sup>.

Опять-таки, целый град преображений: градоначальство становится тайной полицией<sup>27</sup>, собаки — пулеметами, а унтер-офицер — следователем.

#### 9) На Невском.

Старик, похожий на гвардейца, провез мимо меня игрушечные резные сани. Напрягаясь, он вбивал в лед кожаные ноги, на макушке у него сидела тирольская шапочка, бечевка связывала бороду, сунутую в шаль.

<...>

Два китайца в котелках, с буханками хлеба под мышками стояли на углу Садовой<sup>28</sup>. Зябким ногтем они отмечали дольки



на хлебе и показывали их подходившим проституткам. Женщины безмолвным парадом проходили мимо них.

Мы видим сначала человека, вовсе лишенного идентифицирующих примет — как бы персонифицированную эклектику. Затем — петербуржцев, превратившихся в китайцев, и проституток, которые не продаются.

10) И, наконец, Аничков дворец.

Голубой рожок блестел над заснувшим в креслах лакеем. В морщинистом чернильно-мертвенном лице спадала губа, облитая светом гимнастерка без пояса накрывала придворные штаны, шитый золотом позумент.

Вот солдат, ставший лакеем. А вот целый салют преображений, на этот раз — географически-династических:

Мелкопоместная королева Луиза, мать ее, позаботилась об устройстве детей; она выдала одну дочь за Эдуарда VII, императора Индии и английского короля, другую за Романова, сына Георга сделали королем греческим. Принцесса Дагмара стала Марией в России.

На перемену своей природы намекает и дарственная надпись султана Абдул-Гамида «кузену» Александру III: как известно, этот султан был свергнут в ходе буржуазно-демократической революции<sup>29</sup>.

Итак, глазами героя мы видим окружающий мир состоящим исключительно из переменяющих свою природу субъектов и объектов. Только такая перемена дает шанс на выживание. Напротив, семья молодых учителей, которые всю дорогу шептались о комплексном методе преподавания, потом заснули. Руки их и во сне были сцеплены, вдеты одна в другую, т.е. не переставали быть самими собой, учителями, даже во сне — гибнет именно в силу своей неизменности.

Все сдвинулось, все сменило свой вид, и потому все находится в равных условиях. Вопрос о поиске себе подобных снимается, ибо никто вообще себе не подобен. Именно это постигает герой и произносит знаменательное: «так отпадает необходимость завоевать Петербург». Имеет он в виду, конечно же, не завоевание города врагом, а обычное «покорение» приехавшим провинциалом, вынужденным кон-

курировать со старожилками. Герой видит, что старожилы теперь нет — они сменили обличье и теперь, по сути, такие же newcomers, как и он сам.

Понятно, что в свете сказанного и сам герой должен претерпевать столь же разительные трансформации на своем пути. Что мы и наблюдаем без труда. Сперва он солдат, точнее — дезертир, ушедший с фронта. В поезде он — жертва, покорная жертва. Причем обыск его мужиком в треухе описан так, словно бы речь идет о «лапанье» женщины:

«Мужик с развязавшимся треухом отвел меня за обледеневшую поленницу дров и стал обыскивать. На нас, затмеваясь, светила луна. Чурбаки негнувшихся мороженных пальцев ползли по моему телу».

Затем, уже в Аничковом, герой словно бы рождается вновь — его кладут в ванну, как ребенка, он окружен детскими вещами и игрушками. На следующий день его представляют Урицкому, в качестве особой рекомендации отмечая именно способность к личной социальной метаморфозе:

— Парень свой, — говорил Калугин, — отец лавочник, торгует, да он отбился от них... Языки знает...

И, наконец, в финале герой становится чекистом, т.е. бывшая жертва превращается в палача. Остался ли данный выбор дороги оптимальным для героя и потом, по прошествии упомянутых им тринадцати лет, рассказ Бабеля<sup>30</sup> ответа уже не дает.

<sup>1</sup> В полной мере это срабатывает, когда мы понимаем, что именно благодаря заезжим «зоотехникам» дочурка председателя сельрады никогда уже не получит пару столь чаемых ею кроликов.

<sup>2</sup> Хариты — греческие богини красоты и изящества (Аглая, Талия, Евфросина).

<sup>3</sup> Ср.: На потемневших прялках, у окна, сучили нитку жена Ивана и две его дочери. Повязанные косынками, с высокими тальмами и чистыми маленькими босыми ногами — они походили на монашек. «Кольвуйка», 1930 г. Здесь тоже — описание интрьера дома, разоряемого советской властью.



<sup>4</sup> Это, кстати, довольно характерная для Бабеля ситуация недосказанности, когда из текста рассказа никак невозможно понять однозначно вроде бы важные для фабулы вещи. Как тут не вспомнить, допустим, рассказ «Гюи де Мопассан» с его вечным вопросом: все-таки произошло что-нибудь между рассказчиком и Раисой Бендерской или не произошло?

<sup>5</sup> Председатель, однако, как в воду глядел: карлица бросилась ко мне и укусила за руку.

<sup>6</sup> Чтобы представить иное, достаточно вообразить на досуге, как бы развил сюжет «Сулака» уроженец православнейшего Арзамаса А. Гайдар.

<sup>7</sup> Т.е. вызывающая у читателя ассоциации, географически отдаленные от Средней Волги.

<sup>8</sup> Аккурат в разгар спровоцированного властями страшного голода, поразившего в т.ч. и уезд, который при правильном на нем хозяйствовании может прокормить всю Московскую область.

<sup>9</sup> С 1941 г. — Маркс. Бабель словно бы намекает на грядущую смену имени городка: «Между выгнутыми ребрами плавающего склада мы прибили портреты Ленина и Маркса...».

<sup>10</sup> А также, к примеру, болгар, до сих пор составляющих заметную долю населения г. Бердянска и его окрестностей (в те времена — Таврическая губ.).

<sup>11</sup> Помимо этого, Баронск стал центром дореволюционной эмиграции поволжских немцев в США. Благодаря крайне неуклюжим и непродуманным политико-административным мерам трех последних Романовых, Россия лишилась нескольких сотен тысяч немецких колонистов, оставшиеся же в годы Гражданской войны принципиально не оказывали поддержки белому движению. (Ситуация в каком-то изрядно смягченном смысле аналогичная судьбе евреев в Российской империи.)

<sup>12</sup> Имевших место 29—30 июня 1174 г.

<sup>13</sup> Что сегодня подтверждено исследованиями останков убитого. Впрочем, на посвященной этому событию миниатюре Радзивиловской летописи ясно изображена именно отрубленная левая рука.

<sup>14</sup> «И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя...» Мф 5:30.

<sup>15</sup> По имени Карл — что тоже характерно.

<sup>16</sup> Заметим попутно, что у О. Мандельштама — при столь отличных религиозно-мировоззренческих и эстетических истоках творчества — мы находим как парафразы упомянутой картины Сурикова («На розвальнях, уложенных соломой...», 1916), так и голландской живописи («На доске малиновой, червонной...», 1937).

<sup>17</sup> Об образах Босха в рассказах конармейского цикла — Ю. К. Щеглов «Мотивы инициации и потустороннего мира в «Конармии Бабеля», сб. Поэзия и живопись. Сборник трудов памяти Н. И. Харджиева, «Языки русской культуры», М., 2000.

<sup>18</sup> Уже не голландцы!

<sup>19</sup> Здесь символично приручение монстров: Мальшев <...> умывался на палубе «Путицына». Инвалид с зашиленным рукавом сливал ему из кувшина.

<sup>20</sup> Возможно, М. Булгаков в «Белой гвардии» вплотную подошел к тому же самому, хотя и с другой совершенно стороны.

<sup>21</sup> Владимир Хазан. «Особенный еврейско-русский воздух. К проблематике и поэтике русско-еврейского диалога в XX веке». М.: Мосты культуры. 2001.

<sup>22</sup> Так называют датированное 2 ноября 1917 г. письмо английского министра иностранных дел А. Д. Бальфура лорду Л. У. Ротшильду — лидеру британских сионистов.

<sup>23</sup> Не чуждый Бабелю прием — так сказать, «предваряющее эхо»: Иегуда — еще и имя застреленного в поезде еврея-учителя, также направлявшегося в Петербург.

<sup>24</sup> Галеви родился в Толедо в 1075 г., с 1109 г. жил в Кордове — само собой, задолго до изгнания из последней мавров в ходе Реконксты.

<sup>25</sup> В. Ковский («Судьба текстов в контексте судьбы». Вопросы литературы, 1/1995) отмечает, что в единственном прижизненном издании рассказа Бабель вводит этого мужика в повествование следующим образом: «За спиной телеграфиста топтался сутулый, большой мужик в развязавшемся треухе. Начальник мигнул мужику, тот поставил на пол фонарь, растегнул убитого, отрезал ему ножиком половые части и стал совать их в рот его жене. — Брезговала тrefным, — сказал телеграфист, — кушай кошерное». Эта сцена почему-то исчезла из всех посмертных редактур Бабеля.

<sup>26</sup> Едва ли, однако, герой мог об этом знать: ЧК была организована лишь в де-

кабре 1917, т.е. уже после того, как герой, отправившись в Петербург, покинул фронт. Впрочем, он мог получить письмо Калугина и находясь в материнском доме, где, по всему, провел остаток ноября и весь декабрь 1917, а также большую часть января 1918. Дабы такое произошло, надо чтобы совпали: а) наличие работоспособной почтовой связи в распавшейся стране и б) догадливость и осведомленность Калугина, написавшего не на адрес полевой почты, а именно матери героя. Маловероятное совпадение.

<sup>27</sup> Сейчас по этому адресу — роддом.

<sup>28</sup> В «перестроечное» время здесь был открыт первый в городе китайский ресто-

ран «Шанхай».

<sup>29</sup> Абдул-Гамида лишили трона младотурки еще в 1909 г. Едва ли поэтому прав В. Хазан, утверждая, что это имя служит косвенным намеком на Декларацию Бальфура и связанную с ней проблематику.

<sup>30</sup> Никаких документальных подтверждений сотрудничества самого И. Бабеля с ЧК на сегодня не выявлено. Напротив, в начале 1918 года он неоднократно публиковался в оппозиционных властям изданиях, что как будто малосовместимо с подобной службой. И это, по мнению многих исследователей, вполне характерный для рассказов писателя уровень автобиографичности.

# «Сары бия»: ностальгия по цельности\*

## ВЕРТИКАЛЬ, ИЛИ ПРОВИНЦИЯ В ИДЕАЛЕ

Золотисто-огненная, похожая на игрушку лошадка, — то весело скачущая, то стреноженная, то запряженная в покосившуюся от времени и груза телегу, — все это суть различные модификации ключевого образа, пронизывающего празднично-карнавальным мир художников «Сары бии».

Шлейф ассоциаций, образуемый этим «многоликим» символом, исторически памятен и восходит к языческому культу коня, сохранившемуся в верованиях разных народов. С пушкинского «Медного всадника» в русской литературе конь стал символом России, ее неудержимой устремленности в будущее. При этом сам символ трактовался по-разному — в зависимости от философско-эстетических взглядов автора. Ясно, например, что символика фальконетовского памятника отличается от реальности чичиковской брички, а созданный на рубеже веков культ Красного коня означал совсем иное, нежели апокалипсический «Конь блед» Брюсова.

Последняя эмблематическая пара охватывала целый комплекс важнейших для России проблем, связанных с противопоставлением Запада и Востока, стихии и культуры, народа и интеллигенции. В творчестве большого художника природа и история нередко отождествлялись, революция представлялась восстанием стихий, и тогда возникал вопрос: «Кто всадник и кто конь?» (В. Хлебников).

«Небрежно кэпстеном дымя», — пел оду богатырскому русскому народу Василий Каменский, но вот «взнуздан багряных

кобылиц» победивший пролетариат. «Стоило Пегаса» было немедленно реквизировано, а двусмысленность футуристического «Танго с коровами» сменилась однозначной псевдонародностью социалистического неоклассицизма. Успешно стиралась грань между городом и деревней, и красногривый жеребенок был принесен в жертву новому богу — стоящему под парами бронепоезду.

Но оставалась российская провинция с ее тягучим временем и причудливым смешением разнородных культур. Жизнь здесь как бы застыла в своем первоначальном измерении, и человек еще продолжал ощущать свою связь с природой. Именно отсюда, из провинции, в начале XX века явились художники, чьи дерзкие по тому времени творческие искания чрезвычайно обогатили национальную тему России и во многом предопределили пути развития отечественной и — шире — мировой культуры. Напомним в этой связи имена Хлебникова, Бурлюков, Крученых, Ларионова, Малевича, Шагала, Сарьяна. И список этот нетрудно продолжить.

Однако блестящая попытка русского авангарда синтезировать национальные традиции и новейшие открытия западной живописи была грубо пресечена, а творения художников надолго упрятаны в сырые запасники столичных и областных музеев. Но стихи и репродукции картин новаторов «ходили по рукам», их читали, разглядывали, о них спорили, им подражали. И нужно было время, чтобы тихий протест против безликого соцреализма обрел зримые очертания — в столь неожиданных для вконец отупевшего зрителя формах. В Москве, Ленинграде, Сибири и на Урале возник «Underground»,

Эссе известного культуролога А. Гарбуза было написано под впечатлением от выставки башкирских художников — участников группы «Сары Бия» в 1991 году. Тем не менее, оно не потеряло актуальности и сегодня, поскольку выходит за рамки конкретных наблюдений и поднимает общие проблемы философии, эстетики, бытия. Печатается в сокращенном варианте.

мощно заявивший о праве художника на свободу самовыражения. В Башкортостане рупором этих идей стала группа «Сары бия», объединившая тех живописцев, которые не пожелали пасть безвестными жертвами хужожественного Шариата<sup>1</sup>.

И вот ожила, сбросила с себя бремя многолетней покорности озорная лошадка, заголосили петухи, замычали тучные коровы, и запахло дымком затопленных в избах печей. Представители различных национальностей, художники «Сары бии» создали свой красочный, увиденный сквозь призму «классического» авангарда мир, где в едином звучании слились цветотвая экспрессия Наиля Латфуллина и Мираса Давлетбаева, восточные мотивы Дамира Ишемгулова и Исмаила Газизуллина, крестьянский пир Михаила Назарова и лукавые, словно сошедшие с традиционных народных картинок, персонажи Николая Пахомова и Станислава Лебедева. Примирительницей всех существовавших и существующих в мире противоречий выступает здесь земля-мать, человека возраставшая и кормящая. Потому и преобладают в работах художников кряжистые люди земли, почти физически ощущающие свое притяжение к первооснове. Это единство духовного и плотского, дарованное природой человеку «естественному», лишено какого-либо героического ореола, но явлено нам в своей обыденности, что подчеркнуто самими названиями работ: «Деревенские будни» С. Лебедева, «Тимур и Мининур» М. Назарова, «Старик» И. Газизуллина, «Разговор», «Баба Ани-сья» Н. Пахомова, «Возвращение с сенокоса» Д. Ишемгулова и др.

Очевидно, что объединяющий группу лозунг «Назад к природе» порожден тем печальным явлением, которое принято сегодня называть «экологической проблемой», точнее — ее нравственной и социально-эстетической стороной (конкретнее об этом см. ниже). Современное общество стремительно порывает последние связи с природой. Возмнивший себя безраздельным хозяином земли человек оказался в трагикомической ситуации «неузнавания», тогда как все сущее в разнообразных своих проявлениях напоминает ему о родстве, побуждает его к осознанию этой общности. Подобное утверждение одноприродности человека

и окружающего мира (знакомое уже русской культуре XIX — нач. XX века) и легло в основу циклов работ Лебедева («Дрова пилат», «Морозный день», «Воскресенье», «Красный Ключ»), Ишемгулова («Утро, день, вечер», «Грани», «Летний полдень»), Назарова («Портрет М. А.», «Женщина в зеленом», «Базар с гусями»), Газизуллина («Окраина», «Весенние хлопоты», «В саду»), Давлетбаева («Женщина с коромыслом», «Игра»), Пахомова («В деревне», «Двое», «Весна»).

С убедительной, почти плакатной иллюстративностью воплощен этот принцип в «Архаичном мотиве» Пахомова: сидящий в телеге маленький человечек (травестийный образ зазнавшегося «царя природы»), лихо свесив ногу, правит тяжело ступающей огромной лошадьо. Переднее колесо телеги вывернуто при этом перпендикулярно движению, и нетрудно догадаться, что произойдет через мгновение с возникшим.

Тема неприятия современной цивилизации нашла отражение и в декларативной работе того же художника «Трактор». Сюжет ее прост: злобещий темно-синий «стальной конь» наступает на глиняную гору. Однако любопытна здесь оппозиция двух образов-символов, взятых из разных культурно-исторических контекстов: трактора — «стального коня», прямо восходящего к новокрестьянской поэзии 20-х годов, и горы, с образом которой связана давняя фольклорно-мифологическая традиция. Древнерусской миниатюре известны так называемые «лещадные горки», где они являлись символом природы, знаком того, что действие происходит вне города. Впрочем, о них еще пойдет речь.

Жизнеутверждающее начало, свойственное всем художникам «Сары бии», обусловило обращение к стихии фольклора — лубку, вывеске, иконе и игрушке. Живописцев привлекает лаконичный язык примитива: существенные черты изображаемого предмета, освобожденные рукой мастера от случайностей, выделяются, подчеркиваются, становясь более значительными. Изображение персона-

<sup>1</sup> «Жертвы Шариата» — название картины башкирского художника Р. Нурмухаметова, пытавшегося решить национальную тематику в рамках социалистического реализма.



жей занимает на плоскости то положение, при котором полнее выражает происходящее действие. Подобная тактика лежит и в основе детского рисунка, привлечшего в свое время будетлян. «Красота только в стройности простых сочетаний форм и красок, — писал в 1913 году Александр Шевченко. — Изысканная красота граничит с мишурной вычурностью рынка продуктом развращенности вкусов толпы». Характерный для примитива свежий, удивленно-наивный взгляд на мир противостоит как современной «машинной» культуре, так и сусально-лампадной «народности» художников-национал-патриотов. Что же касается нашей группы, то здесь ощутимо стремление ее участников не стилизовать свои работы под примитив, но внутренне слиться с его духом. И это выгодно отличает «Сары бию» от красивенького «валютного» псевдоавангарда.

Влияние фольклора особенно сильно сказалось в работах Назарова, Пахомова, Лебедева и Газизуллина. Опора на народную традицию является, пожалуй, важнейшей чертой их художественного мышления. При всем различии художников в трактовке исходного материала неизменным остается основной конструктивный принцип: преобразование и синтез элементов фольклора (преимущественно городского низового) с приемами западноевропейской и отечественной живописи.

Следуя фольклорной эстетике, Назаров и Пахомов избегают всякой литературности, преодолевают художественный индивидуализм, создают не характеры, но типы. Сознание художников словно сохраняет память о прошлом, и потому изображаемые ими события — деревенские будни и праздники, сценки из провинциальной жизни и т. п. — в ряде случаев даны вне конкретной исторической эпохи. Их тяжелые, будто выгесанные из дерева, мужики и закутанные в платки бабы — обычные, земные люди, неотделимые от своих национальных основ, и одновременно нечто вечное, искони присущее человеку как таковому. Иллюстрацией сказанного может служить работа Назарова «Семена разные», где использован древнейший символ обновления и возрождения жизни. «Семена» — это не только плод и семя злаков — это и «сеятели», люди разные

по ликам и обычаям, но единые по своей природе.

Стремлению художников выявить общечеловеческие константы отвечает и система изобразительных приемов. Выше уже упоминалось о лещадных горках, функция которых в древнерусской миниатюре не ограничивалась обозначением природного фона. Лещадные горки служили и средством разделения миниатюры на отдельные изображения, позволяя при надобности сократить число фигур или сцен. Этот прием был знаком авангардистам-«классикам», трансформацию его можно видеть и в живописи художников «Сары бию». И там, и здесь «лещадные горки», наряду со сдвигами и обращением к сферической перспективе, служат способом синхронного изображения разновременных явлений, вносят ощущение переключки времен, что совершенно невозможно при реалистическом подходе с его четкой пространственно-временной локализацией изображения. Создаваемая таким образом возможность панорамного охвата событий как бы останавливает время, растворяет его в пространстве холста и, в конечном счете, позволяет выявить изначальные качества, идеалы человека. В понимании наших художников это, прежде всего, ощущение сопричастности миру, людям, тяга к земле и очагу. Не случайно в замечательной «иконописной» композиции Лебедева «Я и мои герои» запечатленный в центре автор обрамлен своеобразными «клеямыми икон», в которых изображены уже известные нам персонажи. Символика креста закрепляет мысль о художнике как медиаторе, хранителе памяти и традиций коллектива.

Однако если в работах Лебедева, Ишемгулова и Давлетбаева еще слышны антропоцентристские нотки, то Пахомов, Назаров, а в последнее время и Газизуллин более тяготеют к «язычески» цельному миропониманию. Показательны в этом отношении две работы Газизуллина: «Похороны Тариф Бикбая» и «Чаепитие» — созданные здесь образы насыщены, обобщены и приближены к символическому толкованию явлений. В обеих работах лейтмотивом проходит закрепленная в живописной пластике мысль о вечном возвращении, и трагедийная перспектива «похорон» преодо-

левется утверждением новой жизни человека и природы.

Шаг к мифотворчеству сделали Назаров и Пахомов. Подчас кажется, что работы их выполнены в эскизной манере, слишком поспешно. Но зритель, внимательно ознакомившийся с творчеством этих близких по духу живописцев (Назаров и Пахомов долгое время работали вместе в мастерской А. Э. Тюлькина), не может не увидеть и другое: множество их картин, оставаясь вполне законченными произведениями, одновременно представляют собой некие заготовки, фрагменты единого, еще не написанного полотна. То, что у Газизуллина является приемом, у Назарова и Пахомова становится чертой творческого метода. Найденный художниками тип репродуцируется из работы в работу, в результате чего образы людей и окружающих человека предметов перерастают в цельную образную картину мира.

Мысль о единстве мира легла в основу работы Пахомова «В башкирской деревне». Все здесь залито животворящим солнечным светом: и лукаво-добродушная физиономия персонажа, и аккуратный маленький домик, и отражающий зелень сарай. Ритмическим повторением деталей и линий изображенных объектов устанавливается внутренняя связь живого и неживого, органического и неорганического. И человек, эту связь ощущающий, уподобляется личинке, вырастающей из кокона-дома, а само жилище становится вместилищем «накопленного предками тепла» (выражение Хлебникова).

Таковы вкратце основные особенности творческого мышления художников «Сары бии». Особенности, составляющие «вертикальный» аспект поставленной проблемы.

### **ГОРИЗОНТАЛЬ — «НА НАШ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД»**

«Горизонтальный» аспект предполагает рассмотрение работ в свете сегодняшней провинциальной действительности. Причем в соответствии с преобладающей творческой установкой художников на изображение «человека естественного», провинциального, речь должна идти не об Уфе, Тамбове или Чистополе, а о провин-

ции как таковой. Но, говоря о провинции, следует, по-видимому, иметь в виду, что здесь, как в фокусе, сошлись все противоречия нынешней сумбурной жизни страны. То, что в столице либо не замечается, либо воспринимается как случайное, незначительное, в провинции немедленно становится значимым, закономерным. Поэтому события в глубинке часто развиваются по законам фантастического реализма, что и побудило художников — Назарова, Лебедева и Пахомова — к поискам адекватного выражения бурлескной действительности.

Современная российская провинция — это густая сеть мельчающих деревень, рабочих поселков и небольших городов, группирующихся вокруг своей губернской столицы. Из всех сил стремясь походить на Центр (и одновременно отталкиваясь от него), «столица» являет собой некий норматив, определяющий социо-культурную структуру соподчиненных территориальных образований.

Здесь живут гениальные поэты, виднейшие ученые и просто исключительно талантливые люди. Есть в Большом городе и свой университет, а в нем — своя губернская знаменитость, решительно, в духе шукшинского Глеба Капустина «срезающая» любых оппонентов. Стоит ли говорить, что терзаемая комплексами уездная интеллигенция внимает этой олицетворенной мудрости с благоговением и суевренным ужасом (Пахомов «Оракул», «Искушение»).

Однако городская культура не отличается четкой пирамидальностью — от «жречества» к массам. Скорее, она напоминает сшитое из разноцветных лоскутков одеяло. Безукоризненно работающий здесь закон землячества открыл вчерашним скотникам и дояркам широкую столбовую дорогу в науку, искусство и управленческий аппарат. И уже не режет слух «язык трамвайных перебранок», на котором живо изъясняются врачи, учителя школ и преподаватели вузов, не удивляет их безграмотность и категоричность.

Из родного уголка вынес мужик страсть ко всему экзотическому, непонятному и потому особо престижному. Сверхъестественными, почти тотемическими свойствами наделяются им вещи, подчас самые неожиданные — кроссовки «Adidas»



и двухтомник Цветаевой, песенки Аркаши Северного и репродукции картин Босха, музыка Вивальди и слово «монтана».

В чудовищном потоке косноязычия эти слова звучали «по-ученому» красиво и стали для люмпена столь же привлекательными, как золотой перстенок на безымянном пальце каждого уважающего себя циркового администратора. Будучи явлением языка, косноязычие как-то соотносилось с окружающей действительностью и, стало быть, отражало его сознание, становилось проекцией его мира на плоскость языка.

Бурная духовная жизнь столицы оцутимо воздействовала на формирование культурного облика ближайшей глубинки. «Стихийные люди» уже не валили толпами в церковь или на концерты художественной самодеятельности, а задумчиво попыхивая «Фениксом», сидели в просторных коттеджах у экранов цветных телевизоров. Доносившиеся из сараев блестяне воз и призывное мычание просящей дойки коровы были столь же привычны, как и привнесенная городом официальная культура, явленная в многочисленных плакатах, проповедях парторга и ритуалах поднятия флага (Пахомов «Рахим итэгез!»). Эта «наглядная агитация», обязательная для каждого поселка, райцентра и деревни, была предметом вождения мечтающих о заработках художников. Здесь, «на халтурах», черпали многие из них впечатления от родной природы, знакомились с культурой и бытом все более мутационирующего села.

Между тем незамысловатый спектр развлечений сельского клуба явно не выдерживал конкуренции с транслируемыми по телевидению праздничными хит-парадами. «Быт или не быт?» — затравленно озирался по сторонам молодой деревенский Гамлет и, махнув рукой, уезжал в Большой город — к красочным рекламкам прохладительных напитков и видеотек.

Несоответствие между официозной культурой и реальностью, сопровождаемое не всегда осознанным, но достаточно упорным стремлением народа к сохранению своих обычаев, порождало особую, карнавальную атмосферу провинциальной жизни. Чья-то дерзкая рука «реставрировала» по ночам плакатных молодцев, демонстрировавших единство партии и

народа, — к их фигурам пририсовывались хотя и естественные, но вовсе не обязательные для такого случая органы. Со знанием и любовью нарисованные объекты дублировались надписями, органично сочетавшимися с призывами к единению и миру. Зрелищные формы этого фольклора дополнялись словесными жанрами (анекдотами, пародиями, частушками-небылицами и др.), а также теми специфическими явлениями, которые в литературе именуют фамильярно-площадной речью. Причем характер этой замысловатой речи, как и в древних смеховых культурах, был амбивалентным: снижая и умерщвляя, она одновременно возрождала и обновляла.

Как бы ни относиться к подобным проявлениям «низовой» культуры, несомненно одно: они являлись формами выражения народного мироощущения и традиционно находились на границе между искусством и жизнью.

К этой стороне народной жизни и обратились наши художники — Назаров, Пахомов и Лебедев. Обращает на себя внимание сфера приложения каждого из них: по-деревенски рассудительный Назаров всецело поглощен жизнью села, иронично-добродушный Пахомов отдает предпочтение «средней» глубинке — райцентрам и маленьким городкам, решительный, темпераментный Лебедев стремится запечатлеть пеструю смесь разнородных явлений «столичной» культуры. Языком, способным наиболее полно и ярко запечатлеть современную им, подчас трагически-гротескную действительность, понятно, оказался лубок, обладающий громадной силой выразительности.

Как и все искусства фольклорного типа, лубочная картинка разыгрывается зрителем, приглашая его вмешаться, принять участие в изображаемой ситуации. Эта игровая природа примитивистских жанров, дерзостная динамика, свободная от светских условностей и пуританской морали, особенно характерна для творчества Пахомова. Его гротескно-эксцентричные образы ошарашивают зрителя подчеркнутой инфантильностью, неуклюжестью и порой кажутся пародией на плакатных «тружеников села». Наивно-лубочное прекраснотушие персонажей, запечатленное им в провинциальных сценках, воссоздает атмосферу



остановившегося здесь времени («Миша пошел в магазин», «В интерьере»). Крайняя вольность языка — лаконизм рисунка, приемы снижения и «занозистая» фактура — великолепно передают грубовато-чувственную натуру деревенского жителя и его «упругий» язык («Двое», «Разговор», «В деревне»). Используя фольклорный принцип заострения характера, художник обыгрывает предмет изображения, утрирует его телесность. Прием этот не чужд и Лебедеву («Гуляй, Ванька!», «Зимой в деревне»), однако гораздо чаще используется Назаровым («Застолье», «Трудовики» и др.).

Гиперболизация материально-телесной жизни, преобладающая в работах Пахомова и Назарова, — не просто иронический прием. Преувеличение это утверждает неразрывное единство всех сфер человеческой жизни — космического, социального и материального — и в этом своем качестве восходит к образной системе народной смеховой культуры. Говоря о положительном, утверждающем характере материально-телесного начала в гротескном реализме, М. М. Бахтин подчеркивал, что оно «воспринимается как универсальное и всенародное и именно как такое противопоставляется всякому отрыву от материально-телесных корней мира, всякому обособлению и замыканию в себя». И не столько о влиянии экспрессионизма можно говорить применительно к Назарову и — особенно — Пахомову, но об обостренном чувствовании художниками того «веселого ужаса», который, по пронизательному замечанию Блока, «сидит в русской душе».

Назаров и Лебедев активно, но по-разному используют восходящий к религиозной живописи (миниатюры, клейма икон) прием «изображения» слова. Так, в работе «Учитесь стрелять» Назаров воспроизводит типичные приемы райцентровских будней — излюбленный им тир, запряженную в повозку лошадь, базар, покосившийся домик. Прямое изображение здесь неполно — вместо некоторых объектов даны их словесные эквиваленты — надписи, сосуществующие с вывесками и характерными для глубинки и столь же бессмысленными для селян призывами: «Берегите животных от пожара», «Учитесь стрелять» и т. д. Это часто встречае-

мое в районах идиотическое дублирование предметов и явлений реальной действительности их формальными знаками ведет, по мысли художника, к отчуждению человека от природы в мире современной квазикультуры. Ту же идею утверждает и центральное противоположение ключевого образа «тир» (символ агрессии) лозунгу «берегите животных».

В свое время П. Филонов противопоставлял «глазу видящему» — «глаз знающий». И Назаров, родившийся и долгое время живший в селе, прекрасно знает подлинную крестьянскую жизнь. В поражающей охватом материала работе «Житье-бытье Зинки Пустыльниковой» художник воссоздает широкую картину уходящей деревни. Сюжета как такового здесь нет, плотью повествования является речевая стихия, взаимодействие голосов персонажей и голоса природы, воплощенного в зримых образах и приметах крестьянского мира. С этой целью Назаров расчленяет живописную поверхность на отдельные эпизоды-картинки, вводит в ткань произведения надписи, детские рисунки, обрывки газет. Названия трав, письма, различного рода «настенные послания» (воспроизведенные художником с сохранением диалектных особенностей) и другие мельчайшие детали деревенского быта — все это, включенное в один смысловой ряд, создает целостный образ народной жизни. Таким образом, картина приобретает эпическое звучание, становится циклом мини-рассказов о бытии простой деревенской женщины.

Лебедев, как уже говорилось, стремится отразить процесс взаимодействия различных уровней культуры и жизненного уклада провинциального города. Решение столь нелегкой задачи требовало синтетического подхода, сочетающего поэтику авангарда и элементы фольклора. И Лебедев этот синтез осуществляет. Вполне оправданны у него приемы иконописи, лубка или идущий от кубизма принцип взаимопроницаемости и динамического смещения объектов: блеющей, лающей, мычащей живности, заводских труб, афиш, церковей или дорожных знаков («Райцентр», «Русь», «Белое пространство»). Нередко цельное изображение уступает место сумме зрительных ассоциаций, из которых и возникает знакомый городской



пейзаж («В старом городе», «Закат»). Но если Назаров уравнивает ассоциации в «смысловых правах» для утверждения относительности высокого и низкого в народной эстетике, то Лебедев, используя тот же, в сущности, конструктивный принцип, моделирует саму специфику провинциального, «пост-модернистского» мировидения: множественность реальных и «цитатных» миров сосуществуют в едином смысловом пространстве. Многомерное повествование разворачивается в этом случае посредством активизации, «оживления» какой-либо второстепенной, «неживой» детали. Ею могут становиться рекламные объявления или этикетки, выполняющие функцию иконических знаков, соотносимых с вечными ценностями указанного выше контингента («Бешеная весна», «Фигурное катание»).

Возникла странная и вместе с тем правдивая картина жизни провинциального города. В самом деле, неуклюже, почти пародийно отозвалась глубинка на происходящие в стране перемены. Все оставалось по-старому, но означало уже иное. «Архаичный мотив» Пахомова звучал в современных ритмах кооперативной ламбады. Сознание обывателя раздробилось и стало походить на множественные отражения в направленных друг на друга зеркалах. Он стал одновременно участником и зрителем какой-то многоактной абсурдной пьесы, на его глазах обнажался процесс взаимоперехода форм. В кафе, магазинах, кинотеатрах и парикмахерских житель глубинки мог часами любоваться сладкими конфетными коробками, ароматными пачками сигарет, марочными коньяками, винами, ликерами и еще чем-то таким, о чем он, выходец из далеких Талыблов, и не слышал. Но это был другой мир. Вернее, его не было совсем. На полках стояла пустая тара, реальность же предлагала прокисший яблочный сок и индийские веники. В то же время этот мир где-то существовал, постоянно просвечивая сквозь серые будни потомка Акакия Акакиевича, что приводило его в некое

делириозное состояние, усиливающееся обычно к вечерам («Старая Уфа, сумерки»). Впрочем, это уже не совсем искусствоведческая тема.

Но сквозь этот алогичный мир, где все перепуталось, а явление существует как бы отдельно от сущности, проступает на картинах Лебедева иная реальность — апокалиптически-устрашающая и веселая одновременно. В названиях цикла работ, объединенных темой России, эсхатологическая окрашенность эпитета «белый» («Белое пространство», «Белая лошадь», «Белый день») уравнивается мажорным звучанием выплывающих как бы из небытия силуэтов могучих коней, храмов и тяжеловесных, уверенно стоящих на земле мужиков. Иными словами, зрителю явлены два лика России: Россия сегодняшняя, от деревни ушедшая, но городом так и не ставшая, и Россия преображенная, обретшая свою цельность, свой смысл. И оба эти лика воплощены в емком образе Белой лошади, чьи очертания символически обыгрываются округлыми куполами церквей.

Итак, мотив возвращения к природе становится ведущим в творчестве художников «Сары бии», его разнообразное варьирование составляет суть их концепции. Созданный живописцами образ мира — романтически-идеальный или раешно-сниженный — обращен прежде всего к «доброй старой провинции», где человек ощущает кровную связь с землей и своим делом. Нелегкий процесс обретения этого единства подобен Голгофе, восхождение на которую совершает современный крестьянин (Пахомов — «Голгофа», «Удел», «Возвращение Богородицы»). Осмеиваемый полупьяным мутантом, он являет собой образец самопожертвования во имя сытой жизни того же люмпена. И потому скорбно внимает ему деревенская баба с младенцем на руках — Богородица, чей прообраз — «великая мать сыра-земля». Потому и горит свеча на столе у одинокого мужика — путеводный огонек, освещающий дорогу к утраченной ныне гармонии.

# Зачем нам нужны эти партии?

*Беглый взгляд дилетанта*

Под занавес прошлого года каток «Единой России» прошел по Руси великой, вернее выборов «Единой России». Была нужна не просто победа, ставка делалась на триумф, полный и безоговорочный, именно поэтому в предвыборном избиении напалмом выжигалась вся прилегающая территория. В эти выборы мы много чего узнали: нам поведали, что у нас много врагов, как внутренних, так и внешних, которые за коврижки обделывают свои делишки. Кстати, это почти дословная цитата из известного шоу Путина в Лужниках. Вероятно, это высказывание войдет в золотой фонд крылатых президентских выражений наряду с «мочить в сортире».

В итоге «триумфальный» успех «Единой России» показал, что у нас появился легитимный с точки зрения демократического ритуала правящий класс, ответственность которого перед избирателем сведена к минимуму. Так как во всей этой машине, в первую очередь, реализуется довольно жесткая зависимость от руководства партии, но отнюдь не от избирателя. При этом очень не хотелось, чтобы эта дистанция, как часто бывает, превратилась в зияющую пропасть. Поэтому правильный был сделан ход в той части, что, причислив себя к «Единой России», Путин встал над ней и не поторопился за партийным мандатом, тем самым показал, что политика может и должна делаться вне партий, что между политической элитой, вершителями судеб и собственно смиренным народом должны быть связующие скрепы. Что Президент должен перерасти в национального, народного лидера, а политэлита в элиту национальную государственнического толка. Партии в этой трансформации – лишь остаточное явление, мы к ним просто привыкли, нам внушили, что они являются необходимым атрибутом демократизма, но в то же время

– это не более как балласт, который топит корабль государства.

«Что основано на лжи, не может быть право. Учреждение, основанное на ложном начале, не может быть иное, как лживое. Вот истина, которая оправдывается горьким опытом веков и поколений. Одно из самых лживых политических начал есть начало народовластия, та, к сожалению, утвердившаяся со времени Французской революции идея, что всякая власть исходит от народа и имеет основание в воле народной. Отсюда истекает теория парламентаризма, которая до сих пор вводит в заблуждение массу так называемой интеллигенции – и проникла, к несчастью, в русские безумные головы. Она продолжает еще держаться в умах с упорством узкого фанатизма, хотя ложь ее с каждым днем изобличается все явственнее перед целым миром», – это слова Константина Петровича Победоносцева – злостного реакционера и консерватора, каковым мы его помним еще по прежним учебникам истории. Цитата взята из его работы с говорящим названием «Великая лож нашего времени», которая, кстати, крайне злободневна и в наше время. Мы до сих пор продолжаем упорствовать и топтаться на старых граблях, но никак не можем отказать от этой обласканной фантазии иллюзии.

Отечественный религиозный философ Сергей Николаевич Булгаков называл разделение на партии «неизбежным злом», но при этом он отмечает, что ни в одной из стран это разделение «не проникает так глубоко, не нарушает в такой степени духовного и культурного единства нации, как в России» (статья «Героизм и подвижничество»).

Партийная система как реализация диалога между народом и властью, некий рецепт народного счастья – химера, которой одарили нас французские утописты-



просветители, в частности Руссо. Уже последние лет двадцать мы говорим о том призраке коммунизма, который пытались овестествить в России, но совершенно забываем, что сами строим Вавилонскую башню другой утопической идеи либерализма и демократии, которая уже давно приобрела планетарный масштаб.

Было бы по меньшей мере легкомысленно ставить перед собой цель создания политологического трактата. Главное, как представляется, избавиться от обаяния стереотипов, посеять сомнение в вещи, кажущиеся незыблемыми и существующими лишь по нашей привычке к ним, взглянуть на ситуацию не через кривое зеркало шаблонов и гипнотических установок. Как в случае с Гоголем, который одной из целей написания первого тома «Мертвых душ» ставил разнести «тоску от самих себя».

Туниковый путь, которым зачастую оперируют, ставит ультиматум по типу: а что предлагается взамен? После этого впопору ручки сложить и впасть в бесконечную апатию. Спорить и предлагать что-то конструктивное в такой постановке вопроса невозможно, ведь при этом ты принимаешь правила чужой игры, соглашаешься с иной системой ценностей, даешь ей право на существование.

Любят нас фаршировать бессмысленными лозунгами, наподобие: другой альтернативы нет, коней на переправе не меняют, и еще масса других столь же пошлых мантр. Чтобы увидеть альтернативу, нужно выйти из темной виртуальной чащи, в которой мы понуро блуждаем.

И тогда получится, что на вопрос – «зачем нам нужны политические партии» – ответить будет крайне затруднительно. Они, конечно, все правильно и разумно говорят о своей надобности, но как-то плохо всему этому верится. Ни для кого не секрет – партия создается под конкретного лидера или группу товарищей, которые в нужной ситуации могут сказать: за мной народ стоит.

Недавние выборы пятой Думы были апофеозом выборных технологий, но в то же время полным и закономерным крахом всей этой системы. Поэтому лично я выбрал позицию игнорирования выборов. Перефразируя известный лозунг, скажу: не голосуй – или проиграешь, ведь явка –

лишь требование продолжения этой мало кому нужной игры, давно исчерпавшей все свои резервы. Единственный плюс выборов – предоставление публичного отчета власти перед своим народом, хотя отчет этот скорее манифестален и идеален, чем реален, как покраска травы перед визитом высокопоставленной персоны.

Ну да ладно, всем понятно, что власть должна быть сильной и сохранять преэминентность, особенно в условиях нашей необычайно просторной державы. А ведь так у каждого нового правителя возникает сильное искушение набирать очки за счет критики и уничтожения начинаний предыдущего. У партий – это бесконечная риторика по типу «сам дурак».

Есть партии карманные, искусственные, созданные в рамках определенной предвыборной стратегии, чтобы выбить почву из-под ног конкурентов. Что нужно для успеха или, по крайней мере, чтобы быть услышанным? Очень просто: подхватить какой-нибудь расхожий, популярный в обществе лозунг и размахивать им, пока в глазах не потемнеет. Можно еще принарядиться государственной, национальной, религиозной атрибутикой, идеей. Но, впрочем, все это азы политтехнологии. Поэтому думается, что нет смысла проводить разделение на партии власти и оппозиционные, крупные – мелкие, правые – левые. Для нас это скорее собирательный образ, определенный проект, аналогичный памятным финансовым пирамидам, который регулярно реализуется в последнее время. Этот проект нацелен исключительно на выборы, на заполнение лакомой лакуны, которая раз в четыре года открывается в органах законодательной власти; собственно, дальше цели не распространяются. По большому счету, у различных вариаций этого проекта нет никакой идеологии, долгосрочной внепартийной цели, разве что только наспех сколоченная ширма, которой прикрыто обычное бойкое рыночное торжище. Люди за прилавками практически всегда одни и те же. Иногда лотки меняются: сегодня стоял в мясном ряду, завтра перебрался на овощефруктовый.

Соответственно, и выборы превращаются в банальную манипуляцию сознанием, ярмарку пиар-фокусников – гипнотизеров. А игроки на этом поле постепенно

переходят в разряд экспонатов музея восковых фигур: скомороший облик ЛДПР, держащийся за счет публично имитируемой сомнительной экстравагантности своего лидера, СПС – картинно вялая попытка реванша либеральной идеи, которая уже столько раз дискредитировала себя, что и говорить о ней как-то неприлично. В КПРФ едва ли уже найдешь идейного коммуниста, трупна ряженных, прикрывающихся ностальгическими лозунгами и тоской по светлomu советскому прошлому. Кто там еще? «Яблоко» и «Справедливая Россия»... Серьезно рассуждать о них – это вообще дурной тон.

Весь этот ландшафт – не более как шутовской политической вертеп. Имитация политической движухи, кухонная возня, попытка выпустить пар в виде неудовлетворенных эмоций. Тот же Победоносцев использовал для определения всего этого очень точный оборот: «комедия выборов». Актуально, не правда ли?

Не хотелось бы зауживать проблему и говорить, что партийная система в нашей стране зашла в тупик, что ее надо реорганизовывать, обновлять, модернизировать партии. Корень видится в самой системе, а мертвому едва ли требуются наши припарки и заклинания ворожей. Поэтому не совсем соглашусь с Александром Прохановым, который на мой вопрос о партиях в России в интервью ответил: «В 90-е годы был период активного партийного существования, и партии были полезны, потому что через них реализовывались новые таланты, через них проходили новые идеологии. Это было очень интересно, а потом партии скукожились, они окаменели, окостенели. Цветок засох и, сохранив все формы цветка, стал засушенным цветком». Цветок этот изначально был хоть и радужным, завлекательным, но для внимательного взгляда крайне сомнительным, содержал в себе тлен.

В последнее время любят рассуждать, что партия – это необходимая сила, на которую опирается национальный лидер, но и это иллюзия. Разве может миражное нечто, фантазмагоричное, стать надежным фундаментом? Лозунг хорош для сиюминутного порыва, далее он костенеет и превращается в кондовый штамп. Партия не представляет собой какую-то реальную силу, так как организована по

формальным признакам. Цели ее довольно прагматичны, и чаще всего главная из них – скорейшая трансформация в бюрократическую структуру с потерей какой бы то ни было позитивной энергичности. Система эта не только создает гигантский вакуум между народом и властью, но и грозит прямой опасностью, ведь, создавая видимость устойчивости, может рассыпаться в любое мгновение, как соломенная хижина.

До желудочных колик веселит императив приверженности принципам какой-либо одной партии до гробовой доски. Он являл собой следствие начального периода секулярной эпохи, когда партии претендовали на роль религиозных конфессий. Из попытки своеобразной пародии на мировые религии они быстро выродились в секты. Сейчас партии – кучки людей, и тем они эффективней, в чем стане громче кричит зазывала, лучше действует система набора рекрутов, соблазнения потенциальных адептов всеми мыслимыми благами земной жизни. Поэтому с недоумением посмотрят на человека, который будет утверждать что-то подобное: родился демократом, им и умру. Более-менее стойкими оказались коммунисты, но и в их стане это не более как инерция, вызывает себя протестное начало, отрицающее моду дня. Они все более напоминают старообрядцев, их лагерь также не представляет монолитную структуру, от него постоянно откальваются один за одним в свободное плавание айсберги – старообрядческие общины.

Бутафорские партии – важный элемент поддержания иллюзии демократии. Это коммерческие конторы, уставной капитал которых состоит из формального списочного состава, где вместо людей – «мертвые души» – подписи, механизм собирания которых, я думаю, отлично известен всем. Еще Н. Я. Данилевский говорил, что государство, позиционирующее себя демократическим, политика которого строится на волеизъявлении граждан, на самом деле представляет собой «владычество некоторых», только в более ретушированном виде.

В бестселлере прошлого года «Проект Россия» попала удивительно точная фраза: «По сути, все наблюдаемые в нынешней ситуации партии являются



бизнес-структурами, делающими свой бизнес на проблемах своего Отечества. Изначально созданные на наемном принципе, они привлекали людей, понимающих «партийную» деятельность как способ заработать или сделать карьеру». Отличная иллюстрация старой истины про то, куда благими намерениями мощена дорога.

Партийная система – это была довольно удачная попытка подрыва веками сложившейся системы традиционных государств, о чем свидетельствуют многие глобальные исторические катаклизмы XX века, вплоть до прихода к власти в Германии национал-социалистов. Недаром основной экспортер этой пандемии – англосаксонский мир – давно из всего этого сделал формальный кукольный театр, который фундаментально на государственный строй страны не влияет. Всем же прочим в качестве вступительного взноса в демократическую семью предлагается внедрение полипартийной системы, оказывающей дестабилизирующее действие. Собственно, всем предлагается закопать под основание пороховую бочку и устраивать на ней различные камлания.

Очевидно, что в последнее время в стране прослеживается определенная государственная стратегия, направленная, грубо говоря, на укрупнение лояльных партийных институтов и обуздание оп-

позиционных, то есть на консолидацию политического поля в той трактовке, какой понимает ее власть. Подспудно проявляется, может быть, еще не конца оформленная мысль, что партии не более как мишура, не только ненужная, но и вредная, которая стреножит развитие государственности. Надеюсь, что выбран не англо-американский путь, где происходят формальные баталии партий-близнецов, а эволюционный путь отказа от этой тухлявой насквозь системы, которая рано или поздно опадет, как пожухлая листва.

Может быть, это лично мое ощущение, но людей, пропитанных государственной идеологией, и не просто сторонников сильной власти, но и монархистов, становится все больше. Не это ли вестник некоторого выздоровления нации, начало преодоления вируса партийного разделения?..

Пока же нас усиленно обучают парламентаризму и призывают к усилению многопартийности. Как-то еще в прошлом году в Интернете набрел на объявление: в рамках программы «Русские чтения» состоится лекция доктора политических наук Генри Хейла на тему: «Становление сильной партийной системы». Как выяснилось, этот эксперт регулярно работает в Узбекистане, Киргизии и на Украине...

# Кому мы нужны

---

*Единица – ноль,  
единица – вздор...*

**В. Маяковский**

Многое сегодня у нас делается дилетантами. Для них все просто. Проткнул дырку в земле, а из нее нефть рекой льется, почти бензин. Срубил денег, вот тебе и бизнес. Попал на должность – рули, как хочет правая нога поутру, все равно лучше никто не сделает, поскольку это кресло твое, другого там нет. Записали в партийный список – значит, стал депутатом. Или не стал, но тут все как фортуна повернет.

Все легко, просто и понятно. А дальше? А вот тут, если человек с совестью, да с ответственностью, да с пониманием, вот он за голову и хватается, как начинает понимать, что это только сказки быстро сказываются. А настоящее дело мастера требует. Такого, который его до тонкостей понимает и душу в него вкладывает. Если не заложено это в человеке, то беда для всех, и для государства в первую голову. Потому как дров наломать недолго, а вот заново лес вырастить – это не одному поколению приходится постараться.

Сократ говорил: «Я знаю, что ничего не знаю». Действительно был философ, который понимал, что не может он на все дать ответы. Не дано за короткий человеческий век все постичь. Наверное, это и не надо. Но в жизни мы хотим понимать все, что вокруг нас происходит. Практика показала, что существует два самых распространенных варианта восприятия устройства жизни.

Первый – «хуторской». Замыкается человек в своем маленьком мирке. И знать больше ничего не хочет. Он чего-то умеет, с этого и кормится, у него есть привычный круг знакомств. Этого и достаточно. Самое большое желание – не трогайте меня, дай-

те жить, как я хочу. Не желает он понимать, что мир большой и трогать его все равно будут, поскольку «жить в обществе и быть свободным от него нельзя». Вот случился кризис в Америке, а до печенок прошибает большую часть мира. Хочется этого кому-то или нет. Жил себе в Грузии крестьянин, делал вино, для того чтобы люди в радости или горе его пили, а его под ружье и в Цхинвал. И весь выбор: или ты стреляешь, или в тебя стреляют. Не спросят даже, за Мишико он был на выборах или против. Не спрячешься сегодня на своем хуторе от больших проблем. Государство, твой кредитор, политик из далекой страны – да мало ли кто – уже включают тебя в свои расчеты. Зачастую даже не спрося, хочется кому-то этого или нет.

Второй – «просто скажи, как оно на самом деле». Некогда долго раздумывать, как оно все вокруг устроено, поэтому человек хочет, чтобы ему просто и без затей разъяснили: что белое, а что черное, что добро, а что зло. Что он усвоит, то для него и станет истиной, в которую нужно верить, а иногда за нее и спорить, ну и, в самом крайнем случае, сжигать всех прочих еретиков, которые считают, что мир устроен иначе. Поэтому для них и государство должно быть выстроено очень просто. Еще Платон все хорошо обрисовал. Есть добро, есть люди, которые лучше других его понимают и могут творить, ну а остальные должны занимать свое место. Все на своих «хуторах», все благоденствуют и точно знают, что счастье вот-вот настанет.

А не случается. Не идеален человек, и грешит, и ошибается он, и хочет зачастую больше, чем может. Один из теоретиков менеджмента определил это следующим образом: «Каждый в своей карьере достигает пределов своей некомпетентности». Может, и слишком круто обобщил, все-таки много людей у нас на своем месте встречается. К благу своему и ближнего.



Когда такие социальные утопии пропагандируются, то никто не хочет отвечать на вопрос: а как лучших из лучших определить, кто судья над всеми? В истории лучший определялся правом силы; традицией; очень редко своим моральным подвижничеством; своими делами, которые оправдывали ожидания подвластных людей; наконец, безудержным славословием свиты, для которой «голый король» очень удобен, поскольку для них беззащитен.

Какой вариант «идеального государства» интересен? Это смотря для кого. Конечно, для Победоносцева — с мудрым монархом, который реализует моральные ценности своей свиты, холит и ласкает ее и дает ей ощущение богоизбранности. Для него другое мнение интеллигенции — святотатство. Какой парламентаризм, перед кем гениальный министр должен отчитываться? Все это ложь, заблуждения, каленым железом эти бредни!

Для Булгакова — государство с единой логикой развития. Такой, которую философ может постигнуть, оправдать и развить. Без претензий на участие в политическом управлении. Вполне достаточно теоретического обрамления праведности жизни общества. А партии — они помеха. В них есть другие идеологи, которые даже не понимают, как они заблуждаются. И своими заблуждениями, а зачастую и сознательной ложью уводят людей с правильного пути, который в теории доказан.

Любой теоретик, который сотворил авторскую картину мира, будет доказывать, что все, что не вписывается в нее, — абсолютное и легко понимаемое зло. А какова цена этим теориям? Не будем делать излишнюю рекламу экономисту, который получил Нобелевскую премию за то, что доказал, что финансового кризиса, который сейчас разразился, по всем расчетам быть не может и не должно. Поэтому лучше отложить теоретические выкладки о том, как надо правильно жить. Все это не более чем гипотезы. И само бытие их либо подтверждает, либо опровергает.

В политике абстрактные концепции чаще всего ведут к провалу. Были у Николая II некие принципы и вера в непогрешимость монархии и ее доверенных людей. В результате две проигранные войны, три революции и смерть самых близких людей. Не только своей жизнью заплатил

за иллюзии и неспособность прагматично и без догм смотреть на реалии времени. Ленин хоть и был теоретиком, но жизнь заставила научиться трезво взвешивать свои позиции и не принимать шаблонную стратегию за единственно верный путь. Переиграл всех теоретиков монархизма, парламентаризма, военного коммунизма и прочего, и прочего. Лозунги своевременные, решения сообразно с обстановкой, мобилизация людей на достижение конкретной политической цели — феноменальная. Для кого-то он злой, для кого-то светлый, но гений.

Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов, Горбачев. Все они выигрывали тогда, когда чутко улавливали нерв времени, главную волну, которая способна вынести их наверх. И проигрывали, как только начинали уверовать в то, что все постигли, стали выше всех остальных. Сознательно привожу примеры только заметных политиков нашей страны прошлого века. На них меньше лака, поскольку мы еще можем или могли понять их политику через судьбу наших близких, а не по тщательно отобранному документам.

«Политическое — слишком человеческое», «политика — искусство возможного», «политика — это действие». Когда начинаешь углубляться в суть этих понятий, многие мифы становятся очень явными.

Является ли партия политическим мифом? Смотри какая и с какой целью созданная. КПСС — это миф или реальность, и нужна ли была она? Когда в ней 20 миллионов человек. Когда за партбилет кладут свои жизни. Это более чем реальность. Это сила, которая эту реальность и создает. Но если этот самый партбилет сжигается для иллюстрации своего мнения в телепередаче, если партия неужемимо начинает разлагаться почкованием, если ни один ее лидер не может или не хочет противостоять системному распаду — то это уже миф.

Современные партии, конечно, тяжело назвать локомотивами общества. Выборы 2007 года подтвердили, что выбираем не партийные программы, а выражаем доверие лидерам. Как вполне нормальные люди, уже обжегшись на безоглядном следовании за красивыми лозунгами, мы сегодня смотрим по делам. Из этого и обоживаем для себя: на кого надежда есть,



а кто полный пустобрех. На последних выборах все пиар-проекты под вывеской политической партии провалились. А ЛДПР? В. Жириновский – это наш коллективный психоаналитик. В 90-х годах видеокассеты с его выступлениями раскупались наряду с эстрадными хитами. По принципу: если хочется, чтобы на душе полегчало, – послушай его. Функция для ряда наших граждан нужная и способствующая снижению напряжения в обществе.

Люди у нас разные, и надо им не по «прокрустовой» мерке, поэтому не соберешь всех под единый репродуктор. Партии в России это такие барометры, которые должны социальную волну замерять, ее обихаживать и в конструктивное русло направлять. Это во-первых. А как вы хотите найти подходы к политическому управлению системой, в которой более 142000000 человек проживает? Только в кино «там, где троих научился организовать, там и три тысячи можно». Если на велосипеде научился ездить, то не факт, что так же легко подводной лодкой управлять сможешь.

Во-вторых, природа не терпит пустоты. Тем более политическая. Украина, Прибалтика, Грузия и еще много других стран доказали – не создаешь партии, которые ориентированы на интересы страны, пусть даже несовершенные, не массовые, но хотя бы мобилизованные на то, чтобы драться за власть, тебе посадят тех, кого выкормили в других пенатах. Таковы политические реалии. Нравятся они или нет, не важно. Играет роль только то, умеешь ли выигрывать в эту игру или в роли мальчишка для битья.

Так что когда хочется отменить наши «партии», надо подумать, кому место очистим.

В-третьих, кто сказал, что идеал – сегодняшнее состояние партийной системы? В. В. Путин достаточно критично, но объективно заявил, что «Единая Россия» не самая совершенная партия, но лучшего пока не создано. Как говорится, «других писателей у меня для вас нет». Поэтому здесь траектории развития предсказуемы: либо стать современной, популярной, основанной на мощной социальной базе устойчивой политической силой, либо на очередном витке политической конъюнктуры быть списанной в тираж. Это касается и всех иных партий.

КПСС без политической конкуренции атрофировала в себе все умение находить правильные решения на крутых поворотах истории. А кого в ней интересовало мнение рядовых коммунистов? «Нам, ребята, думать неча, за нас думают вожди!»

Дестабилизирует ли «полипартийность»? Модно у нас стало рекламировать препараты, «устраняющие признаки простуды». Не лечащие ее, а так, маскирующие. Когда штормит в политике, то дело не в партиях, которые лишь индикаторы глубинных социальных процессов. Это в обществе и в политической элите не все в порядке. На Украине в партиях проблема? Там катастрофа в том, что сознание людей пытаются сломать, не обращая внимания на экономику, культурные традиции, историю. По реальной истории уже и на уровне уголовных статей пытались пройти.

Моден у нас стал «Проект Россия» как манифест монархизма. Но не настолько, чтобы все смирились с участью тварей бессловесных. Его суть в том, что должны прийти праведные и чистые и научить жить неправедных и нечистых. А если и эта теория не идеальна? Империя – это в итоге всегда монархия или тирания. Все империи исчезают. Именно поэтому не могу поддержать таких «государственников», которые неизбежно обрекают Россию на еще один распад. Вполне возможно, последний. В XX веке и романовская империя, и советская развалились. Не больно от этого? Не от того, что какие-то правители обанкротились, а от того, что погибли миллионы людей в результате этих процессов.

Кто их спрашивал? Один референдум провели, но только у тех, кто проголосовал за единство страны, своей политической организации не было. Не в состоянии они были заставить политиков-разрушителей остановиться. Да и не хотели. «Политика – дело грязное», «без меня обойдутся». Удобные отговорки для политического детства. Не хочешь мараться? Обойдутся. Только потом не надо дуться, что не так посчитали, не тот закон приняли.

Кто хозяин в стране, тот и делает жизнь под себя. Но не в одиночку, а на основе большой группы своих соратников, союзников, сочувствующих. И являются они фактически партией, не важно, имея



официальное название и регистрацию или нет. В том числе и монархисты неизбежно будут вынуждены объединяться в политический орден. И, конечно, очень хочется, чтобы этому никто не мешал, а власть отдали на блюдечке, поскольку они точно знают, как надо, и все свершат без лишних советов. Но только по-своему, так как это понимают те, кто делает, а не ожидающие светлого будущего.

Без конкуренции, без опоры на общество все политические институты деградируют. В истории других примеров нет. Можно, конечно, исходить и из сакраментально-

го «после нас хоть потоп» и «на наш век хватит». Нам это надо? Может, лучше с народом-то поаккуратнее. Правители, династии приходят и уходят, а народы остаются.

Жить надо «не в этой», а в своей стране, чувствуя свою личную ответственность за ее будущее, а не надеясь на барина.

*Р. С. Для Андрея Рудалева. С Генри Хейлом могу познакомить лично. Очень интересный исследователь. Политическим процессом не по книжкам интересуется. Хотя в партстроительстве в России замечен не был.*

# Нам осталось пять лет войны

*Президент Российского Зернового союза рассуждает о хлебе насущном и развенчивает самые распространенные «агромифы» и «агрострашилки»*

## ПОЙТИ В ВТО — «КОНЯ ПОТЕРЯТЬ»?

ВТО — очень специфическая тема, в которой мало кто разбирается. ВТО — это, безусловно, некий клуб, причем закрытый. Он существует по принципу: кто раньше вступил, тому больше привилегий. Мы в него вступаем поздно и поэтому, к сожалению, вынуждены играть не по своим правилам. Но при этом в момент присоединения теряем не так уж много — только по отдельным критичным позициям. Таким, например, как рис. По рису мы сегодня имеем уровень защиты 70 евро за тонну и сезонную пошлину в размере 60 евро за тонну. Как только вступим в ВТО, будем иметь не 70, а 45 евро за тонну, поскольку именно такой уровень связан в оферте. А, допустим, по мясу мы ничего не теряем: мы в оферте сохраняем текущий уровень. Те, кто кричат: «Присоединимся к ВТО и тут же погибнем все!», не понимают, что присоединение просто фиксирует имеющееся положение дел.

Сегодня мы не погибнем. По отдельным элементам даже еще и выиграем. Например, российское зерно квотируется на ввоз в Европейский Союз. У нас есть традиционные потребители нашего зерна — европейские страны: Италия, Греция, Испания... Но ЕС установил квоты на ввоз зерна из Восточной Европы. Причем квота едина для всех — россиян, украинцев и так далее. И мы всем скопом не можем завести на европейскую территорию больше, чем приблизительно 2 миллиона тонн. Европейцы — в ВТО, они имеют возможность защищаться, а мы пока — нет. Соответственно, при присоединении мы сможем поставить вопрос об этой квоте. И еще мы сможем ставить вопрос о том, что они выплачивают экспортные субсидии, а нам это не разрешено. И сможем добиваться отмены экспортных субсидий.

Так что никакой глобальной катастрофы не будет, и мы даже получим какие-то

мелкие плюсики. Какие-то минусы по отдельным позициям тоже получим, незначительные. Но главный вопрос: что будет дальше?

А вот дальше все очень серьезно: мы безвозвратно теряем свой потенциал к наращиванию! У нас огромный потенциал на производство продовольствия. И он у нас в стране недооценен. Катастрофически! Зато он очень хорошо оценен в мире. И вступлением в ВТО нам сознательно его ограничивают. Потому, что они боятся.

Зато россияне ничего не боятся! Мы не имеем целенаправленной аграрной политики внутри страны. И аграриям все время приходится преодолевать барьеры недопонимания. Либерально-экономический блок в правительстве не рассматривает сельскохозяйственный сектор в качестве бюджетного донора: мол, у него потенциал роста маленький, в него требуются большие вложения. Наше сельское хозяйство почему-то не рассматривается с точки зрения будущего. Игнорируются мировые тенденции и процессы, которые, безусловно, долгосрочны, фундаментальны и никуда не денутся.

Нет ничего красноречивее цифр: мы обладаем — по разным оценкам — от 10 до 13% мировых посевных площадей. В составе этих площадей, тоже по разным оценкам, — от 40 до 60% мировых запасов чернозема и самые продуктивные пашни. И вот на этих землях мы производим всего лишь 2% мирового продовольствия!

Почему? А потому, что мы не соблюдаем технологии, которые, между прочим, являются в мире главным инструментом борьбы с погодными рисками. Поэтому у нас любые неблагоприятные изменения в погоде критически сказываются на валовом сборе, на урожае. Что же мы себя этого инструмента лишили?

А нам им пользоваться не выгодно! У нас, чтобы получить минимум потенциального риска и минимум убытков, надо



минимум вложить! Чем меньше вложил, тем выгоднее и окупаемее эти вложения — вот наш закон. И он абсолютно алогичен. Он прямо противоположен мировому: там чем больше вложил, тем больше ты получил. В развитых странах весь инструментарий поддержки производства заточен и нацелен на то, чтобы не обрушить интерес агрария к работе. В Европейском Союзе половина всего бюджета тратится на поддержку АПК — это 50 млрд. долларов каждый год. В Америке тоже все программы нацелены на то, чтобы не потерять интерес к производству. А вот мы за этим хронически не следим. Вступив же в ВТО, мы рискуем получить кризис перепроизводства, будем продолжать терять заинтересованность — никто не захочет расширять посевные площади в условиях убытков. И это значит, что мы не сможем восполнить разрыв между 2% мирового продовольствия и 10% посевных площадей.

Выход есть, но он сложный и над ним надо детально работать. Я вообще — хоть убейте! — не понимаю, почему у нас до сих пор вступлением в ВТО занимается МЭРТ? Ведь это — министерство, которое работает с экономикой, торговлей и торговыми взаимоотношениями. А ВТО — отдельный организм, в нем надо учиться жить уже сегодня — задолго до вступления. Мы же в результате переговоров просто торгуем собственными позициями и пытаемся выторговать для каких-то отраслей какие-то выгоды, сдавая при этом интересы других отраслей. Хорошо, если был бы продекларирован межотраслевой баланс: какой выигрывает Россия в целом? Но не дает же никто подобный расклад!

А вот китайцы подошли к вступлению в ВТО очень разумно. Они присоединились на не очень хороших условиях. Но они, оказываясь, за те 16 лет, что присоединялись, очень четко проработали, что они будут делать, уже живя в ВТО. И сейчас используют весь его инструментарий на полную катушку. Мало того, они «строили глазки» ВТО в процессе присоединения, улыбались, но, как только вступили, заняли очень жесткие позиции. В том числе по собственным внутренним интересам, защитным мерам, и ничего ВТО с ними сделать не может. Они даже нарушая правила идут сегодня семимильными шагами вперед и распространяют

свою продукцию, которой просто завалены все мировые прилавки. Они грамотно, все четко просчитали. У нас же нет отдельного органа, который занимался бы жизнью в ВТО.

А он жизненно необходим. Ведь только для того чтобы разобраться в Уставе ВТО, необходимы серьезные специалисты — без тщательной подготовки нечего делать. В одной статье содержатся ссылки на 20 других, и понять что-либо без их последовательной взаимосвязки невозможно.

Надо готовиться к тому, что наша жизнь в ВТО будет совсем не простой, изощренной, испещренной массой проблем и массой возможностей. С проблемами мы познакомимся автоматически, а возможности, пока не изучим, никак не сможем использовать.

## А ЧТО СЕГОДНЯ?

В конечном итоге, что сегодня происходит? Почему цены на зерно в мире так высоки? Элементарно, я об этом говорил как о тенденции еще в начале века — с высоких трибун, везде. Говорил, что мир ждет удорожание зерна, и это — долгосрочная тенденция. Мне тогда никто не поверил. Так же, как лет двенадцать назад никто не поверил, когда я заявил: лет через пять Россия будет экспортером зерна. На меня смотрели как на идиота. А сейчас я говорю, что Россия через пять лет станет экспортером мяса!

Есть фундаментальные факты: с середины прошлого века мир прирастает на 80 миллионов человек в год. А дополнительно производимого продовольствия хватает только на половину прироста — на 40 миллионов. Вторая половина пополняет списки, как минимум, недоедающих. Или голодающих.

Долгое время это никак не выливалось в спрос на мировом рынке по одной простой причине: бурный рост населения наблюдается в слабообразованных странах. А в развитых странах — наоборот.

Но на рубеже веков Китай начал богатеть, Индия... Народ, который раньше был неплатежеспособен, теперь приходит в магазин и спрашивает: «Дайте то, дайте это!», что обернулось лавиной спроса, вылилось в тенденцию, которую мы наблюдаем уже более трех лет. Сокращаются конечные

запасы зерна в мире. Почему? Потому что темпы роста потребления хронически превышают темпы роста производства — закон очень простой. А конечные запасы — это главная движущая величина цены.

Я еще пять лет назад сказал: нам придется привыкнуть к более резкому колебанию цен на зерно. За это время нефть подорожала, и ничего — мы освоились, пережили. Так же придется привыкнуть к ситуации с зерном, к новым планкам цен. В конечном итоге на ближайшие годы у нас есть возможность включения выведенных из оборота посевных площадей.

Не секрет, что с 70-х годов прошлого века в России количество посевных земель постоянно сокращается — из оборота выпало 35 млн. га. Для сравнения, сегодня мы засеваем 43 миллиона гектаров — только зерновыми, а сеяли 78. Все эти площади можно вернуть. Можно двинуться и на некогда не освоенные площади. Но главный наш потенциал не в этом, а в урожайности.

Мы можем с помощью технологий увеличить урожайность в разы. Сейчас средняя урожайность — двадцать с копейками центнеров с гектара — две тонны. Если мы посмотрим европейскую урожайность — среднюю, опять же, — то мы обнаружим, что у них средняя урожайность колеблется где-то около 80 центнеров с гектара — восемь тонн против наших двух!

В Америке существует программа сокращения посевных площадей, вызванная кризисом перепроизводства. В последние годы, в связи с резким подъемом спроса, американцы перестали финансировать непосев кукурузы, что привело к рекордным урожаям. Теперь, если американцы задействуют все свои земли, то они дополнительно будут производить 100 миллионов тонн продукции. Но мировые площади все равно быстро исчерпаются, тогда слово — за Россией.

### **О «ГРЯЗНОМ» НАВОЗЕ И «ЧИСТЫХ» ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ**

Я вообще смотрю на многие процессы, которые в мире происходят, очень скептически. Большинство ведь руководствуется рекламными роликами, не задумываясь о сути. А так как в этой сфере я профессионально обязан быть дотошным, то копаюсь

глубоко. И что выясняется? Например, существует программа «Organic foods», контролирующая качество продуктов. И по результатам контроля за производственным процессом предоставляется право использовать бренд «Bio». Ну и декларируется, что под этой маркой выпускается только «чистая» продукция.

Так ли это? Рассмотрим, что такое требования «Organic foods»? В них, в частности, сформулирован не отказ от применения химии как таковой, а тот уровень понимания и знаний по химии, который зафиксирован сто лет назад. То есть возводится в эталон так называемый традиционный фермерский способ производства — столетней давности. Архаичные технологии! И именно за их соблюдением налажен строгий контроль, что вроде бы дает чистую продукцию. Но, к примеру, специалистам отлично известно: самым сильным поставщиком нитратов в растения из всех удобрений является старый добрый навоз! Использование которого намертво закреплено в этих «чистых» технологиях. Выходит, если все унавоживать, вместо использования современных препаратов, то получится более чистая продукция? Я знаю, что это НЕ ТАК. Это неправда! Самые современные технологии — при условии жесткого их соблюдения! — дают на выходе самую чистую продукцию. Это — объективный закон. Чем архаичнее технологии, тем грязнее продукция.

При архаичных технологиях меньше производительность, поэтому «чистая» продукция дороже стоит. Притом в ней больше вредных веществ. Другой вопрос, что — да, есть изменения в полезных свойствах продуктов при современных технологиях. Но давайте разделим тогда: что мы контролируем? Когда мы говорим об опасности и вреде, то современные технологии дают однозначно меньше вреда. А «чистая» продукция более опасная, но и более полезная. То есть полезные свойства и безопасность — разные вещи!

Но мы не сообщаем это потребителю. Мы объясняем: «Да, там в силу архаичности технологий больше полезных свойств». Может быть. Так как продуктивность меньше, а подпитка из почвы одна и та же, то в результате полезных свойств на выходе больше. Но ведь и вредных больше! А никто об этом не предупреждает. И я как рядовой потребитель, выбирая



продукцию, однозначно выбираю ее не по полезным свойствам, а по уровню вреда — по безопасности! И уже из корзины безвредной продукции я буду выбирать более полезные свойства — только тогда, когда буду уверен, что вся продукция, которая мне предложена, безопасна.

Возможно ли сочетать одно с другим? Контроль над безопасностью вроде как продекларирован, но это — лишь декларация. Представьте себе, как, например, можно определить остаточные пестициды в растении? Они же не запрещены в «Organic foods», просто их перечень ограничен архаичными. Единственный способ определения — знать конкретный пестицид и сделать на него анализ. Мы сегодня в России практически все наше зерно производим устаревшим способом. Посмотрим в реестр Минсельхоза и обнаружим там три тысячи наименований пестицидов только зарегистрированных, не считая пяти тысяч, которые используются нелегально.

Что сегодня делает Россельхознадзор, когда ему надо что-нибудь проверить? Он запрашивает у владельца товара, который сам ничего не производил и через десятые руки его получил, что там внесено — какой пестицид? Рисуетса справка «от балды», в результате делается анализ на то, что нарисовано в справке. И, конечно, никто не обнаруживает никакого превышения допустимых норм. Вот такой контроль!

А как проконтролировать иначе? Что, все три тысячи анализов делать? Да это таких денег стоит — никому не по карману. Я уж не говорю о тех ядах, которые не зарегистрированы. Они же тоже используются. То есть реально проверить конечную продукцию на наличие допустимых доз невозможно. Да, контроль есть, требования есть, они сформулированы по каждому пестициду, но проверить это никто не в состоянии. И в результате никаких гарантий безопасности продуктов потребитель не получает. А когда выбирается архаичный способ производства, это автоматом ведет к повышению риска. И если контроль вдруг обнаружит где-то превышение каких-то норм, ну, тормознут этот продукт, владелец товара потеряет какие-то деньги. Но это же — единичный случай, а в массовом потоке есть закон: чем современнее технологии, тем меньше

риска.

И именно с этим связано, что не так давно ЕС принял директиву: включить в перечень продуктов, выпускаемых под маркой «Bio», то есть по программе «Organic foods», генномодифицированные продукты. Потому что в них риска меньше, и европейцы посчитали, что отказываться от современных технологий грешно. И теперь генномодифицированные продукты включены в перечень продукции, которая называется экологически чистой.

Хотя это бредовый термин: «экологическая чистота». Мы даже терминологию используем, не задумываясь о смысле. С точки зрения науки, самые экологически чистые продукты в природе — урановая смолка и асбест. Ничего нет чище их, так как эти вещества никак не влияют на окружающую среду, — вообще.

Мне возражат, что смолка и асбест — не продукты питания. А что такое «продукт питания»? Задумайтесь-ка. Это фекалии, не так ли? А то, что мы едим, правильнее было бы называть «продукты для питания».

## НАМ ОСТАЛОСЬ ПЯТЬ ЛЕТ ВОЙНЫ

В конечном итоге, «запудрили мозги» народу, и по поводу генномодифицированных продуктов в том числе, очень сильно. Делается это средствами массовой информации при поддержке большого интереса химической промышленности. Все эти страхи перед ГМП — это экономическая война, всего-навсего. Причем война, которая однозначно будет проиграна сторонниками запретов, вопрос только в сроках. Это мы уже проходили. Ведь аграрный сектор — самый консервативный из всех секторов экономики. В нем практически никогда не случается революций; за всю историю сельского хозяйства случилось всего лишь две.

Революция ведь чем отличается от эволюции? Эволюция ничего не уничтожает. А революция что-то умерщвляет, что-то начинает отмирать, с приходом нового старое уничтожается. Первая революция была в начале XX века, — за всю историю сельского хозяйства! — когда на поля вышла техника и отменила ко-

неводство. И если вспомнить те времена, то трактор тогда называли «железный дьявол». Крестьяне во всем мире поначалу с вилами ходили на трактор. Сейчас же против него ни у кого нет возражений, хотя он по-прежнему и землю давит, и солярку льет, и т.д.

А вторая революция — биотехнологическая, потому что она, уничтожив химию на полях, фактически уничтожила агрохимическую промышленность. Из всей агрохимии остался один препарат — глифосат, который используется при выращивании трансгенных растений. Соответственно, производители глифосата и занимались разработкой трансгенных растений. А вся остальная линейка умерла, оказалась не нужна. И в конечном итоге войной «за» и «против» трансгенных растений движет экономический интерес. Сельскохозяйственная химия, естественно, не хочет умирать, организует поход против трансгенов, чтобы их как можно меньше потребляли, как можно больше производили традиционными технологиями и спрашивали эту химическую продукцию. Движущие мотивы понятны. А раздутый PR... Надо понимать, что в России с противоположной стороны никого нет. В отличие от других стран, даже Европы, которая сеет на своей территории и имеет соответствующих производителей, в интересантах с другой стороны.

Да, весь этот шум в СМИ — всего лишь экономическая война. Но надо понимать, что нам осталось совсем недолго — максимум лет пять этой войны с трансгенной продукцией. И шансов у нас выиграть — ноль. И у России — тем более. Европейцы под воздействием общественного мнения вводили ограничения в этой области. Но, сообразив, что начинают отставать от мирового прогресса, их быстро отменили.

Мы много читали, что в ЕС был мораторий, но мало кто знает на что. Везде вещали, что Европа запретила использование ГМП. Так вот, это — ложь, вранье! Европа запретила этим мораторием сеять на своей территории новые генномодифицированные сорта, оставив возможность и продолжая сеять старые сорта, существовавшие до момента введения моратория. То есть мораторием отказались от регистрации новых сортов — и все. Причем все время действия моратория продолжали на своей территории не только потреблять,

но и сеять запрещенные сорта. А у нас считается, что это был глобальный запрет.

Сегодня на территории Российской Федерации не разрешено сеять ни одно генномодифицированное растение. Но от их использования россияне отказаться не в состоянии. Причина очень простая: мы не производим в достаточном количестве собственного сырья для животноводства — такого, как соевый шрот и иже с ним. Если мы запретим их ввоз, то резко сократим объем животноводческой продукции. Так что за милую душу едим мясо, выращенное на генномодифицированной сое, хотим мы этого или нет. Не хотим — придется всем стать вегетарианцами...

А через пять лет мы и от посевов никуда не денемся. Только разница будет выглядеть таким образом: либо мы официально легализуем посевы на российской территории генномодифицированных растений и наладим систему контроля над ними, либо они будут просто нелегальными. По моим оценкам у нас уже порядка 15 тысяч гектаров засеяно на Кубани генномодифицированными сортами пшеницы, привезенными из Украины. На Украине же — больше в десятки раз, хотя там тоже все запрещено. И на Амуре у нас сои этой модифицированной, привезенной китайцами в карманах, понасеяно изрядно. Мы не знаем сколько, потому что нет системы регистрации, нет системы контроля, нет разрешения на посев. То есть мы однозначно пойдем бразильским путем: до тех пор, пока не легализуем посевы и не наладим систему контроля. Легализация и контроль — вещи взаимосвязанные. Пока существует запрет, никакой системы контроля на территории нет.

### **ЕСЛИ НА КЛЕТКЕ СЛОНА УВИДИШЬ НАДПИСЬ**

Меня называют трансгенным лоббистом. А мне некого защищать, я по профессии лоббист, я разобрался в этом вопросе как член комиссии по генной инженерии, общаюсь с наукой — и поэтому сведущ. В Российском Зерновом союзе не состоит ни одного производителя трансгенной продукции, у меня нет заказов на защиту интересов в области трансгенной продукции. Мною движет лишь мой здравый смысл, я рассуждаю как потребитель.



Как потребитель я требую маркировки на трансгены. Почему? Потому что хочу прийти в магазин и выбрать на прилавке именно трансгенную продукцию. Ведь я знаю, что она менее вредна. Она, может быть, и менее полезна, но она менее вредна точно, гарантированно! И я, в отличие от рядового потребителя, об этом знаю. И я как потребитель для себя и своей семьи — ни для кого-то там — добиваюсь маркировки на трансгенные продукты.

Мы ведь информацией не обладаем: то, что доносится до нас через СМИ, мы воспринимаем как истину в последней инстанции. А СМИ всегда лоббируют чьи-то интересы. У СМИ сегодня два интереса в освещении этой темы: один — это деньги, которые реально платятся сторонниками запретов. Ничего не имею против этого бизнеса, только давайте называть вещи своими именами. И второй интерес — это так называемый «жареный факт», увеличивающий количество продаж. То есть в шуме заинтересованы и СМИ, и те, кто варятся около СМИ, политики например. Для них это удобный инструмент продвижения своего имиджа в электорате.

А что имеем в реальности? Давайте сопоставим. Американцы после разрешения на посев или использование того или иного трансгенного растения не контролируют его дальше вообще. Никакой системы контроля в обороте! На магазинных полках, на упаковках никакой маркировки! Они что, это сделали для нас, чтобы нас как-то подкосить? Нам ведь СМИ лапшу на уши вешают: мол, все это произведено, чтобы отравить российский народ. Американцы САМИ уписывают эти трансгены за обе щеки уже последние 20 лет. И толстеют они, конечно, от привычки к фаст-фуду, а трансгены тут ни при чем.

Американцы — самая сутяжная в мире нация — засудили табачные компании на миллиарды долларов за вред, нанесенный организму, хотя предупреждение — на каждой пачке. И что вы думаете? За 20 лет не то что ни одного выигранного, а даже поданного иска нет на трансгены! Задайтесь вопросом — почему? Там что, нет интересантов? Нет того, кто бы захотел денег заработать на этом? Да навалом. Но просто нет ни одного доказанного факта вреда трансгенов для человеческого организма. Ни одного! Значит, не за что

зацепиться, суд не выиграть. В табаке-то есть факт вреда, и что бы там ни писали на пачке, ты пошел в суд, доказал, что тебе вред нанесли, и выиграл. Получил денег.

А почему китайцы ничего не маркируют? Почему они вкладывают миллиарды долларов в развитие трансгенов? Они что, глупее нас?

Но, пожалуй, один из самых красноречивых фактов: все трансгенные технологии, которые сегодня существуют, меньше всего используются в сельском хозяйстве! Всего лишь 10%. Еще 20% задействовано в промышленности: это хлопок и прочее, что мы не едим. И 70% — лекарства! Весь инсулин в РФ стопроцентно генномодифицированный, но ведь никто же не воюет против лекарств. Никто не кричит, что у нас на полках аптек сплошные генномодифицированные лекарства. Потому что в производстве лекарств нет сельхозхимии, некому воевать против. Да никому и в голову не придет: мы же не можем отказаться от этого инсулина, тогда у нас множество людей просто умрет.

## ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ... КУКУРУЗЫ

Сравните элементарные вещи, задумайтесь: что мы едим? Посмотрите на прилавок: мы не едим ничего природного. Ничего, абсолютно! Кто, к примеру, видел дикую кукурузу? Никто — у дикой просто НЕТ початков. Та кукуруза, которой мы питаемся, — это искусственно выведенное растение. Все, что у нас на столе, выращено с использованием культурных процессов. Единственное, что может оказаться истинно природным, — это дичь с абсолютно диких территорий, но не с охотхозяйств, где кабанов подкармливают зерном. Еще — морская рыба, в какой-то степени: ведь в водоемах так или иначе присутствуют следы человеческой деятельности. Вы думаете, в магазине покупаете лосося, карпа, форель из открытых водоемов? Ничего подобного! Вы покупаете продукт человеческой селекции, разведенный в садках. Экологи говорят, что нельзя добывать в открытых водоемах больше 95 млн. тонн рыбы, иначе наступит экологическая катастрофа. Сегодня добывается 94 тонны, остальное поставляют закрытые водоемы за счет искусственного разведения. Так что насчет рыбы тоже не



надо питать иллюзий. Может быть, сойдут за действительно натуральную пищу грибы, ягоды, орехи из тайги — не пригородной лесополосы. Все остальное — это продукт человеческой деятельности.

Если вы сравните генную структуру одного яблока и другого, с этой же яблони, даже с этой же ветки, вы обнаружите в них различие. Так и мы, люди, генетически относимся к одному и тому же виду, но при этом у нас генная структура разная. Так как генные различия сама природа и создает. Нет ничего такого в мире, что полностью совпадало бы по генной структуре.

Итак, все, что мы сегодня на столе имеем, — это селекционные достижения. О прививках мы сказали. Главные методы в селекции, которые сегодня используются для изменения генных структур, для приобретения полезных признаков, — это химия и радиация. В обычной селекции они используются, а не в генной инженерии — химия и радиация! И мы все это едим. И не пугаемся того, что изменения генной структуры этими способами в поколениях как-то там скажутся.

ВСЕ мировое животноводство базируется на трансгенной сое. И никто в поколениях не умирает — ни коровы, ни свиньи, ни птицы. Наоборот — сохранность выше, чем при кормлении обычным рационом. А в мясе ни одним анализом нельзя обнаружить, трансгенной соей кормили животное или нет.

Человеческий организм носит в себе минимум пять килограммов бактерий. Как только эти бактерии получают пищу — съели вы что-нибудь или просто нырнули, купаясь в реке, они автоматом начинают активно работать и... производить мутации! То есть изменять генную структуру. Вы боитесь этого? Нет. Вы же не кричите, что от купания в реке вы начинаете фатально меняться. С точки зрения любого нормального ученого те страшилки, которыми всех пугают СМИ, — это просто маразм.

Есть доклад Всемирной организации здравоохранения, выпущенный в 1995 году. Он написан на основе десятилетних исследований воздействия трансгенных растений на человеческий организм. Главный вывод доклада сформулирован таким образом: ни одного риска, превышающего риск потребления обычных растений человеческим организмом, в трансгенных

растениях нет! Сформулировано очень точно. Если возникает вопрос: достаточно ли десятилетнего срока исследований, то отмечу, что ни одно лекарство не проверяют более десяти лет, чаще — менее, так что срок более чем достаточный.

Возьмем для примера самый рядовой продукт — свеклу. Для того, чтобы ее вырастить, требуется от 14 до 20 видов ядов: так как она низкорослая, ее сорняки легко забивают, эти сорняки надо пестицидами травить, иначе урожая не будет. А если высеять трансгенную свеклу, то требуется только один химикат — глифосат. Это препарат, которым посыпают железнодорожные пути, чтобы уничтожить всю растительность между шпалами. Ученые нашли ген устойчивости к глифосату у тех особо стойких растений, которые все-таки умудрялись возле шпал выжить. И внедрили этот ген в свеклу. В результате достаточно посыпать поле глифосатом, все сорняки уничтожаются, а трансгенная свекла выживает.

Токсичность глифосата меньше, чем у поваренной соли, период полураспада — 12 дней. А через 120 дней вы не найдете в почве ни одним анализом никакого следа от глифосата — он полностью распадается. А с остальными пестицидами, думаете, так же благополучно? Ничего подобного: в этой «свекольной» наборочке от 14 до 20 есть яды, которые накапливаются столетиями! А что это означает? Вот посыпали на поле этим ядом, допустим, в засуху, водичкой его не размыло, он не сработал. На будущий год еще раз посыпали, дождь его размыл, и готово — поставили в растение двойную дозу отравы. Получили гарантированное превышение допустимой нормы даже при соблюдении всех технологических параметров. В итоге если сопоставить конечную продукцию — трансгенную и обычную, то в первой рисков будет намного меньше.

Вообще, надо больше знать, учиться сопоставлять полученные знания и заставлять себя — хоть изредка — думать. Общеизвестно, что у нас со свиньей 60% общих генов. А геном кукурузы, к примеру, содержит в три раза больше генов, чем геном человека. Но именно человек разводит и свиней, и кукурузу, а не наоборот. Потому что обладает разумом. Который должен быть сильнее наивных «страшилок» и грубо состряпанных мифов.

## Вкус к жизни

---

*К мировым кризисам большинство россиян относится очень спокойно, если не сказать равнодушно. Что нам до падения индекса NASDAQ или до нервной кардиограммы Доге Jones, когда за последние двадцать лет мы пережили и дефолт, и кардинальную смену государственного устройства. В общем, нашу нервную систему биржевыми сводками не пробьешь. «Были бы хлеб да картошка, а там где наша не пропадала», — рассуждает среднестатистический россиянин. Вот только с хлебом и картошкой в последнее время тоже не все стабильно. Цены на продукты питания неуклонно растут, и разговоры о продовольственном кризисе можно услышать даже на скамейке у подъезда. Неужели земля-матушка уже не в состоянии прокормить свое семимиллиардное детище — человечество — и ресурсы плодородия исчерпаны?*

*О продовольственном кризисе, о несъедобных продуктах и о том, чем будут питаться наши внуки лет через сто, Татьяна Семеновна разговаривала с руководителем научно-исследовательского предприятия «БиоИнком», занимающегося разработкой технологий экологического земледелия, В. И. Кузнецовым. Вячеслав Иванович дал, пожалуй, самую позитивную оценку происходящему, буквально с порога заявив, что:*

### КРИЗИС — ЭТО ХОРОШО

Потому что он заставляет критически взглянуть на все, что сделано, и искать новые — более правильные — пути. Посмотрите, современное сельское хозяйство больше напоминает затянувшуюся войну, нежели мирный труд. Аграрии постоянно воюют то с сорняками, то с вредителями, то с природными катаклизмами. Словосочетание «битва за урожай» стало расхожим определением крестьянского труда, а трофеем, завоеванным в этой битве, выступает невкусная, а зачастую и небезопасная для здоровья продукция. Современные дети уже и не знают вкуса и аромата настоящих огурцов или яблок. Постоянная погоня за большими объемами и прибылью обернулась потерей питательных и вкусовых свойств овощей и фруктов. Если тенденция будет развиваться, то скоро в магазинах наряду с кормом для собак и кошек мы будем покупать корм для людей. Но дело не ограничивается прихотями гурманов, проблема давно переросла рамки кулинарии, люди утрачивают интерес к самой жизни. Посмотрите на сытый благополучный Запад: сколько суицидов, отклонений в психике. А все потому, что западный, а в общем смысле потребительский

образ жизни, образ мысли противоестествен. Общество потребителей живет по закону «как можно меньше отдавать, как можно больше получать» — в результате образуется колоссальная энергетическая воронка, в которую попадает и сам человек. На Западе все попытались рационализировать, ввести в рамки закона, а оказалось, что на каждую заковырку инструкцию не придумаешь — всю природу в законодательную сферу не загонишь. Должна быть нравственность, духовность, Бог — кому как нравится, пусть так и называется.

Природа так устроена, что для того, чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. Простите за грубость примера, но для того чтобы ощутить кайф расслабления, нужно перед этим попотеть, поработать. А потом растянуться на травке — хорошо. А если целыми днями жевать и развлекаться — ничего, кроме апатии и скуки, взамен не получишь. Выходит, что «сладкая жизнь» заглушает вкус к самой жизни. Так что, на мой взгляд, бесперспективно пытаться преодолеть продовольственный или финансовый кризис без понимания того, что первопричиной является крах потребительского мировоззрения, ущербность мира, построенного только на коммерческом интересе. Чтобы

выбраться из затяжных катаклизмов, нам придется пересмотреть свое отношение к миру, сверить существующие ныне ценности с духовными критериями.

И экологическое земледелие — это нравственное земледелие, оно не дает сверхприбыли за счет истощения ресурсов земли. Но и не противоречит экономическим законам. Что интересно, грамотное экологическое земледелие, основанное на использовании безопасных биопрепаратов, рентабельнее и выгоднее, чем традиционные агротехнологии. Уже на практике доказано, что экологическое производство оптимально для наших российских условий, — у нас огромное количество пахотных земель, богатая черноземом почва.

### **УРОЖАЙ – БОЛЬШЕ, ПРИБЫЛИ – МЕНЬШЕ. ПАРАДОКСЫ СОВРЕМЕННОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА**

Сегодня российскому крестьянину, фермеру навязывают западные технологии возделывания земли! Зачем? Чтобы якобы получать больше урожая и, следовательно, больше прибыли! Но больше урожая не всегда означает больше прибыли. Европа, чтобы получать свои сверхурожаи, давно подсела на химическую иглу. Ежегодно фермеры увеличивают на 10 процентов количество химических и минеральных добавок в почву, чтобы получить прежние 80 центнеров с гектара. Говорить о натуральности этой продукции смешно, как, собственно, и об окупаемости. Себестоимость зерна выше продажных цен, просто разницу покрывают государственными дотациями.

Сельское хозяйство как на Западе, так и у нас положили на алтарь индустриализации. После того как крестьянство ушло в города и рабочих рук в агросекторе стало катастрофически не хватать, попытались работу с землей упростить. Нет рук для прополки — вот тебе гербициды, полил — и убил всю траву. И пошло по нарастающей... Теперь картошку, выращиваемую по голландской технологии, подвергают химической обработке 12–13 раз. И даже перед уборкой урожая опрыскивают, чтобы химически сжечь все листья и стебли. И не нужно рабочих рук — машина собирает чистые клубни. А чем они «накачаны», это

уже не проблема фермера. Из сельского хозяйства сделали конвейер. Например, западному фермеру заранее рассчитывают количество ядохимикатов, которые он обязан влить в землю. Каждый выполняет свою операцию. И не нужно думать. Между тем сельское хозяйство имеет дело с живым образованием, с землей, каждое поле уникально. А все стандартизовали, и теперь самую большую прибыль в сельском хозяйстве получают не производители товара и даже не перекупщики, а маagnаты агрохимии. Они не скупаются ни на рекламу, ни на откаты чиновникам, лишь бы сберечь свой «кусочек пирога». Поэтому экологическое земледелие нужно пропагандировать и продвигать, доносить до аграриев правдивую информацию.

Мало кто знает, что под Пензой есть товарищество «На вере», возглавляет его опытный хозяйственник Шугуров. С 1984 года он демонстративно отказался от применения органических и минеральных удобрений, а также от всех гербицидов, пестицидов и ядохимикатов. У него традиционная для России трехпольная система. Основной вариант чередования культур таков: первый год — чистый пар, выполняющий важные санитарные функции — очистку поля от сорняков, вредителей и болезней. На второй год отдохнувшее под парами поле засевают озимыми, на третий — яровыми. Потом цикл повторяется. И он получает 35–40 ц с гектара. Себестоимость зерна у него ниже за счет экономии на дорогостоящей и зачастую вредоносной агрохимии. Рентабельность производства зашкаливает за 300%, в то время как по России отличным показателем считаются 50%. Но зерно, которое производит Шугуров, должно, а вскоре и будет стоить в разы дороже, поскольку во всем мире интерес к натуральной, безопасной, проверенной веками продукции растет. Покупатели уже на своей шкуре почувствовали, что такое насыщенные химикатами плоды и ягоды. Мы уже собрали первый «урожай» в виде роста кривой больших онкологией, бронхимальной астмой и так далее.

Недоверие покупателей к генномодифицированной продукции тоже можно понять. Ученые говорят: «безопасно», потому что в теории должно так быть. А как будет на практике, как среагирует на эту продукцию человеческий генофонд, неизвестно, мы об этом сможем судить через 10–20 поколений,



если, конечно, не выродимся. Тоже вопрос.

Генномодифицированный семенной материал не решает всех проблем и для крестьян. Можно ввести ген сопротивляемости к какой-то болезни; ну не будет повреждено растение мучнистой росе, так на это место сядет другая болезнь. Растение хорошо развивается, если имеет крепкий иммунитет — устойчивость и к жаре, и к засухе, и к вредителям, — на все факторы новые гены не поврубашь. Да и зачем, когда существуют в природе свои отработанные механизмы, запускающие и рост, и плодоношение. Одним из таких механизмов, или сигнальных веществ, являются гуминовые молекулы. Растения миллионы лет росли и формировались на гумусе и научились использовать гуминовые молекулы не только для питания, но и для строительства своей структуры, а освобожденную энергию пускали в рост, цветение и т. д. Сформировалась четкая взаимосвязь: когда гумуса достаточно в почве, растение активизирует все свои лучшие свойства. Оно будет давать гарантированную прибыль, без вреда для экологии земли и здоровья потребителей.

Земля не прощает насильственного обращения с ней и жестоко наказывает за ошибки. Только задумайтесь: экосистема отлаживалась миллионы лет, устанавливались тонкие связи и взаимодействия между несметным количеством живых организмов — грибами, бактериями, растениями, насекомыми. Как вы думаете, почему корни у растений сладкие? Вовсе не для того, чтобы ими лакомились люди! Растение подкармливает почвенную микрофлору, и вокруг корней образуется целая колония полезных бактерий, микроорганизмов, которая и крошки природных минералов, и пыль перерабатывает в удобоваримое для растений блюдо. А потом пришел человек и решил, что все, кроме него, дураки и он лучше знает, что и как делать. И стал ежегодно протравливать поле по 10–12 раз различными ядохимикатами, а на следующий год вновь ядохимикатами. Естественно, что в почве не то что дождевых червей, но и органики не осталось. Поэтому сельскохозяйственные культуры, выращиваемые на такой безжизненной земле, просто ведрами приходится кормить удобрениями. Растение изъяли из природного взаимобмена, и оно тоже стало потребителем, эгоистом. Что же получается: по сути, человек сам

паразитирует на земле и формирует вокруг себя паразитов! Насколько долго природа сможет терпеть эту аномальную дисгармонию, не знаю.

## **О ФИТОСЕЛИУСАХ И ДРУГИХ «ГАДАХ», БЕЗ КОТОРЫХ НЕ ВЫЖИТЬ**

Верю ли я в эффективность экологического земледелия? У слов «вера», «доверие» и «проверка», как мне кажется, изначально один корень, не случайно же есть пословица «Доверяй, но проверяй». Научно-внедренческое предприятие «БашИнком» уже 20 лет занимается созданием экологически безопасных и рентабельных технологий и постоянно проводит сбор и обработку данных, сотрудничает с более чем пятьюдесятью научно-исследовательскими институтами. Мы работаем в разных климатических зонах, наши экспериментальные площадки расположены от Оренбурга до Краснодара, а также в республиках Средней Азии, в Казахстане, Китае, в странах Западной Европы. И мы уже на практике доказали, что применение экологических технологий не уступает, а зачастую и превосходит традиционные агротехнологии, основанные на применении ядохимикатов. И совершенно незаменимы в тех случаях, когда применение ядохимикатов запрещено. Например, во время уборки урожая: есть культуры (помидоры, клубника и др.), у которых этот период достаточно длительный, и за недели, пока идет сбор плодов, может погибнуть добрая половина урожая. Тут и приходят на помощь экологически безопасные технологии.

Сейчас для защиты урожая от гнилей и бактерий применяют экологический препарат биофунгицид фитоспорин. У него гениальная и в то же время очень простая история создания. В далекие 70-е годы старший научный сотрудник, а ныне доктор сельскохозяйственных наук, профессор М. Я. Менликеев наблюдал поле хлопчатника, пораженное фитоспорозом, и среди гибнущих растений заметил несколько здоровых, хотя тесный контакт с больными растениями и большая площадь поражения должны были сразить все особи. Заинтригованный необычайной устойчивостью, Менликеев собрал эти растения и отпра-

вил их в Институт прикладной сельскохозяйственной микробиологии, где и была выделена живая споровая бактериальная культура *Bacillus subtilis* 26Д. Оказалось, что она подавляет размножение многих грибных и бактериальных болезней. В идеале эта культура как полезная микрофлора должна быть у любого растения, но применение ядохимикатов и другие неблагоприятные факторы уничтожают ее, и растение остается с пробитым иммунитетом. Получается, что для того, чтобы победить патогенные грибы и бактерии, вызывающие болезни и гибель урожая, нет необходимости поливать это растение ядохимикатами, вставлять в него новые гены, достаточно восстановить баланс полезной микрофлоры – что и делает фитоспорин, созданный на основе *Bacillus subtilis*.

Или другой пример. Кто не слышал о знаменитых тепличных хозяйствах Туймазинского района? Ранней весной огурчики тепличников радуют не только жителей республики, но и северян, — десятки самолетов везут зеленые витамины работникам Крайнего Севера. Большинство этих тепличных хозяйств возникли после перестройки. Инженеры, учителя и другой люд, потерявший работу или не желающий горбатиться за мизерные зарплаты, пошел в тепличники. Не секрет, что этот бизнес в хорошем исполнении дает неплохую прибыль. Беда была только в том, что люди, избравшие эту стезю, в большинстве своем не имели ни опыта, ни агрономического образования. И, поверив рекламе производителей ядохимикатов, они стали активно поливать свои земельные наделы пестицидами и гербицидами, щедро посыпать землю различными удобрениями. В результате урожай если и вырастал, то вставал в «копеечку», продажи еле окупали затраты, а у покупателей формировалось стойкое недоверие к качеству тепличных огурчиков, которые через пару дней хранения напоминали скорее бактериологическое оружие, нежели продукт питания. Да и сами работники теплиц вскоре ощутили влияние ядовитых паров: аллергия, бронхиальная астма, онкология стали чуть ли не профессиональными заболеваниями. Выжили и в прямом, и в переносном смысле те, кто не только старательно изучали рекламные буклеты, но и читали серьезную научную

литературу, на практике проверяли различные схемы работы. Несколько лет назад и «БашИнком» предложил тепличникам свою агротехнологию, основанную на разумном сочетании химических и экологических средств защиты. На сегодняшний день научно-исследовательское предприятие ведет десятки тепличных хозяйств республики, это более 500 га закрытых площадей. Проводит комплексный мониторинг почвы, риска зараженности и т. д. Пропагандирует, доказывает, что можно получать отличные урожаи без химии.

К примеру, настоящий бич теплиц — паутинный клещ, от него может погибнуть до 70% урожая. Причем химическая обработка самыми сильными ядохимикатами приносит лишь временную победу, яйца клеща никакими средствами не уничтожаются, поэтому протравливание приходится повторять чуть ли не еженедельно. Между тем в природе существует антагонист вредителя — фитоселиус, который питается этим клещом, не наносит никакого вреда ни урожаю, ни людям. Достаточно запустить популяцию фитоселиуса в теплицу, чтобы он на протяжении всего периода держал паутинного клеща под контролем, не допуская его размножения. Просто и безвредно!

Почему же, при всей очевидности прогрессивных экологических технологий, они все еще слабо применяются в хозяйствах? Может быть, потому что все мы — потрясающе равнодушные люди, живем одним днем, не желяя, а может быть боясь заглянуть в будущее? Посмотрите, какие глобальные изменения в природе и в человеке произошли буквально за 50 лет. Климат меняется на глазах, катаклизмов, угрожающих человеческой цивилизации, становится все больше. А что происходит с людьми! Недавно прочитал, что количество сперматозоидов за двадцать лет у мужчин снизилось на 50%. А ведь виной всему наша тупость, лень и нежелание взглянуть правде в глаза. По моему разумению, человек сможет выжить, если перестанет относиться к земле потребительски. Поэтому если у нас и есть будущее, то оно за экологическим земледелием.

Так что нужно возвращаться к природе, нужно зарабатывать себе право на удовольствие, на вкус к жизни, да и на саму жизнь.

## ЕВДОШКИН ДЕНЬ

---

8 января, на второй день Рождества, устраивали раньше в деревнях бабкины каши, или Евдошкин день. В этот день бабушке-повитухе дети несли подарочек, а она, в свою очередь, угощала приемных внучат кашей да ласковым наставлением. Не зря говорили, бабка-повитуха в деревне всем родня дальняя. И в этом была своя правда, повитуху женщина знала задолго до родин и доверяла ей как матери. К самой повитухе предъявлялись особые требования: она не должна была быть бездетной или злой женщиной. Помимо принятия ребенка, повитуха совершала целый ряд обязательных ритуальных действий, от которых, по поверьям, зависела судьба человека. Повитуха была настолько почитаемым в общине человеком, что зачастую ее слово было решающим на деревенском сходе. Уважительное отношение к ней воспитывалось с детства.

Со временем служение повитухи заменилось работой акушерки. Вместо затемненной теплой баньки дети теперь появляются в ослепительно-белых, отделанных холодным кафелем стерильных родовых. И само понятие «повитуха», казалось, безвозвратно кануло в Лету, как и множество других не наших спросов ремесел. Но однажды на конференции, приуроченной к Году семьи, молодой невысокий докладчик, широко улыбаясь, представился: «Повитуха». Я даже как-то опешила, уж не фамилия ли? Оказалось, призвание.

Почему Ильдар Абузарович Зайнуллин, руководитель общественного регионального движения «Новое поколение», создатель семейного клуба «София», кандидат медицинских наук, всем этим авторитетным регалиям предпочитает архаическую «повитуху», я узнала, побывав на занятиях в семейном клубе «София» и поговорив с его руководителем.

### «ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕН!»

– А теперь родившуюся головку поворачиваем, высвобождаем плечико, и вот он!

Из горловины свитера появляется несколько смущенное лицо молодого мужчины, который только что сыграл роль младенца, – миниспектакль завершается аплодисментами. В семейном клубе такие действия разыгрываются на каждом занятии. Ведущие курса «Подготовка к родам» уверены, что чем подробнее будущие родители проиграют процесс родов, тем успешнее будут их действия в настоящем роддоме. Поэтому учатся всему: правильному дыханию, расслаблению, потугам...

– Предупрежден – значит, вооружен! – смеется руководитель семейного клуба Ильдар Абузарович. – А если серьезно, то мы зачастую наталкиваемся на достаточно

сильное сопротивление врачей, которые считают, что роженица – это пациент, поступила в роддом и выполняй приказания, за тебя уже подумали и решили, как будут извлекать ребенка. Из естественного процесса роды превратились в почти что операцию, с обязательным медикаментозным вмешательством, гарантированной послеродовой депрессией и нежеланием женщины более рожать.

А ведь женщина на родах должна быть королевой. Она дарит миру самое ценное – жизнь. И заслуживает уважительного и бережного отношения. А у нас на беременную смотрят как на неполноценное существо. Для работодателей женщина в положении – обуза, для врача – пациентка, даже для пассажиров в общественном транспорте – ходячий укор, вроде и место уступить надо, но так не хочется. Современным обществом утрачено традиционное культовое отношение к беременной

женщине как к высшему существу, проводнику новой жизни. Отсюда и страшная статистика аборт, и количественный рост неполных семей и отказников. Женщина сама перестала воспринимать беременность как чудесный дар. Между тем все большее подтверждение получает гипотеза, согласно которой не только здоровье, но и способности, успешность будущего человека зависит от внутриутробного периода развития. Если мама в период беременности не любила своего ребенка, не общалась с ним, относилась к беременности как к наказанию, то и рожденный ею ребенок будет воспринимать наш мир агрессивно. Так и появляются на свет люди, не умеющие выстраивать добрые, гармоничные отношения с мирозданием, с окружающими, с собственными родителями и детьми.

Поэтому, чтобы изменить общество, нужно пересмотреть свое отношение к нерожденному ребенку, перестать его воспринимать с приставкой «недо». Именно формирование перинатальной культуры, сопровождение семьей родов и является главной задачей, которую ставит перед собой региональное движения «Новое поколение».

Рождение ребенка – величайшее событие для человека любой расы и вероисповедания. Появление новой жизни и знаменует фактическое рождение семьи. А на деле риск развода сразу после рождения первенца стремительно возрастает. Ильядар Зайнуллин связывает этот факт с отсутствием отцовской культуры в обществе.

– У нас отцы находятся на обочине семейной жизни, проблемы беременности, родов, воспитания малыша их вроде как не касаются. Заработал на памперсы – и отдыхай, дорогой товарищ. На самом деле проблема гораздо шире, чем просто вопрос о разделении домашнего труда. Роли мужчины и женщины действительно разные: женщина рождает ребенка, отвечает за дом, мужчина же отвечает за социум, общество, в котором семья существует. И если мужчина родится как отец, то и общество станет более ответственным.

Многие считают роды вдвоем модным веянием, современным изобретением. На самом деле родовые корчи будущего отца встречаются в культурах практически всех

народов. Пока жена рожала, будущему отцу предписывалось тоже изображать родовые муки. А иногда не просто изображать. В некоторых областях России будущего отца отправляли на крышу или чердак, привязав ему за причинное место нитку, за которую во время схваток роженица дергала... Вот такие своеобразные роды вдвоем. Кстати, появившегося младенца сразу заворачивали в рубашу отца – считалось, что таким образом дитя обретает защиту от темных сил.

Отчуждение отца от родов произошло уже в советские времена: саггив жену в роддом, новоиспеченный папаша отправлялся праздновать, по сути оставался на уровне развития эгоистичного подростка, для которого развлечения и веселая компания дороже общения с собственным ребенком. С неподготовленности отцов и начинаются проблемы в семье, ведущие к разводу, в этом и кроется причина незрелости общества, которым рулят не мужи, а безответственные мальчишки. Только поймите меня правильно! Решение рожать вдвоем должна принимать каждая пара самостоятельно. И нежелание мужчины идти на роды вовсе не свидетельствует об отсутствии любви. Лучше, если муж заранее скажет «нет», чем вдруг начнет неадекватно вести себя в родовой палате. Муж на родах нужен для того, чтобы поддержать жену и определить первые минуты жизни своего ребенка. А готов он к этому, если пережил беременность вместе с женой.

Роды вдвоем, как и домашние роды, имеют своих сторонников и противников. Меня часто обвиняют в том, что я пропагандирую роды дома. Неправда! Я – за безопасные, комфортные роды. Конечно, домашние роды – это высший пилотаж родительской культуры, но идти на них можно только при совпадении целого ряда условий. Идеально, если бы семью на протяжении всей беременности вел один человек. На Западе таких специалистов называют медвайф, это человек, который хорошо знает семью, которому женщина доверяет, как доверяла раньше повитухе, с ним женщина проходит первый этап родов дома в спокойной, психологически комфортной для себя обстановке. А когда маховик схваток раскрутился и стал регулярным, медвайф сопровождает женщину в больницу, где служит неким буфером,



смягчающим больничную атмосферу. Мы сейчас работаем над тем, чтобы подготовить таких специалистов, современных повитух. Есть у нас и специальные занятия для успешных родителей, с одним из них, «Курсом молодого отца», уфимцы знакомы благодаря телеканалу «Вся Уфа», о другом не менее интересном проекте семейного клуба только начинают говорить. Это хор беременных.

### «НАМ ПЕСНЯ ЖИТЬ И РОЖАТЬ ПОМОГАЕТ»

Так говорят будущие мамочки, занимающиеся в хоре, созданном при семейном клубе «София». Познакомиться со своеобразным певческим коллективом меня пригласил руководитель клуба Ильдар Зайнуллин.

В назначенный час я шагала под проливным дождем по лужам и понимала всю беспешность своего визита: в такую погоду не то что беременные, но и завязтые меломаны вряд ли отважатся выйти из дома ради урока пения. Каково же было мое удивление, когда уютный зал с огромными резиновыми шарами вместо стульев заполнился до отказа. Не явилась только одна хористка, и то по очень уважительной причине: накануне у нее родился долгожданный сыночек.

– А мне Лена позвонила еще вчера, – делится с подругами молодая женщина. – Сказала, что все прошло просто замечательно, а Данилка поразил акушерку: «Да он у вас просто Басков, не плачет, а прямо арию выводит».

– Ну, девчонки, Уфе лет через двадцать одного оперного маловато будет. Сколько кадров готовим! – включается в беседу руководительница хора Екатерина. И часовое занятие начинается.

То, что хор «поющих животиков» особенный, я, конечно, предполагала, но лучше один раз увидеть, а в нашем случае услышать, чем пересказывать. Невозможно передать словами энергетику любви и нежности, которую излучают будущие мамочки, исполняя песенки своим малышам. Поглаживая животики, пританцовывая, улыбаясь на ответные сигналы, они еще до рождения выстраивают крепкий мостик хороших взаимоотношений с самыми до-

рогими для себя человечками.

– Не тяжело целый час петь, все-таки нагрузка? – беспокоюсь я.

– Конечно, нет! Пели бы и пели, – смеются хористки.

Жаль, что занятия не каждый день. А ведь скоро выступление.

И правда, как и любой хор, коллектив «поющих животиков» тоже дает концерты. Правда, аудитория у них своя – роддома, семейные клубы, детские праздники. Успех и признание везде. Только не насладишься ими в полной мере, успевают выступить лишь несколько раз. Такова специфика хора, каждые девять месяцев полная смена состава. Но руководителей ансамбля такая текучка только радует. По их наблюдениям, женщины, посещавшие хор, рожают здоровых, крепких малышей, и осложнений при родах у певуний гораздо меньше. И это не удивительно. Пение не только улучшает психологическое состояние женщины, но и служит хорошим дыхательным тренажером. А правильное дыхание – действенный способ борьбы с внутриутробной гипоксией плода. Исполняя простейшие песенки, будущая мама незаметно для себя занимается подготовкой к родам, получает приятную и полезную физическую нагрузку.

О благотворном влиянии пения на беременную женщину и плод знали еще в древности. Более 2000 лет назад в Китае беременным женщинам предписывалось многочасовое пение. На Востоке считали, что будущая мама тклет душу ребенку из музыкальных нитей своего голоса. В Японии беременных женщин отправляли в специальные общины, расположенные в живописной местности, где они занимались эстетическим и музыкальным образованием.

Современный ритм городской жизни, необходимость заниматься не только домашним хозяйством, но и профессиональной карьерой изменили традиции. О том, чтобы на девять месяцев изолировать будущую маму от реалий и стрессов, теперь не может быть и речи. Женщины стали меньше рожать, а беременность и роды из естественного состояния превратились в медицинскую проблему. О том, что нужно петь, любоваться прекрасным и общаться со своим нерожденным чадом, заговорили только тогда, когда получили научное обо-



снование положительного воздействия музыки на плод. В XX веке ученые с помощью современной аппаратуры доказали, что внутриутробный ребенок слышит все, что происходит внутри и вокруг мамы. Уже в четырнадцать недель плод реагирует на громкость и ритм звуков и выражает свое положительное или отрицательное отношение к ним. При помощи специального ультразвукового сканера ученые обследовали несколько сотен беременных женщин. Во время эксперимента каждые 15 секунд звучали разные отрывки музыкальных произведений, а прибор фиксировал мозговую активность еще не рожденного малыша. Было доказано, что внутриутробные дети не только слышат, но и эмоционально реагируют на ритмы, – под заводные мелодии они активно двигаются, «танцуют», под лирические успокаиваются и даже засыпают.

На вопрос, почему дети поющих мам талантливее и энергичнее своих сверстников, не посещавших внутриутробно музыкальные концерты, ученые смогли дать ответ только несколько десятков лет тому назад. Было замечено, что в мозгу у каждого новорожденного имеется определенный процент атрофированных нейронов. И ученые выдвинули гипотезу, что эти нейроны погибли вследствие их невосприимчивости в период внутриутробного развития. В связи с этим предположением заговорили о необходимости перинатального воспитания.

В России наибольшее распространение получила методика «Сонатал», созданная профессором М. А. Лазаревым. Название методики музыкального воспитания и оздоровления будущего ребенка произошло от двух латинских слов: «сонанс» – «звучащий», «натус» – «рожденный». «Сонатал» – музыка рождения, сотворчества мамы и малыша. По мнению М. Лазарева, материнский голос – это камертон, по которому настраивается мировосприятие ребенка. Мамин голос самый лучший. Еще не родившийся малыш слушает, как поет его мама, и проходит

самое первое и, может быть, самое важное в жизни обучение – уроки любви и взаимопонимания.

Методика «Сонатал», которую активно используют в семейном клубе «София», включает более 1000 различных песен: колыбельных, шуточных и даже познавательных. С помощью этих песенок будущие мамочки учатся настраивать своего малыша на сон, на двигательную активность, на хорошее настроение, с помощью песенок можно даже познакомить будущего землянина с устройством мира, в который он через несколько недель попадет. Десятки исследований женщин, занимающихся по этой методике, показали прекрасные результаты. Детишки, с которыми занимались по системе «Сонатал», практически не страдали тугоухостью, заболеваниями органов дыхания, значительно опережали своих сверстников в развитии, обладали развитым музыкальным слухом и хорошей памятью. Система «Сонатал» получила одобрение Минздрава РФ и признана как одна из самых удачных методик перинатального воспитания на Западе.

Но самым лучшим аргументом «за» являются все-таки сияющие глаза беременных хористок. Одна из них мне призналась: «Я сюда пришла по направлению из женской консультации. Думала, покажусь, отмечусь и больше не приеду – далековато, да и дел дома невпроворот. А попела, и на душе стало так легко, как будто ангелы с колокольчиками все-все заботы разогнали».

– А мы ради этого и работаем, – говорит Ильдар Зайнуллин. – Гениальный ребенок с абсолютным музыкальным слухом не самоцель, а приятное дополнение. Главное, чтобы уже сейчас, до рождения, между мамой и малышом установился тесный эмоциональный контакт, тогда и отказников и послеродовых депрессий не будет. Наша цель одна – счастливая мама и здоровый малыш, и если пришедшая к нам женщина стала больше улыбаться, я считаю, что мы свою задачу выполнили. Ведь когда улыбается беременная – смеется душа ребенка, и нет ничего прекрасней на свете.



*Глава Администрации Демского района г.Уфы Зыфар Хакимов*

## ВОСПИТАНИЕ – ЭТО ОБОЮДНЫЙ ПРОЦЕСС

Вас никогда не удивляло, что человечество за свою историю добились огромного технического прогресса, но так и не смогло решить проблему взаимоотношений отцов и детей? Сегодня мы создаем сложнейшие технические устройства, осваиваем космос, но так и не смогли постигнуть искусство семейных взаимоотношений. И если люди из поколения в поколение наступают на одни и те же грабли в таком вроде бы обычном занятии, как воспитание детей, не означает ли это, что данная проблема является одной из самых сложных?

Все когда-то были детьми, и у каждого есть пример своей семьи. Сегодня, когда мы сами стали отцами, некоторые уже и дедушками, можно сформулировать, за что мы благодарны своим отцам и чего нам не хватало от общения с ними.

Вспомните, как в детстве мы переживали, когда ссорились наши родители, как гордились, когда папа называл маму самой лучшей на свете, как радовались, когда всей семьей делали общее дело. Может быть, не все и не всегда получалось у наших родителей, но чувство благодарности за их участие в нашей судьбе, за помощь в решении проблем живет в сердцах. Сегодня мы по-своему воспитываем своих детей и надеемся, что они так же будут нам благодарны, как и мы своим родителям.

Совершенно очевидно, что атмосфера любви и согласия между родителями – главное условие воспитания счастливого ребенка. Именно отец своим уважительным, нежным отношением к жене должен утвердить ребенка в мысли о том, что его мама самая лучшая, умная и красивая, что она достойна любви и восхищения. А мама постоянно должна подчеркивать достоинства отца, поддерживать его безукоризненный авторитет в качестве главы семьи.

К сожалению, у многих мужчин сложился ошибочный стереотип, что новорожденное чадо требует минимального вмешательства отца. Ученые доказали обратное: не только грудной, но и внутриутробный ребенок чувствует атмосферу любви между папой и мамой, на генетиче-

ском уровне узнает отца, его привычки и пристрастия.

В реальной жизни современный папа для своего ребенка часто становится чем-то неуловимым и недоступным. Он уходит рано утром, целый день где-то «на работе» занимается чем-то важным, а вечером возвращается усталым. Его хватает только на компьютер и телевизор, живое общение с отпрыском сводится к минимуму. Он по инерции спрашивает, как у ребенка дела, выполнил ли домашнее задание, при этом даже не дожидается ответа, на ходу просматривает его дневник, оставаясь равнодушными к его содержанию. Так роль отца сводится к некой карающей инстанции. «Вот скажу отцу, он тебя накажет», – часто грозит мама. А ребенок хочет видеть в родителе самого близкого человека и надежного друга.

Такое отчуждение, устранение от воспитания детей, похоже, является типичным для нашей «культуры отцовства». К сожалению, в современном мире мужчины часто видят свой долг в обеспечении материального благополучия семьи – и это правильно, но этим роль отца в семье не ограничивается. Недостаток материальных средств воспринимается очень болезненно, но отсутствие отцовского воспитания может иметь для детей просто катастрофические последствия.

В настоящее время существует гипотеза, что все социальные катаклизмы как раз и происходят из-за того, что мы в своем подавляющем большинстве, даже находясь рядом со своими детьми, не имеем с ними близкого контакта. Мы отдаем их на воспитание в чужие руки. Родился ребенок – наняли няню, не думая о том, насколько готова она заменить малышу родительское тепло. Едва подросток – всеми путями стараемся отдать его в садик. При этом мало кого заботит, насколько комфортно чувствует там себя дитя. А потом начинаются 11 лет школьной жизни. И мы почему-то убеждены в том, что школа, учитель обязаны дать детям знания и научить их быть достойными людьми, более того – научить их нравственности.

Все заботы по дому мы перекладыва-

ем на наших любимых женщин, которые привыкают решать все проблемы сами. Безусловно, российская женщина может многое, но роль отца все-таки должен выполнять мужчина.

Впечатляют и заставляют задуматься результаты социологического опроса подростков, проведенного летом текущего года Центром социологических исследований России. Согласно статистике, дети, выросшие без отца: в 5 раз чаще совершают самоубийства; в 35 раз чаще сбегают из дома; в 14 раз чаще совершают изнасилования (мальчики); в 10 раз более вероятно станут наркоманами; в 9 раз более вероятно закончат свою жизнь в нищете; в 20 раз более вероятно закончат свои дни в тюрьме.

Российские психологи провели опрос школьников. На вопрос, с чем ассоциируются у вас мама и папа, дети ответили поразному, но по сути это звучит так: мать – источник любви и тепла, отец – источник силы и защиты, надежный, верный друг.

Дети, которые растут в неполных семьях, ответили на эти вопросы так же, но с другими эмоциями: кто-то с завистью, другие – с тоской, третьи – с обездоленностью. Для ребенка потребность в отце – как неутоленная жажда, а его отсутствие – почти открытая рана на всю жизнь. А теперь представьте, сколько таких обездоленных детей в России, если учесть, что только в Деме проживают 1153 неполных семьи, т. е. каждый четвертый школьник воспитывается без отца.

Не секрет, что институт семьи переживает кризис. В текущем году в Деме было заключено 422, а расторгнуто – 227 браков. Расставаясь с когда-то любимой женщиной, мы с легкостью производим в качестве оправдания фразы: «Не сошлись характерами», «Прошла любовь», и поступаем как эгоисты, потому что у детей к своим родителям любовь пройти не может.

Обращает на себя внимание и тот факт, что большая часть разводов приходится на первые пять лет совместной жизни, когда ребенок больше всего нуждается в чувстве защищенности именно со

стороны родителей, когда для него важно осознание того, что у него есть и папа, и мама, самые дорогие ему люди. А теперь представьте, что творится в душе малыша, когда мы заставляем его разорвать эту связь и, оставшись с мамой, постоянно думать о встрече с отцом. Нам, взрослым, необходимо помнить: в этот момент мы закладываем мину замедленного действия, потому что рано или поздно наши дети последуют нашему примеру, а не нашим советам.

Особенно внимательными нужно быть тем отцам, у которых подрастают сыновья. Лет в шесть с мальчиками происходит важная метаморфоза. В них пробуждается желание быть рядом с женщиной, подражать, «учиться быть мужчиной». Если в этот период отец игнорирует сына, мальчик зачастую устраивает дикие выходы, лишь бы привлечь его внимание.

Отношения между отцом и дочерью складываются по другому, не менее важному, сценарию. Именно с отца срисовывает подрастающая женщина портрет будущего избранника, через родительскую любовь и заботу возвращает уверенность в себе и чувство женского достоинства. Психологи предлагают папам почаще заглядывать в школьные тетрадки дочерей. Если почерк маленькой леди становится корявым, неаккуратным, значит, ей не хватает любви и внимания.

Всем известно, что самый сложный период для наших детей – подростковый возраст. Именно в это время они становятся более упрямыми, неуправляемыми, стремятся освободиться от нашей опеки. В этом возрасте чаще всего мы и теряем контакт с детьми. Так уж повелось, что мы предъявляем к подросткам стандартный набор требований: побольше усердия в школе, побольше работы по дому. Но тинэйджеру требуется нечто большее. Он и гормонально, и физически рвется во взрослый мир, а мы хотим задержать его в детстве еще лет на пять-шесть! Неудивительно, что возникают проблемы.

В заключение хочу сказать, что воспитание – это обоюдный процесс: чему-то учим детей мы, а главному – бескорыстной любви, терпению и великодушию – они.

# Круг чтения

---

Кирилл Анкудинов

## ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ

### ВЫПУСК ТРЕТИЙ: КРАЕВЕДЫ С БРЕНДАМИ И ТРИ МЕДВЕДИЦЫ

#### «ЗНАМЯ» № 10: ПО ТЕЧЕНИЮ

Действие нового романа **Юрия Буйды** «**Третье сердце**» происходит во Франции, в 1926 году. Это обстоятельство способно обрадовать: «европейская культура» – хоть какое-то, но все же ограничение безудержной упадочнической фантазии Буйды: парижские клошары – не бомжи, апаши монпарнассских кафе – не калининградские гопники, а пряный межвоенный декаданс-франсе (в духе «Гиперболоида инженера Гарина») – не гнилое барокко барака, коим обыкновенно Буйда вволю потчует читателей.

Впрочем, французский хрен ничуть не слаще доморощенной редьки. Опять у Буйды вышла кунсткамера: инвалиды, педофилы, убийцы, инвалиды-педофилы, инвалиды-убийцы – киношка «Про уродов и (не) людей», одним словом. Притом автор не удержался от странных «религиозных дерзаний». Судите сами: русский эмигрант Федор Завалишин после просмотра «Броненосца Потемкина» вспоминает о том, как давным-давно стрелял в одесскую бунтующую толпу. От чего в Федоре пробуждается совесть – и после этого вдруг начинают пачками гибнуть люди, окружавшие его (то от его руки, то от собственной руки, то по воле случая). Федор бежит из Парижа. К нему прибивается одноногая девочка Мадлен – заядлая убийца встречных мужчин (сплошь посягающих на нее). Парочка монстров странствует по югу Франции, оставляя за собой кровавый след, – и тут выясняется, что у Федора, видите ли, стало расти «третье сердце – сердце Иисуса». Что за кощунственная гиль?

Интересно, думают ли руководители «Знамени» – даже не о концепции журнальных выпусков, а о простой взаимности публикаций, или «плывут по течению», выставляя в печать все, что есть в редакционном портфеле? Сразу за религиозно-монструозным опытом Буйды идет «пасхальный рассказ» **Майи Кучерской** «**Кукуша**» – о духоподъемной встрече с православным старцем. Каково читать его – после Буйды-то?

Вслед за руководством «Знамени» по течению поплыл и его авторский состав, что неудивительно: каков поп, таков и приход. Вот **Владимир Кузьмищев** в рассказе «**Чужая жизнь**» пытается вспомнить армейскую службу – и ничего у него не вытанцовывается: повествование перескакивает с одного занимательного эпизода на другой, а к чему все это – непонятно. Именно так базарят «за жизнь» случайному попутчику в купе. Но ведь Кузьмищев пребывает не в купе, а в литературном журнале...

Центральный текст октябрьского номера «Знамени» – окончание путевых заметок **Владимира Кравченко** «**Книга реки (в одиночку под парусом)**». Я бы сказал, что этот длинный текст (непреднамеренно) оказался для десятого «Знамени» концептуальным. Судите сами: плывет Владимир Кравченко по Волге (от Костромы до Чебоксар) и добросовестно сообщает обо всем, что попадает в поле его зрения (иногда разбавляя нескончаемый акынский монолог неприятным краеведением). Спору нет, все это для иного читателя может быть любопытно. Однако я не могу

представить читателя, которому – одновременно – были бы желанны Буйда, Кучерская и Кравченко. Десятое «Знамя» – как явленная иллюстрация к басне «Лебедь, рак и щука»: лебедь рвется в декадентские облака, рак неспешно движется в монастырь, а щука – таяет в воду.

Такой же разнобой – в разделе поэзии. **Лев Лосев («Три стихотворения»)**, как всегда, холодно ироничен, точен и узнаваем (и опять представлен проходной подборкой, а в последнем стихотворении – о «Братьях Карамазовых» – опасно приближается к эстрадной пошлости). **Алексей Пурин («Это пенье хорея и ямба...»)** – обаятелен, сладостен и кузминист (тоже – как всегда). Подборки **Михаила Кукина («Маргарита»)** и **Александра Радашкевича («Хор»)** напоминают переводы с разных языков: если кукинский восклицательно-описательные белые стихи и верлибры – нечто «латиноамериканское» (вот и мой компьютер подсказывает: не «кукинские», а «кубинские»), то Радашкевич с его педантическими анжамбманами – явно «германоязычен». Венчается все это разноэтажье архивным материалом – лихими стилизациями **Давида Самойлова** под «городской фольклор» («**Песни**»).

Все «петитные материалы» десятого номера «Знамени» – вполне культурны, очень ожидаемы и, в общем, случайны. Они словно бы пришли отовсюду. Добротное исследование **Александра Никулина «Ты теперь в совхозе... (Американо-советская агрогигантомания 1920–1930-х годов)»** было бы уместно на конференции историков-отраслевиков. Текст **Михаила Копелиовича «Объяснение в любви (заметки о поэзии Марии Петровых)»** – почти готовое предисловие к сборнику. Изящно-глубокомысленное, перенасыщенное цитатами и (сдержанно) саморекламное эссе **Леонида Воронина «Ищу человека»** – подойдет для рубрики «Нечто и взгляд». Рядом – мемуары **Лазаря Лазарева «Уходят, уходят друзья...»** об Ирине Эрэнбург и Надежде Мандельштам – также в высшей степени интеллигентные, милые и равномерно доброжелательные; Лазарев настолько стремится никого не обидеть (подобно коту Леопольду), что частенько это становится смешным.

«А вот обнародованные уже в наши дни пространные заметки Лидии Корне-

евны Чуковской “Дом поэта”... меня не удивили, хотя пронизывающий их испепеляющий гнев разоблачителя поражал. Чтобы не быть ложно истолкованным, хочу перед этим сказать, что с большим уважением относился и отношусь к Лидии Корнеевне, ее общественной позиции, смелому противостоянию властям. Она по праву служит примером замечательного гражданского мужества. Но я понимал, что воспоминания Надежды Яковлевны, тем более об Ахматовой, не могут быть по сердцу Чуковской. Похоже, что тут возникла классическая ситуация – два медведя в одной берлоге. И даже не два, а – редкий случай – три медведя».

Три медведицы – Анна Андреевна, Лидия Корнеевна и Надежда Яковлевна. Такое вот «Утро в сосновом бору»...

Вопросы современности... Литературный критик **Дарья Маркова («Проект автоматом»)** пытается распутать вздорно-надуманную концепцию Георгия Цеплакова (разделившего в пятом номере «Знамени» всю литературу на «хорошую-проектную» и «плохую-операциональную»), но скоренько переходит к откровенному рекламированию Макса Фрая (ака Светланы Мартынчик). Другой литературный критик – куда более известный **Карен Степанян («Станет ли сказка былью?») – развернуто и прочувствованно высказывается... о футболе.**

Почему бы и нет?..

## «ОКТЯБРЬ» № 10: КАЗАНСКИЙ ДИВЕРТИСМЕНТ

Десятый номер «Октября» – тематический; он приурочен к «Аксенов-фесту» (литературному фестивалю в честь Василия Аксенова) и являет панораму современной литературы Казани.

«Региональные выпуски» литжурналов стали привычны; к этой практике часто обращаются «Наш современник» и «Москва» (а также – в менее радикальной форме – «Дружба народов»). У меня подобные проекты всегда вызывают сомнения – от них так и несет советской кампанейщиной. Но уж лучше работать с авторами из глубинки эдак, нежели не работать с ними никак, пробавляясь одним



и тем же набором из двух-трех десятков москвичей-петербуржцев.

Всякоразных текстов в десятом номере «Октября» много. Условно я разделил их на пять блоков – четыре главных и один вспомогательный.

Первый блок – что называется, «обязательная программа»: краеведение («Алифба» Альбины Абсалимовой, «Казанская мозаика» Артема Скворцова, «Попытка казанософии» Галины Зайнуллиной), а также эссе Марселя Галиева «Дух нации» (перевод с татарского).

Второй блок – «основная программа». В «основную программу» входят произведения «знаменитостей», то есть авторов, широко известных за пределами Казани. «Знаменитостей» в данном случае две; первая из них – молодая, но всемерно признанная поэтесса Анна Русс с подборкой стихов в традициях Вероники Долиной. Второй «казанский вип» явился к читателю под кокетливой полумаской: таинственный «Аист Сергеев» (и плюс к нему «отец Аиста Сергеева» «мерянский поэт Веса Сергеев») – это очень хорошо знакомый всем читателям «Октября» и «Знамени» Денис Осокин. Новое его блюдо («Овсянки») подано под соусом полуигрового мерянского мифологизма, но отдает узнаваемыми вкусами осокинской ресторации – холодно-травянистыми, претендующими на изыски и порою тошнотворными.

Также «основная программа» включает в себя повесть Инсара Давлитова «Чеченская пыль». Я бы выразился об этой повести так: это средняя составляющая литературной очеркистики о чеченских военных событиях, и характеризовать ее приходится апофатически, по отсутствию тех или иных признаков. У Давлитова нет многого, у него нет испуленного натурализма Прилепина, нет скулящей обиженности Бабченко, нет небрежной виртуозности Карасева. Именно поэтому Давлитов кажется мне самым объективным из всех очеркистов, пишущих на «чеченскую тему». Отсутствие авторской индивидуальности – это недостаток, иногда оборачивающийся достоинством; чем менее очевидец думает о своей индивидуальности, тем более он наблюдателен.

Третий блок номера – хорошая малая проза не слишком известных казанских

литераторов: элегическая городская мексикация Георгия Авдошина («Осень в городе К.»), мудрая и точная житейская история Ркаила Зайдуллы («Дырка от бублика»), обаятельный витальный сюрреализм Романа Перельштейна («Все на грани»).

Четвертый блок – проза, которая, скажем прямо, не удалась авторам (ох уж этот «четвертый блок», вечно от него неприятности...). Назову этот блок – «зона мутаций». По большей части литературные мутации казанцев безобидны. Скажем, попытался Айдар Сахибадзинов поработать «под Набокова», вышло у него несколько страниц эпигонского трепса обо всем и ни о чем («Апологет») – и что с того? Дидактическая новелла Булата Безгодова «Отчуждение» (о роковой игре случайностей) могла бы вполне получиться – если бы не слог, которым она написана, корявый и неряшливый. Сложнее с объемистым опусом Аделя Хаирова «Золото и Г. Тонкоструйное письмо в фрагментах»: несдержанно-безответственное (и нечистое) воображение можно вытерпеть лишь тогда, когда оно занимает немного времени. Хотя быть докучным – не преступление.

На мой взгляд, в десятом выпуске «Октября» есть только один текст, давать который было категорически нельзя, – это рассказ Салавата Юзеева «Мой дорогой коллега»: специфические комплексы «литератора с периферии» негоже демонстрировать публично. Говорю это Юзееву как провинциал провинциалу. А как человек, лично знакомый со многими московскими писателями, добавлю: все, что Юзеев написал о московских писателях, – чушь.

Вспомогательная часть казанского «Октября» – поэзия. Поэты Казани (в основном) представлены одним стихотворением или двумя-тремя стихотворениями; разумеется, как-либо оценить их творчество в таком формате невозможно. Совокупно стихи этих поэтов создают впечатление неукоснительного следования «современному мейнстриму» (в различных его изводах). Выделяются из общего потока два поэта – Артем Скворцов и Тимур Авдошин, притом не принципиальными отличиями, а скорее высоким уровнем качества письма и сознательной установкой на профессионализм.

«НОВЫЙ МИР» № 10:  
БРЕНДОМАНИЯ

Главный материал октябрьского «Нового мира» – «поп-арт роман» молодого литератора **Олега Сивуна «Бренд»**. Собственно говоря, это никакой не роман (в привычном понимании); это – цикл культурологических эссе, выстроенных в алфавитном порядке. Структура каждого из эссе такова: берется какой-либо глобальный бренд (кукла Барби, кока-кола, «Кодак», сеть «Макдоналдс», поисковая система «Гугл» и т. д.) – и пропускается через мясорубку ассоциативного мышления. Опыт Олега Сивуна, кстати сказать, – из самых укорененных в культурной традиции. Только не в отечественной, а в западноевропейской традиции: то, чем занимается Сивун, очень похоже на знаменитые «Мифологии» Ролана Барта. С одним (существеннейшим) отличием: Ролан Барт исследует «мир брендов» *извне*, с позиции независимого интеллектуала; Сивун же – ретранслятор этого мира; он не оставляет ни единого зазора между собой и предметом своих высказываний; его взгляд – *изнутри*. Что создает впечатляющий и устрашающий эффект: на читателя прозрачным потоком льются монологи «пластикового человека эпохи гламура». Может быть, текст Олега Сивуна – искренний гимн глобализму (и порождаемой глобализмом «пластиковости», прозрачно-беспечальной безблагодатности). А возможно, здесь имеет место быть приговская ирония – выведенная за кадр, редуцированная до почти абсолютной неуловимости. Трудно понять.

Остальная проза этого выпуска «Нового мира» выглядит дополнением к сивуновским штудиям. Хотя она, эта проза, различна. Мне понравился чудный фантастический рассказ **Марии Галиной «В плавнях»**, умно и точно стилизованный под русскую «революционную» прозу начала двадцатых годов XX века (но с прямо противоположным ей идейным вектором). Куда меньше понравилась сентиментально-маловразумительная новелла **Елены Холмогоровой «Танцуют все!»** – про бедную Лидочку, посвятившую всю свою незамысловатую жизнь городскому кладбищу. Честно говоря, оба

текста – «сделанные». Только галинский рассказ сделан искусно и любовно (а потому виртуозно), а текст Холмогоровой – отштампован как будто бы на конвейере.

О «диалогах дос» **Елены Исаевой «Я боюсь любви»** меня не тянет писать. Это – неудача, но неудача не «авторская». Она была запрограммирована, явившись из генетических пороков жанра «театр дос». Стало ясно, что возможности этого жанра куда более ограничены, нежели представлялось. Можно записать хоть десять, хоть двадцать, хоть тысячу реально услышанных чужих диалогов о любви (и о страхе любви) – все равно результат сего окажется похожим на анекдот про караван, везущий по пустыне мешки с песком («И в чем же тут соль?» – «Никакой соли. Только песок»).

Зато удался поэтический раздел номера: **Бахыт Кенжеев («Давай молчать»)** великолепен (а он и не может быть не великолепен), поэзия **Евгения Вежляна («Неучтенный свет»)** полна скрытого очарования, а **Владимир Салимон («Знакомый голос»)** представлен своими лучшими стихами (без обычной для него небрежности). И даже подборка **Сергея Золотарева («Внутреннее море»)** выглядит на страницах «Нового мира» неплохо – несмотря на велеречивость.

Предсказуемо профессиональна критика и публицистика «Нового мира». Статья **Григория Кружкова «Природы он рисует идеал»**, посвященная Уильяму Вордсворту, – эталон литературоведения (равно как опубликованный в этом же номере «Нового мира» кружковский перевод баллады Вордсворта – эталон переводческого мастерства). **Алла Латынина** аналитическим очерком о феномене цензуры **«Пережиток Средневековья или элемент культуры?»** побуждает к интересным размышлениям. **Марк Амусин** разворачивает подробный (и местами полемический) обзор творчества Андрея Битова и Владимира Маканина («**Осень патриархов**»). Я надеялся на то, что в этом тексте будет сказано о «Преподавателе симметрии» и об «Асане», – но увы. Впрочем, я имею представление о журнальных сроках; разумеется, такая оперативность – нечто инопланетно невозможное. А все равно жаль...

# Я – Ясон

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ПУТЬ ЯСОНА

20 июля

Подобно старому псу, погруженному в чуткий сон, туча, постукивая дождевыми каплями о крыши домов, весь день беспокойно ворочалась с места на место и только ближе к полуночи, когда на земле не осталось клочка суши, где мог бы укрыться ночной вор, уснула. А через минуту на небе появилась бледно-желтая Луна. Вынырнув откуда-то из-под косматых тучьих лап, осторожно, точно боясь разбудить задремавшего пса, выплыла на открытое пространство и повисла над притихшим городом.

Отложив в сторону черно-белую фотографию Люды Смирягиной, поэт Василий Романов поднялся из-за письменного стола. Вышел на балкон и, запрокинув голову, принялся размышлять о том, что если души умерших людей и вправду, как уверяют эзотеристы, отлетают к Луне, где, по их мнению, находится Чистилище, то им, душам, должно быть очень тоскливо в этот момент. И еще подумал он: в такую ночь, когда город необычайно тих, а Луна необыкновенно бледна, охотно верится во всякую чертовщину вроде летающих – падучих звезд, на Земле оборачивающихся в прелестных девушек – погубительниц мужчин, и в мавок – наглых зеленокудрых красавиц, появляющихся в полнолуние.

Словно в подтверждение этих мыслей, в ту же секунду по краю неба чиркнула звезда, а из прихожей одновременно с двенадцатым ударом городских курантов раздался звонок.

Направляясь в прихожую, Романов вспомнил старую поговорку о том, что если кто-то в полночь постучался в дом, можно, конечно, предположить, что это английская королева, проходя мимо, надумала заглянуть на огонек, но...

– Скорее всего, – сказал он вслух, так, чтобы его услышали за дверью, – это пьяный сосед Гришка, язвы его в душу, опять пришел клянчить на бутылку.

И ошибся – на пороге, подрагивая от холода, стояла смуглая девушка в длинной, до пят, белой ночной рубашке.

Первое, о чем подумал Романов, глядя на ее босые ступни с аккуратно покрашенными ногтями, это то, что над ним, по-видимому, подшутил кто-то из подвыпивших дружков. Однако после того как девушка на его насмешливый вопрос, не ошиблась ли она, часом, дверью, ответила, что Эту золотое руно было дано для того, чтобы обессмертить имя Ясона, он засомневался.

Перейдя на серьезный тон, спросил, кто она такая и что ей надо.

Словно не слыша вопроса, девушка сказала, что и саму Медею сегодня помнят лишь потому, что она была женой героя.

Романов вышел на площадку и посмотрел, не прячется ли кто там. Убедившись, что лестничные пролеты пусты, предложил гостю войти в дом.

детектив · фантастика · приключения



Девушка не заставила себя долго упрашивать. С высоко поднятой головой она прошла в темный зал, остановилась у залитого лунным светом окна и тихим ровным голосом стала рассказывать о том, что Селена – сестра Гелиоса – предупреждала: любовь к Ясону принесет всем, и ей, Медее, в первую очередь, немало бед.

– Да только что несчастная дочь жестокосердного царя Ээта могла сделать, если боги распорядились так, а не иначе?

Пробормотав: «Действительно, что?», Романов уселся на диван. Закинул ногу на ногу и, пытаясь по внешнему виду гостьи определить, кто она – добровольная искательница приключений или же девочка по вызову, подосланная начитавшимся написанных им недавно «Записок аргонавта» шутником, с интересом принялся разглядывать ее.

«Не толста», – с удовлетворением отметил он, оценивая скрытую за просторной ночной рубашкой фигуру девушки. После чего решил: глупо гадать о том, какая у девушки фигура, если можно протянуть руку и определить это на ощупь. Поднялся с дивана и, осторожно положив руку на ее талию, еще раз попросил назвать себя.

Не выразив ни малейшего неудовольствия действиями Романова, девушка сказала, что при виде Луны ей почему-то всегда хочется плакать.

Осмелев, Романов коснулся губами ее затылка, шеи и мочки слегка заостренного вверху уха. После чего оттянул ворот рубашки и поцеловал в плечо.

– Наверное, это потому, – продолжала девушка, – что Луна самое одинокое и самое печальное создание во всей вселенной...

Поддакнув: «Да, так оно и есть!», Романов поднял полу ночной рубашки. Просунул руку внутрь и, не встречая сопротивления, провел ладонью по внешней стороне бедра.

– ...Она прячется при появлении людей, чтобы те не видели ее грусти, и появляется, когда на земле все ложатся спать.

Взяв девушку на руки, Романов отнес в постель. Перед тем как раздеться, решил, что сегодня, пожалуй, не тот случай, когда можно пренебречь средствами личной гигиены, и отправился в ванную комнату. Достал из настенного ящичка упаковку презервативов, вскрыл ее и вернулся в спальню.

Девушка к этому времени уже спала. Широко раскинув руки, она лежала на боку лицом к окну, из которого нескончаемым потоком лился лунный свет, и беспокойно дышала.

Романов толкнул ее в плечо – раз, другой, третий, после чего сел рядом на кровать и горько вздохнул: «И чего пришла?»

Наклонившись к лицу девушки, принюхался к дыханию. Осмотрел вены на руках и, решив, что отсутствие перегара, а также следов от уколов ни о чем не говорит, кроме как о том, что она не пьет и не колется перед тем, как посещать одиноких мужчин, снова задался вопросом, кто она.

«То, что не наркоманка и не пьяная, – это я уже понял. Как и то, что до английской королевы ей как до Луны, сестры Гелиоса. Хотя за принцессу какого-нибудь борделя, может, и сойдет... А если она не сосед и не королева, то кто тогда? Летавка? Мавка?»

Вспомнив, что перед тем как раздался звонок в дверь, мимо необыкновенно бледной Луны на необычайно тихий город упала звезда, Романов поежился. С опаской посмотрел на спящую девушку и с мыслью о том, что завтра утром все, возможно, объяснится, вышел в зал. Не раздеваясь, лег на диван и снова подумал, что в ночь, подобную этой, почему-то охотно верится во всякую чертовщину.

## 21 июля

Проснулся Романов оттого, что на него пристально смотрела ночная гостья, укутанная с головы до ног в простыню, снятую с его постели. Не давая прийти в

себя после сна, она тут же потребовала объяснить, где они сейчас находятся и кто он, собственно говоря, такой.

Романов поморщился: мало того, что окончание предыдущего дня было испорчено по ее вине, так еще и наступившее утро, судя по вопросам и тону, каким эти вопросы были заданы, не предвещало ничего хорошего. Стараясь не раздражаться, ответил: сейчас она находится в его квартире на бульваре Карла Маркса, куда, кстати говоря, ее никто не звал.

– А как я попала к вам? Можете сказать?

Романов молчал. Но не сказал. Решил: поскольку его ночная гостья, скорее всего, принадлежит к той ненавистной ему категории женщин, которым, прежде чем согрешить, необходимо время для того, чтобы найти себе достойное оправдание, то говорить правду нельзя – обидится. Он крепко обнял девушку за плечи и сказал, что она упала, а точнее, свалилась в его кровать прямо с неба. Последнее слово совпало со звуком пощечины, которую ему отвесила гостья. Сжав губы, ткнула указательным пальцем ему в лицо и прошипела, чтобы он даже думать не смел распускать руки.

– И тыкать мне тоже не смейте! Ясно вам?

На всякий случай Романов согласно кивнул.

– Я еще раз спрашиваю, как я попала сюда. И кто вы такой? Почему мне ваше лицо кажется знакомым?

Не зная, как описать ночное происшествие, дабы не вызвать у девушки нового приступа агрессии, Романов, тщательно подбирая слова, сказал, что она сама пришла к нему в полночь в одной ночной рубашке и что он, Романов Василий Сергеевич, серьезный человек, здесь ни при чем.

Услышав имя хозяина квартиры, девушка удивленно захлопала ресницами. Ее по-детски наивные глаза, черные брови – две широкие дуги, сросшиеся над тонким носом с горбинкой, пухлые губы, принявшие форму бантика, выразили одновременно удивление и испуг. Спросила: не тот ли это писатель Василий Романов, которого не так давно наградили какой-то литературной премией?

Стараясь выглядеть как можно скромнее, Романов согласно кивнул: тот.

– Только не наградили, – уточнил он, – а наградят... Сегодня днем.

– Ну конечно же! – девушка всплеснула руками. – Как же я вас сразу не узнала! Про вас же столько в новостях говорили! А потом еще по телевизору показывали!

Польщенный словами девушки, Романов опустил глаза. Не зная, что сказать и чем заполнить возникшую паузу, встал с дивана и предложил ей переодеться в платье его бывшей жены.

Девушку звали Медя. Лет ей было, наверное, двадцать пять. Высокая, около ста семидесяти сантиметров, смуглая, скорее всего грузинка, с длинными черными волосами, она производила впечатление крайне неуверенного в себе человека. Поговорив с ней пять минут, Романов пришел к выводу о том, что, во-первых, она не помнит, с какой целью пришла к нему, хотя, скорее всего, притворяется, что не помнит, и, во-вторых, даже если и не помнит, то признаваться в этом ни за что не станет – постыдится. Так, объясняя свое столь необычное появление в столь неурочный час, она сослалась на некие обстоятельства, вынудившие искать приюта в первой попавшейся квартире, и еще на какую-то медицинскую тайну, разглашать которую ей бы не хотелось.

Что это за обстоятельства и что за тайны, из-за которых девушка разгуливала по городу босиком в одной ночной рубашке, Романов выяснять не стал – ему было достаточно того, что она не хотела говорить правду. Зато он с удивлением узнал о том, что Медя заблудилась. Адреса своего она не помнила (помнила лишь то, что

ее семья проживала в каком-то пригородном поселке к югу от города) и о том, как доехать до этого поселка, не имела ни малейшего представления. Кроме того, ни один из известных ей телефонов – домашний, отцовский, сестринский – не отвечал, в чем Романов не преминул убедиться лично, а что касается телефона брата Георгия, то ему она не звонила в прошлом и не собиралась этого делать в будущем.

Романов попросил ее хотя бы вспомнить имена знакомых людей, к кому бы можно было обратиться. В ответ Медея виновато развела руками. Сказала, что долгое время жила за границей и потому обзавестись новыми знакомыми еще не успела.

– Тогда, быть может, вспомните старых?

Медея и тут не могла ничем помочь. Из города, по ее словам, она уехала двенадцать лет назад и никого, кроме уже не работающей у них прислуги Нино Жвания, дальней родственницы жены отца, тети Нюры, говорят, уже умершей, а также садовника дяди Миши и сторожа Толи, не помнит.

От этих слов у Романова окончательно испортилось настроение. В кратковременное умопомрачение девушки он по-прежнему не верил, что с ней делать дальше, не знал.

Подумал: «А не выгнать ли ее от греха подальше?»

Словно угадав его мысли, Медея воскликнула, что ей было всего четырнадцать лет, когда отец после смерти мамы отправил ее в Швейцарию.

– Я здесь как в гостях, никого не знаю, ни с кем не знакома! Я вот еще погощу чуть-чуть и снова улечу отсюда!

Представив, как полночная звезда, чиркнувшая по краю неба, чиркнет через денек-другой в обратную сторону, Романов усмехнулся.

«Нет, – подумал он, – надо, надо гнать ее от себя, пока не поздно!»

Но выгнать ее Романов не стал. Мало того, решив разобраться в том, почему ему, человеку, воспитанному в духе любви к ближнему, пришла в голову крамольная мысль выставить за порог потерявшуюся в городе девушку, понял, что главной причиной этого является незаметно вызревшее желание поближе познакомиться с ней. Поговорить по душам, привыкнуть к ее необычной и оттого притягательной внешности – носу с горбинкой, узким глазам, внешние уголки которых чуть вздернуты вверх, губам, постоянно сжатым так, словно ее кто обидел. И, если повезет, наконец-то забыть Люду Смирягину.

Решив так далеко не загадывать, Романов встал с кресла. Сказал, что попросит товарищей, работающих в милиции, – в частности, своего знакомого капитана Ковалова, заняться ее проблемами. После чего посмотрел на часы и, извинившись, уточнил: попросит заняться ее проблемами завтра, поскольку сегодня, к сожалению (или, наоборот, к счастью), он слишком занят – буквально через несколько часов состоится вручение ему литературной премии имени Дашкевича.

### **Ясон в Иолке (из рассказа «Записки аргонавта»)**

Так устроена жизнь. Многое из того, что еще вчера казалось непреложным, сегодня, с высоты прожитых лет, представляется пустым и ничемным, как то далекое путешествие к берегам Колхиды на «Арго», в полуденной тени которого я как раз прилег отдохнуть. Мог ли я тогда, в дни своей бурной молодости, думать о том, что любовь богов непостоянна, как непостоянны ветра в горах Пелиона, а золотое руно, скрытое Ээтом в священной роще Ареса, делает меня и моих товарищей, добывших его, несчастными? Нет. Но именно так, увы, и произошло. Боги, до этого благоволившие мне, как, наверно, не благоволили никому из смертных, отвернулись, едва

потрепанный бурями «Арго» возвратился в гавань Иолка, и больше ничем не напоминали о себе. Быть может, позавидовали они славе моей, столь громкой, что докатилась она до вершины Олимпа, а может, посчитали, что сделали для меня – героя Ясона – все что могли...

Тиран Пелий, сын владыки моря Посейдона, отнял у моего отца и своего сводного брата – царя Эсона – город Иолк и отказался приносить жертвы богам. Не всем, конечно. Но тем, кого он обделил своим вниманием, это не понравилось. Кто-то из них надоумил отца спрятать меня – новорожденного младенца, которому по праву принадлежала власть в Иолке, подальше от глаз тирана и через двадцать лет явить ему, в наказание за жадность и непомерную гордыню.

За те двадцать лет, что провел у мудрейшего из кентавров, Хирона, я, Ясон, сын и внук царей Фессалии, обучился многому – сражению на мечах, стрельбе из лука, кулачному бою и, главное, пониманию того, что жизнь в пещере – не та жизнь, которой я достоин. И потому, как только истек срок ученичества, накинул на плечи шкуру леопарда, взял два острых копья и, тепло попрощавшись с Хироном, возвратился в Иолк, незаконно захваченный моим дядей, тираном Пелием.

– Мы с тобой одного рода и не должны проливать кровь друг друга, – выставив вперед босую ногу, строго сказал ему при встрече. – По этой причине я, Ясон, предлагаю оставить себе богатства, что отнял ты у моего несчастного отца – твоего сводного брата Эсона, – и добровольно вернуть власть над Иолком, принадлежащую мне по праву.

Увидев меня, преисполненного праведного гнева, а также услышав мои резкие, но справедливые слова, тиран испугался.

– Хорошо, я согласен, – прошептал он, не поднимая глаз от стыда и страха. – Но только позволь, одно условие поставлю тебе: за это должен ты будешь умиловить подземных богов. Тень умершего в далекой Колхиде брата моего Фрикса молит, чтобы отправились мы туда и завладели золотым руном. И в Дельфах стреловец Аполлон повелевал мне сделать то же самое... Да вот беда – стар я, боюсь, не осилю столь великий подвиг. Ты же молод и, как я погляжу, полон силы – соверши его, докажи, что ты достоин стать царем, и я с огромной радостью верну тебе власть над Иолком.

Много лет прошло со времени того разговора. И все эти годы я, Ясон, постоянно спрашивал себя, надо ли мне было соглашаться. И каждый раз отвечал себе: надо! Ведь тогда, когда я был молод и полон сил, когда, как мне казалось, весь мир, затаив дыхание, замер в ожидании подвигов, которые я совершу на зависть потомкам, предложение добыть золотое руно, от которого во многом зависело благоденствие нашего рода, выглядело не таким уж и сложным.

А что же тиран Пелий? Не знаю. Дрожащий от страха старик стал мне после этого разговора неинтересен – победы не над таким жалким противником жаждала моя душа. Она жаждала другого – золотого руна, опасных приключений, громких побед и великой славы.

От мысли добыть золотое руно и обрести великую славу закружилась голова не только у меня одного. Десятки юношей-героев со всех концов Эллады вызвались помочь мне. Были среди них сыновья Зевса Геракл и Кастор с Полидевком, крылатые сыновья Борея – Калаид с Зетом, сын тирана Пелия Акаст, отец Аякса Теламон, гордость Афин Тесей и друг его Пирифой, кормчий Тифий, прорицатель Мопс, любимец Геракла Гилас и певец Орфей.

Сегодня, по прошествии стольких лет, невозможно даже представить, как я был горд и счастлив оттого, что принимал у себя в Иолке тех, чьи имена гремели по всей Элладе! И только облегчение, написанное на лицах их сородичей в момент прощания с ними, заставило меня умерить восторг и задаться вопросом, кто они, мои спутники,

– герои, в веках прославившие свои имена, или люди, от имен которых еще много веков будут содрогаться сородичи.

Впрочем, чего мне, Ясону, было опасаться, думал я, если сами боги оказывали мне всемерную поддержку? Афина Паллада вделала в корму пятидесятивесельного корабля, построенного мастером Аргом и названного в его честь «Арго», кусок дуба из священной рощи оракула Зевса, Гера пожелала удачи, а стреловержец Аполлон предсказал ее. После этого я решил, что опасаться мне нечего, и с мыслями о грядущих подвигах и славе я стал спокойно готовиться к дальнему походу.

\* \* \*

У председателя законодательного собрания области Виктора Дашкевича, высокоплотного человека шестидесяти лет, одетого в светлый костюм под цвет аккуратно уложенных седых волос, весь день болела печень. Не в силах усидеть на месте, он встал с кресла и подошел к столику в углу кабинета, на котором стояла бутылка нарзана. Наливая в стакан воду, почувствовал, как с правой стороны тела боль горячей волной поднялась вверх, отвоевывая ранее замороженное болеутоляющими препаратами пространство, и медленно разлилась во рту густой горечью.

Сделав глоток, попросил помощника Андрея Астраханцева доложить о том, как проходит испытание эликсира.

Не услышав в ответ ничего утешительного, еще раз вспомнил слова Балахнина, советника председателя правления принадлежащего ему банка, сказанные накануне, о том, что Андрей – сын его старого товарища Николая Астраханцева – вновь замечен в компании людей губернатора Ревы.

– Давайте закругляйтесь с испытаниями, – сказал раздраженным голосом. – Даю еще четыре недели. К двадцать третьему августа все должно быть готово.

И тут Дашкевич понял, что его раздражало все эти дни.

Несвоевременность!

Узнал бы он о своей болезни на полгода раньше, когда в операции был хоть какой-то смысл, или, наоборот, на полгода позже, после того как губернатор с позором будет изгнан со своего поста, возможно, сейчас бы дышалось легче. А так...

Подумав о губернаторе, Дашкевич вернулся к столу. Взял папку с документами и принялся неторопливо перелистывать. Номера счетов в зарубежных банках, фамилии получателей, сплошь принадлежащие людям из администрации губернатора, схемы, по которым они выводили деньги из областного бюджета, даже сейчас, при беглом осмотре, выглядели впечатляюще. А если приплюсовать к ним все то, что он скрупулезно собирал со дня инаугурации, да еще придать этому богатству соответствующую огранку в виде хорошо продуманного информационного сопровождения, можно не сомневаться: импичмент Реве гарантирован.

Дашкевич поймал себя на том, что уже много дней думает об импичменте как о средстве против смерти. Свалит губернатора – выживет назло врачам, а нет...

«Нет, нет, выживу! – принялся убеждать себя. – Не напрасно же я потратил пятнадцать миллионов на доработку эликсира, сто тысяч священникам на молитвы и пятьдесят литераторам на премию! Да неужто этих денег не хватит, чтобы донести до Всевышнего хотя бы одно доброе слово обо мне, грешном...»

Размышления Дашкевича прервал помощник, напомнивший о том, что с минуты на минуту в зале пресс-центра должна начаться церемония вручения литературной премии его имени.

Тяжело вздохнув, Дашкевич осмотрелся по сторонам: не забыл ли чего. Взял со стола очки и в сопровождении Астраханцева вышел из кабинета.

Когда Виктор Дашкевич появился в зале пресс-центра, люди, собравшиеся там, – депутаты с помощниками, работники аппарата, журналисты, – шепотом обсуждали появившийся слух о том, что на внеочередном заседании законодательного собрания области будет обнародован компромат на губернатора Реву. Так это или нет, толком никто не знал, но в том, что такой компромат существует, сомнений не было.

Поздоровавшись с присутствующими, Дашкевич сел в центре президиума. Заместитель председателя областного отделения Союза писателей встал при его появлении и, сделав важное лицо, трижды ударил шариковой ручкой по графину с водой. Подождал, когда собравшиеся утихнут, и произнес первые слова приветственной речи.

– Друзья! – воскликнул он. – Сегодня у нас, литераторов, торжественный день...

Кивнув в такт первым словам оратора, Дашкевич сложил руки на столе. Опустил голову и внезапно подумал о том, что на результат его борьбы с губернатором, может так случиться, решающее влияние окажет не содержание компромата, на что он рассчитывал, когда затевал это дело, а элементарное количество сторонников и противников в разных ветвях власти. Он внимательно осмотрел людей, сидящих в зале пресс-центра, и по их лицам попытался определить, чью сторону примут они, когда начнется война с Ревой.

«Депутаты, что находятся здесь, хотелось бы думать, мою... Журналисты, если не будут стопроцентно уверены в моей победе, – губернатора... Остальные?»

Дашкевич задумался над тем, чем будет руководствоваться народ, например писатели, когда встанут перед выбором, за кем идти.

«Фактами?»

Посмотрев на Романова, с лица которого не сходила глупая улыбка, с сомнением покачал головой. Решил: руководствоваться они будут главным образом эмоциями и степенью приближенности к той или иной противоборствующей стороне.

«Значит, этот примет мою сторону!.. А кстати, почему именно ему я отдал премию?»

Так и не вспомнив, почему выбор пал на Романова, чьих произведений он никогда не читал, как, впрочем, и произведений других соискателей, Дашкевич встал со своего места. Приветствуя вызванного к президиуму лауреата, широко улыбнулся и вместе со всеми громко захлопал в ладоши.

\* \* \*

Романов находился в состоянии полного блаженства. Бредя по бульвару с бутылкой дорогого французского шампанского, он думал о том, что никогда не чувствовал себя столь счастливым, как в этот теплый июльский вечер. Все, на что ни падал взгляд, казалось ему красивым, праздничным, ярким. Небо, несмотря на разбросанные над крышами домов ключья туч, казалось голубым, каким оно бывает только летом в деревне, когда, лежа на спине, ни о чем не думая, всматриваешься в него, солнце – ласковым, как на припеке ранней весной, жизнь – справедливой и бесконечной.

То, что жизнь справедлива, Романов, с некоторыми оговорками, считал и раньше, когда получал пинки и набивал шишки, но сейчас... Сейчас он был уверен в этом абсолютно.

«Недаром Иона провел в утробе кита немалую часть своей злосчастной жизни. Недаром Моисей мучил евреев пустыней сорок лет. Недаром я продолжал упрямо писать стихи, когда меня перестали печатать и замечать. Все, все было недаром, поскольку в итоге каждый из нас обрел то, чего хотел больше всего на свете: Иона – Бога, евреи – родину, а я – признание и любовь своих читателей».

Романов был настолько погружен в радостные впечатления, что, только вставив ключ в прорезь замка, вспомнил о происшествии этой ночи и о той, с которой это происшествие было связано.

Медея! От этого имени у Романова защемило сердце. Как же он нехорошо вел себя с ней!

«Сирота, с четырнадцати лет живущая вдали от дома, заплутала ночью в незнакомом городе, а я, старый развратник, чуть было не воспользовался ее беспомощностью! Как я мог?»

Желая немедленно искупить вину, Романов, на ходу открывая шампанское, бросился в квартиру. Обежал ее, но ни в одной из четырех комнат девушку-грузинку не нашел. Заглянул на кухню, в туалет, в ванную комнату, вышел на балкон, вернулся в зал – везде было пусто.

Не зная, что и думать, Романов сел в кресло. Почувствовав дискомфорт, встал и с удивленьем обнаружил, что сидит на скомканном платье бывшей жены, в котором утром ходила Медея.

«Она что же, ушла в одной ночной рубашке? И куда она, интересно, могла уйти, если знакомых в городе у нее нет, а как добраться до дома, она вроде бы не знает?»

Он осмотрел комнату, и то, что увидел, ему очень не понравилось.

Ваза с сухими цветами, больше года стоявшая на журнальном столике рядом с торшером, валялась на ковре. Угол ковра был загнут, словно кто-то споткнулся об него второпях. А на светлой обшивке спинки дивана виднелись три небольших бордовых пятнышка.

Потрогав их ногтем, Романов еще раз огляделся по сторонам. Перебрал в памяти предметы, от соприкосновения с которыми они могли остаться, и пришел к твердому убеждению, что таких предметов у него в квартире нет.

Весь вечер Романов не находил себе места. То он порывался звонить в милицию, чтобы заявить о похищении человека, то искал ответы на вопросы, которые, как полагал, обязательно последуют после того, как он все-таки решится снять телефонную трубку и набрать 02:

«Кем вы ей приходитесь?»

«Как ее фамилия?»

«Почему полуголая девушка позвонила именно в вашу квартиру, расположенную на четвертом этаже дома, а не в квартиру этажами ниже?»

«За что вам привалило такое счастье?»

И, конечно же: «Сколько ты, мужик, вчера выпил?»

Поняв, что ни один здравомыслящий милиционер палец о палец не ударит, чтобы помочь разобраться в том, что случилось с Медеей, Романов решил успокоиться и все хорошенько обдумать. Закрыв глаза и, представив губы Медеи, сжатые так, словно она была заранее уверена в том, что нет в мире людей, способных бескорыстно помочь ей, несколько раз глубоко вздохнул.

Решив с самого начала придавать значение только очевидным фактам и только на их основании делать выводы, он отмотал в своем воображении время на сутки назад.

«Она стояла в длинной ночной рубашке, из-под края которой выглядывали голые ступни с аккуратно покрашенными ногтями, и несла какую-то чушь про Ээта, Медею, Ясона и Селену, сестру Гелиоса».

Романов задумался. Что-то в этой фразе было не так. У него появилось чувство легкой тревоги, которое иной раз возникает, когда в хорошо знакомый мотив вкрадывается фальшивая нота.

Он повторил ее еще раз, тверже: «Она стояла в длинной ночной рубашке, из-под края которой выглядывали голые ступни с аккуратно накрашенными ногтями». Почесал лоб и после некоторого раздумья понял, что именно его смущало.

А смущало его то, что, несмотря на дождь, не прекращавшийся до самого вечера, ноги девушки были сухими и чистыми.

«Стало быть, девушка не пришла ко мне, а, по всей видимости, приехала. И приехала не сама, а ее привезли, ибо сама она этого сделать не могла, поскольку ключей от машины у нее не было».

Романова охватило беспокойство. То, что в этом деле участвовал кто-то еще, навело на неприятные размышления о заранее спланированном действии.

Он вскочил с кресла. Прошелся по комнате и, словно желая ускорить ход мыслей, принялся массировать виски подушечками пальцев.

«Если это было заранее спланированное действие и Медею привезли ко мне на машине с умыслом, иначе ее ноги обязательно оказались бы в грязи, то почему у меня в квартире пролилась кровь? Или ее насильно похитил кто-то другой? Или...»

Романов внезапно подумал, что появление в его квартире Медеи, возможно, всего лишь продолжение простой житейской истории о том, как некая девушка, придя в гости к своему возлюбленному – одному из его, Романова, соседей, сначала переоделась в ночную рубашку, а потом, обидевшись на что-то, сбежала.

«А разозлившийся возлюбленный, после того как я на следующий день ушел получать премию, нашел ее у меня в квартире, избил до крови и увел с собой».

Решил проверить это предположение, Романов отправился к соседям выяснять, не приходила ли вчера вечером к кому-нибудь из них девушка, и если нет, не видел ли кто чего подозрительного этой ночью.

Оказалось, видел. Старушка Нелли Витальевна, живущая на втором этаже, поведала о том, что где-то около двенадцати часов ночи, случайно выглянув в окно, она увидела девушку, одетую, как ей показалось, в одну сорочку. Девушка, по ее словам, вышла из легкового автомобиля, то ли большого, то ли высокого, то ли черного, то ли зеленого, и не торопясь вошла в их подъезд.

Поблагодарив Нелли Витальевну, Романов вернулся к себе домой. Вышел на балкон и обнаружил, что небо, еще два часа назад казавшееся голубым, изрядно потемнело.

### **Ясон на острове Лесмос (из рассказа «Записки аргонавта»)**

Едва нависшая над Иолком туча, похожая на свернувшегося в клубок лохматого пса, озарилась пурпурным светом утренней зари, как гребцы, дружно взявшись за весла, вывели корабль из гавани. Орфей тронул струны золотой кифары и запел гимн богам. Услышав его, из глубин моря поднялись диковинные рыбы. Очарованные голосом певца, высунули они из воды острые плавники и, окружив «Арго» плотным кольцом, поплыли вслед за ним подобно веселой ватаге мальчишек, провожавшей из города уличного музыканта.

Вот так – трогательно, а вместе с тем торжественно и празднично – началось приключение, сделавшее меня самым великим и вместе с тем самым несчастным героем Эллады из всех, когда-либо живших на ее земле.

То, что с героями Эллады придется нелегко, я, Ясон, после долгих склок и споров выбранный предводителем похода, понял уже на Лемносе – цветущем острове, куда мы пристали, чтобы пополнить запасы пресной воды. Едва узнав о том, что мужчин



на острове нет (если верить слухам, их перебили жены за постоянные измены), все кинулись в объятия истосковавшихся по мужским ласкам женщин. Жертвоприношения богам, заканчивающиеся обильными возлияниями, следовали за жертвоприношениями, пиры сменялись пирами, праздники праздниками, и никто за многие месяцы, проведенные на острове, даже не вспомнил о том, ради чего покинули мы дома свои. Более того – ни один из тех, кто в храме Аполлона торжественно клялся вернуть золотое руно в Фессалию, не откликнулся на мой призыв продолжить начатое путешествие. Герои просто не слышали меня! И только когда рассерженный Геракл тайно вызвал аргонавтов к себе на корабль и осыпал гневными упреками за то, что ради веселой и беззаботной жизни позабыли они об обещанных подвигах, опомнились. Не слушая слезных причитаний выбежавших на берег женщин, быстро снарядили «Арго» и, взявшись за весла, вывели его в открытое море.

Последней в ряду женщин стояла царица Лесмоса Гипсипила. Кусая губы, она одной рукой поддерживала большой живот, внутри которого зрела моя, Ясона, плоть, а другой долго-долго махала вослед навсегда уходящему кораблю.

## 22 июля

Весь следующий день Романов принимал у себя гостей, среди которых, к его большому огорчению, не было ни одного собрата по перу. Выслушивал не блещущие писательским мастерством однообразные похвалы в свой адрес, думал, пил и снова думал. Сначала о том, что ему наплевать на Медею – чокнутую грузинку, разгуливающую в одной ночной рубашке. Затем о том, что ему, человеку, с детства воспитанному в любви к ближнему, оказывается, вовсе не наплевать на Медею – чокнутую грузинку, разгуливающую в одной ночной рубашке. И, наконец, о том, что заставило вплотную заняться поисками Медеи, – о мотивах ее появления.

Вечером, проведив до остановки последнего гостя, Романов случайно плечом в плечо столкнулся в тускло освещенном подъезде с незнакомым человеком в фетровой шляпе. Вежливо извинившись, поднял на него глаза и, сам не зная отчего, испытал панический страх. Ему вдруг показалось: сейчас незнакомец сунет руку в карман плаща, вынет оттуда длинный нож и ударит его прямо в сердце.

Человек в шляпе, приняв извинения, молча прошел мимо.

Вернувшись в квартиру, Романов сел в кресло перед выключенным телевизором. Вытер пот со лба и, переведя дух, задумался о причинах возникшей паники.

«Во всем виновата Медея!» – сделал он первый вывод.

Подумал минуту и сделал еще один вывод: если он и в дальнейшем не хочет испытывать страх, подобный тому, что испытал в подъезде, необходимо найти ее и выяснить, для чего она приезжала к нему в полночь и что случилось с ней в его отсутствие.

«Зачем? С какой целью она приходила ко мне? И добилась ли ее? А если не добилась, то что тогда? Что еще может случиться со мной? Меня должны будут приворожить, убить в подъезде длинным ножом или погубить каким-то другим способом? Чего ей от меня надо?»

Решив, что зацепкой, с помощью которой он сможет найти Медею, а с ней и ответы на интересующие его вопросы, является единственная прозвучавшая из ее уст фамилия – Нино Жвания, достал с книжной полки старый, изданный еще в советские времена, телефонный справочник. Открыл его на букве «Ж» и, к своему немалому удивлению, на сто пятьдесят шестой странице обнаружил то, что искал.

Набрал указанный номер, предварительно добавив к нему цифру «два», введенную после издания справочника, и попросил женщину, снявшую трубку, пригласить к телефону Нино.

Женщина долго молчала. Потом спросила старушечьим, хриплым голоском:  
– Зачем?

Романов представился. Сказал, что хотел бы расспросить ее об одном человеке.  
После короткой паузы последовал не менее короткий вопрос:

– О каком человеке?

Уловив в словах женщины легкий акцент, Романов, в свою очередь, поинтересовался: не с Нино ли он говорит?

Помолчав несколько секунд, телефонная трубка согласилась: да, с Нино. И снова повторила вопрос: о ком он хочет говорить с ней?

Нино Жвания, как понял Романов из дальнейшей беседы, сколь короткой, столь же и бессмысленной, либо ничего не знала об интересующем его деле, либо просто-напросто не хотела разговаривать. Мысленно обругав ее, он вежливо извинился за то, что побеспокоил своим звонком, и на всякий случай поинтересовался, не могли бы они как-нибудь встретиться.

Нино какое-то время молчала, обдумывая поступившее предложение. Тяжело вздохнула и, к вящей радости Романова, пригласила на следующий день к себе в гости.

### **23 июля**

Нино Жвания ничуть не походила на тот образ, который Романов нарисовал в своем воображении после телефонного разговора с ней. Вместо хмурой, неприветливой старухи он увидел перед собой тихую сорокалетнюю женщину с обветренным лицом и темными испуганными глазами. Одета в прямое длинное платье, она была похожа на хозяйку, не успевшую вовремя подготовиться к приходу гостя и по этой причине испытывающую волнение и недовольство собой.

Закрыв входную дверь на ключ, Нино проводила Романова в комнату, заставленную старой, но еще хорошо сохранившейся мебелью: журнальным столиком, расположенным между двумя креслами с деревянными подлокотниками, узким диваном и полированной тумбочкой, на которой стоял телевизор «Радуга».

Кивнув в сторону одного из кресел, предложила Романову присаживаться. Спросила, голоден ли он.

Получив ответ, что не голоден, рассеянно оглядела комнату. Не зная, как вести себя в присутствии незнакомого мужчины, остановила взгляд на свободном кресле и, немного подумав, села. Спросила Романова, что его интересует.

Романов ответил: его интересует Медея – девочка, у отца которой Нино работала двенадцать лет назад.

– Скажите, действительно ли она живет в Швейцарии, а сюда приехала на время? Где ее можно найти? Чем она занимается, кто ее друзья?

Все то время, что Романов задавал эти и другие вопросы, Нино внимательно изучала его лицо. Встретившись с ним взглядом, смущенно опустила глаза. Комка платье на коленях, сказала, что ей обо всем этом, к сожалению, мало что известно. Медею, по ее словам, она толком не видела почти двенадцать лет, с тех пор как Давид Даддани, отец Медеи, отправил девочку в Европу, а самого Давида – ровно восемь.

Романов спросил, где живут Даддани.

– Раньше они жили в поселке Заливное, – ответила Нино, – но недавно оттуда съехали.

– Куда?

Нино пожала плечами. Сказала, что два месяца назад Давид, по словам соседей, оставил им ключи от дома, чтобы те присматривали за ним, а сам с детьми и собакой перебрался на новое место.

Больше о Меее она ничего не знала. И только в конце разговора, когда Романов стал собираться, вспомнила о том, что буквально несколько дней назад ей звонил Толик Половинчук, бывший охранник Дадияни, и передавал привет от Меее. На вопросы о том, чем занимается Давид, что ему требовался охранник, и где найти Половинчука, ответила: Давид занимался исследованиями в области химии, а охранник ему потребовался после того, как родственники второй жены пообещали убить его.

– А найти Толика просто. Он живет в деревне рядом с Заливным. Липовка называется.

Нино замолчала. Увидев, что Романов привстал со своего кресла, торопливо сказала, что если у него вдруг есть еще какие-нибудь вопросы, пусть не стесняется, спрашивает.

Романов сел на место. Спросил, зачем Давид Дадияни отправил четырнадцатилетнюю дочь за границу.

– Она заболела.

– Чем?

Нино медленно провела ладошкой по волосам и тихо сказала, что, поскольку Давид был женат на ее близкой родственнице, ей нехорошо говорить об этом, тем более что болезнь Меее относится к тем болезням, о которых мужчинам лучше не знать.

– Ну что же, не знать, так не знать, – не стал настаивать Романов.

Поднялся с кресла и, широко улыбнувшись, попросил хозяйку проводить его до двери.

– А может, чайку? – предложила та.

Романов отрицательно покачал головой.

– Тогда водки? Или нет – лучше чачи! У меня есть замечательная чача! Ее все русские мужчины любят... Не отказывайтесь, идемте!

Поскольку дело близилось к вечеру, а серьезных причин отказываться как от водки, так и от чачи не было, Романов хоть и не сразу, но согласился задержаться на пять-десять минут.

Нино почти не пила. Она весь вечер смотрела на него так, словно по-прежнему хотела по словам, интонациям, мимике понять, кто он такой, что он такое говорит и действительно ли говорит то, что думает. Внезапно встала со стула, выпрямилась и ласково погладила Романова по щеке. Увидев, с каким напряжением она всматривалась в него, ожидая ответной реакции, Романов понял, что теперь у него есть только два пути. Один – сделать вид, будто ничего особенного не произошло, и как ни в чем не бывало продолжать рассказывать любовные истории поэтов. Другой – начать творить любовную историю самому.

Решив не обижать женщину, осторожно взял ее за руку. Потянул на себя – раз, другой, третий, и на четвертый дотянулся до ее платья.

Нино дарила любовь с благодарностью существа, потерявшего последнюю надежду еще раз испытать это чувство. Уткнувшись Романову в ключицу, она то с придыханием говорила по-русски слова, смысл которых терялся в грузинских окончаниях, то вжималась в него, словно желала раствориться в нем, то лежала на его груди с закрытыми глазами и молчала.

Романов ласково гладил ее по голове, а сам думал о том, что ситуация, в которой оказался, крайне унижительна для него. Что это не она, а он должен быть благодарен ей за нежность и ласку, он должен уткнуться губами в ее ключицу и с придыханием говорить о любви, словами, как кислотой, растворяя себя в ее теле.

«Только ведь ничего такого не хочется... Совсем... А вот если бы на ее месте оказалась Медея!»

Еще раз проведя ладонью по голове Нино, он представил себе, что гладит волосы другой грузинки, которая, как казалось, была искренне уверена в том, что, кроме него, нет в мире человека, способного бескорыстно помочь ей.

Нино приподнялась над диваном. Внимательно глядя в лицо Романова, тихо спросила, о чем он думает.

Романов отрицательно покачал головой: ни о чем. Помолчал несколько секунд и задал вопрос: когда, если не секрет, она в последний раз занималась любовью?

– А почему ты, Василий, спрашиваешь об этом? – забеспокоилась Нино. – Я что, дала повод? А впрочем...

Словно испугавшись того, что Василий и без ее подсказки назовет правильный ответ, который в его устах может прозвучать насмешливо и даже оскорбительно, назвала цифру «восемь».

– Чего восемь? Месяцев или дней?

– Лет.

Романов присвистнул от удивления. И тут же, поняв, что совершил бестактность, торопливо извинился.

– Ничего, – махнула рукой Нино. – Мне нечего стыдиться. Восемь лет я видела мужчин только сквозь решетку. Да и тех, знаешь, лучше было бы не видеть вовсе.

– Так ты, выходит, сидела? – ахнул Романов.

Нино согласно кивнула: выходит, так.

Не зная, что сказать на это, Романов задумчиво потер лоб, молча осмысливая гигантскую цифру «восемь», тождественную в его понимании выражению «часть жизни».

«Восемь лет за решеткой, – думал он. – Без лета, без зимы, без привычного круга общения, без надежды что-либо изменить в своей судьбе... Я бы, наверное, столько не вынес».

Спросил, за что она угодила в тюрьму.

Нино нехотя ответила:

– За то, что убила мужа.

## **24 июля**

Откинувшись на спинку кресла, Дашкевич молча разглядывал помощника Андрея Астраханцева – высокого, безукоризненно одетого шатена тридцати лет, стоявшего чуть поодаль от советника председателя правления банка Дмитрия Балахнина – лысого пожилого мужчины с вечно опущенными глазами, и пытался по их виду угадать цель визита. По тому, что они вошли вместе, сделал вывод: событие, которое собрало их, важное и, судя по легкому возбуждению Астраханцева, возможно, даже не совсем плохое.

Спросил помощника, что у них стряслось на этот раз.

Предварительно извинившись, Астраханцев попросил Виктора Олеговича вспомнить сказанные Давидом слова о том, что истинность золотого руна определяется Ясоном.

– Да, да, помню, – раздраженным голосом произнес Дашкевич. – Золотым руном хвалятся многие, но только те, к кому приходит Ясон, действительно обладают им... Ну так в чем проблема?

Астраханцев ответил: проблема все в том же – в испытании золотого руна, а точнее, в Ясоне, чье появление означало бы его успешное завершение.

– Тут вот какое дело, Виктор Олегович... По словам Давида, человек, желающий украсть золотое руно, назовем его для удобства Ясоном, согласно легенде, перед тем как это сделать, должен пройти ряд испытаний, носящих большей частью мистический характер, связанный каким-то образом с процессом изготовления вещества... Сначала он должен, грубо говоря, соблазнить женщину, убившую своего мужа. Затем убить своего доброго знакомого. После этого в кулачном бою одолеть заведомо более сильного противника. Освободить старика от дев-гарпий, отнимающих у него последнюю пищу, и, наконец, заставить дочь владельца золотого руна, назовем ее, как и в древнегреческом мифе об аргонавтах, Медеей, стать его поробницей в воровстве.

Почувствовав боль в правом боку, Дашкевич поморщился, поднялся с кресла и подошел к столику в углу кабинета, на котором стояла бутылка нарзана. Подумал, что еще каких-то полгода назад он – материалист до мозга костей – задушил бы любого, кто позволил себе в его присутствии нести подобные бредни.

Пока наливал воду из бутылки, заставил себя успокоиться. Решил: раз надеяться ему, по большому счету, не на что, надо не ныть над тем, что лишился материалистической девственности, а свято верить в то, что может ему помочь.

– Иными словами, – перебил он Астраханцева, – до тех пор, пока не объявится Ясон и не совершит пять обязательных подвигов, говорить о том, что опыт Давида завершился успешно, нельзя? Так?

Астраханцев отрицательно покачал головой: нет, сказал он, не так, – существуют и другие способы проверки свойств полученного вещества, правда куда более длительные.

– Впрочем, и Ясон у нас, кажется, тоже начинает потихоньку вырисовываться. А вот что касается Медеи, то она уже нашлась... Как тут недавно выяснилось, у Давида кроме Софики есть еще одна дочь, имя которой, вы не поверите, Виктор Олегович... Медея!

Со стаканом в руке Дашкевич вернулся к столу и сел, откинувшись на спинку кресла. Спросил, почему никто не знал о ее существовании раньше и какое отношение она имеет к опытам отца.

В разговор вступил Балахнин. Отвечая на первый вопрос Дашкевича, сказал, что Медея Дадияни постоянно живет в Швейцарии, где лечится в одной из частных клиник, а в России бывает наездами.

– В этом году она приехала в начале июля. Некоторое время, по нашим сведениям, не проявляла особой активности, а четыре дня назад, когда они с сестрой выбрались в город, где у Софики есть квартира, пропала. И нашлась только поздно утром.

– Где она провела ночь, выяснили?

– Да, – ответил Балахнин. – У Василия Романова.

Уточнив, не тот ли это Романов, которому он неизвестно за что подарил пятьдесят тысяч рублей, Дашкевич подумал о том, что совпадение имен, можно не сомневаться, уже вызвало у Балахнина ряд вопросов. Однако вряд ли эти вопросы, как и неожиданное появление в этом деле Василия Романова, заставили его прийти вместе с Астраханцевым.

«Нет, тут должно быть что-то еще!»

Как бы подтверждая эти мысли, Астраханцев громко заявил, что на следующий день после встречи Медеи с поэтом началось, пожалуй, самое интересное. А именно: поэт Василий Романов отправился в гости к некоей Нино Жвания, где и заночевал.

– А Нино Жвания, между прочим, не далее как три недели назад освободилась из тюрьмы, где сидела за убийство... И кого бы вы думали, Виктор Олегович? Собственного мужа!

«Это что же получается? – подумал Дашкевич. – Соблазнив мужеубийцу, Романов повторил первый шаг Ясона на пути к золотому руно, чем подтвердил факт его существования? Так, что ли?»

Почувствовав, что боль в боку отступила, встал с кресла. Сдерживая волнение, нарочито медленно прошелся по кабинету.

«И какой из всего этого можно сделать вывод? – спросил он себя. – Что золотое руно – не вымысел? И эликсир жизни – тоже? И то, что сама жизнь, долгая, счастливая, – реальность, к которой я, приговоренный раком к смерти, еще какое-то время буду иметь непосредственное отношение?»

Остановившись напротив Балахнина, строго спросил, что они собираются делать дальше.

Балахнин ответил: следить и ждать. А Астраханцев, в свою очередь, добавил, что Давид Дадиани, узнав о том, что в городе появился человек с повадками Ясона, в личной беседе высказал именно такое пожелание.

– Он попросил для чистоты эксперимента разрешить Романову пройти путь аргонAUTA до конца, то есть от любовницы, убившей своего мужа, до дочери, предавшей своего родителя.

Дашкевич усмехнулся. Спросил, какой интерес Давиду наблюдать за тем, как родная дочь будет предавать его.

Балахнин ответил: для Давида, по мнению наблюдателей, результаты его многолетнего труда значат гораздо больше, чем отношения с дочерьми, одну из которых, кстати, он фактически выгнал из дома двенадцать лет назад.

– В конце концов, – опустив глаза, тихо добавил он, – если Романов не станет проходить путь Ясона и у Медеи не будет повода предавать своего отца, то у отца – Давида – останется хоть какой-то повод для радости.

Астраханцев тут же не преминул обратить внимание на то, что в этом случае такого повода не будет уже у него, Виктора Олеговича, поскольку отказ Романова проходить путь Ясона, скорее всего, будет означать отсутствие у Давида золотого руна. И тут же, не давая Балахнину оправдаться за неправильно истолкованные слова, передал еще одну просьбу Дадиани: сколько бы неприятностей ни принесла Медея, заранее простить ее.

– На все, сказал он, воля богов! А сама она, бедное дитя, дескать, ни в чем не виновата.

## **25 июля**

Проснувшись, Романов смотрел в потолок и медленно вспоминал о том, где он, с кем он, что с ним. Вспомнив, опускал ноги на пол и долго искал глазами свою одежду. Не найдя ее, надевал аккуратно повешенный на спинке кресла блестящий халат с черными лебедями на спине и шел на кухню, откуда доносились запахи еды. Лениво потрошил вилкой приготовленные Нино котлеты и думал о том, что Медея с каждым прожитым днем отдаляется от него все дальше и дальше.

На первое предложение Нино похмелиться он каждый раз отрицательно мотал головой – говорил, что с него достаточно выпитого накануне. Второе-третье молча игнорировал, придумывая, какими необходимыми словами вскоре объяснит свое желание покинуть ее. А после завтрака, поняв, что слов таких в русском языке нет, сдавался. Брал со стола наполненную до краев рюмку и за длинными разговорами о поэзии и о всеобщем падении нравов постепенно забывал о том, что мучило его каждое утро.

**29 июля**

Романов не понимал, что с ним происходит: чем больше он проводил времени с Нино, тем больше его тянуло к Медее. Сначала ему казалось, что это происходит из-за разницы в возрасте двух грузинок. Затем – из-за того, что жалость к попавшей в беду сироте превалировала над жалостью к Нино, всеми силами старающейся удержать его у себя.

«А может, – думал он, глядя в черный потолок, испещренный лучами фар проезжавшего мимо автомобиля, – дело в том, что Медея пришла ко мне в тот момент, когда я был несчастен и нуждался в ее любви точно так же, как ныне в моей любви нуждается Нино?»

Решив, что в любом случае ответы, которые он надеялся получить от Медеи, тут ни при чем, закрыл глаза и, прислушиваясь к своим ощущениям, как никогда остро почувствовал одиночество...

Он вынул руку из-под простыни и ласково погладил Нино по голове.

Та заворочалась и повернулась лицом к стене.

– Спи! – прошептал он, целуя ее в спину.

Поднявшись с дивана, Романов вышел в ванную комнату, где в ящике для грязного белья Нино прятала его брюки с рубашкой. Оделся и неслышной походкой ночного вора, до нитки ограбившего безоглядно доверившуюся ему нищенку, направился к выходу.

**Ясон в Пропонтиде  
(из рассказа «Записки аргонавта»)**

Проплывая по Геллеспонту, пристали мы к полуострову в Пропонтиде, где жило дружелюбное племя долионов, потомков владыки моря Посейдона. С почетом приняли нас местный царь Кизик и его молодая жена Клейто. Целый день и всю ночь угощали они нас вином и разнообразными яствами. И только поздним утром, когда я, Ясон, напомнил аргонавтам о том, что пора бы нам, гостям, честь зная, распрощались с хлебосольными хозяевами и, распевая веселые песни, пьяной гурьбой отправились на корабль.

Поднявшись на палубу «Арго», увидели мы на противоположном берегу залива шестируких великанов, пытавшихся завалить камнями выход в море. Не понравилось это нам. Бросились мы на них с обнаженными мечами и перебили всех до одного. После чего тщательно смыли с себя их кровь и, воздав хвалу богам за великую победу, продолжили начатый путь.

Весь день до той минуты, когда бог солнца Гелиос спустился на своей золотой колеснице за горизонт, ветер сопутствовал нам. Однако ночью он внезапно изменил направление, чего мы не заметили, и задул в противоположную сторону. Теперь корабль направлялся не на север, где находилась цель нашего путешествия – таинственная страна Колхида, а на юг – обратно к Пропонтиде.

Приняв в темноте за ночных разбойников, напали на нас местные жители во главе со своим юным и храбрым царем. Всю ночь продолжался жестокий бой. И только утром, когда лучи богини зари Эос осветили небо, выяснилось то, что бились мы, долионы и аргонавты, не с ночными врагами и морскими разбойниками, а друг с другом.

Горю моему не было предела. Три дня я вместе со своими грустными друзьями справлял тризну и оплакивал убитого мной Кизика и его жену, красавицу Клейто, добровольно отправившуюся вслед за мужем в подземное царство Аида. На четвертый скинул с себя траурные одежды, взошел на «Арго» и приказал поднять паруса.

### **Ясон в Вифинии (из рассказа «Записки аргонавта»)**

Неласково встретила нас Вифиния – страна бебриков, которыми правил непревзойденный кулачный боец царь Амик. Наслушавшись разных гадостей, вроде того что никакие мы, аргонавты, не герои, а самые обыкновенные морские бродяги, охотники до чужого колхидского добра, решили мы примерно наказать наглеца. Дождались традиционного приглашения померяться с ним силой, которое поступало каждому чужестранцу, по собственной воле или по воле богов высадившемуся в Вифинии, и выставили от себя лучшего кулачного бойца Эллады – Полидевк, сына Зевса.

Спокойно, как и полагается отпрыску громовержца, Полидевк поднял с земли кулачные ремни, обмотал ими кисти рук и приготовился к сражению.

Словно разъяренный бык бросился на него Амик. И сразу несладко пришлось Полидевку. Отчаянно отбиваясь и защищаясь, сгибался он под могучими ударами царя бебриков и быстро терял силы. Бой едва начался, а его исход, к нашему огромному разочарованию, был предрешен: Полидевк, судя по быстро потухавшим глазам, уже готовился сесть в лодку перевозчика мертвых Харона, чтобы вместе с ним отплыть к загробному миру. Так бы все и произошло, если бы в ход событий не вмешался отец его Зевс. Услышав молитвы наши, развел он соперников в стороны и во время короткого перерыва вдохнул в сына свежие силы.

Полидевк мгновенно ожил: глаза его запылали огнем, мышцы налились металлом, душа наполнилась жаждой крови. Налетел он на своего уставшего противника и могучим ударом в ухо раздробил ему черепную кость.

Увидев безжизненное тело своего царя, бебрики с кулаками бросились на Полидевку. Не понравилось это нам. Обнажили мы мечи свои и многих из них перебили. Других прогнали в глубь страны, а сами, захватив богатую добычу, вернулись к кораблю.

Долго после этого горели на берегу моря костры наши. До утра праздновали мы свой великий подвиг: благодарили богов, пили вино и без конца слушали победную песнь Орфея, под звуки золотой кифары славившего подвиг юного бойца Полидевка, сына Зевса.

### **30 июля**

Дорога к Липовке заняла у Романова не меньше получаса. Село, значительную часть которого занимали новые коттеджи, стояло на правом берегу реки рядом со старой пристанью, куда во времена его детства под бравурную музыку, вызывающую ощущение нескончаемого праздника, причаливали большие и красивые корабли.

Многое изменилось с тех пор. Река обмелела, корабли, уже не такие большие и красивые, как раньше, причаливали теперь к другому берегу, откуда в город вела широкая, удобная дорога. Старая пристань порядком обветшала и, судя по неподвижным силуэтам мальчишек с удочками, интересовала в эту пору лишь рыбаков да коз, лениво разгуливающих по ее полусгнившему деревянному настилу, сквозь щели которого кое-где у бережка пробивались тонкие ростки ив.

Дом, в котором жил Толя Половинчук, так же как и стоявший у калитки «джип», выглядел неухоженным и старым. Обшитый неровной, почерневшей от времени доской и покрытый ржавой жестью, он выделялся из общего ряда таких же далеко не новых домов полным отсутствием признаков жизни. Забор, заросший с обеих сторон сорняком высотой по пояс, покосился; за забором гнил кузов старого «Москвича»; а во дворе дома гуляли в бесплодных поисках еды два сизых голубя.



Калитка в заборе была не заперта. Войдя в нее и услышав доносящуюся из полуоткрытой форточки музыку, Романов понял, что жизнь в доме, несмотря на окружавшее его запустение, еще теплилась.

Вытерев о половик ноги, он деликатно постучал в дверь. Не дождавшись ответа, открыл ее и вошел внутрь. Пересек холодные темные сени и, отворив еще одну дверь, оказался в сумрачной комнате с низким потолком. Огляделся. Прямо перед ним стояла русская печь, справа, за ситцевой занавеской, – металлическая кровать с никелированными шарами в изголовье, слева – два выходящих во двор маленьких заклеенных бумагой оконца и деревянный стол под оконцами. На столе – двухкасетный магнитофон, из динамиков которого ревели музыка, бутылка водки, пустой граненый стакан и тарелка квашеной капусты. За столом, уронив подбородок на грудь, сидел на табурете крупный мужчина лет тридцати пяти в нательной майке.

Услышав во время короткой паузы скрип открывающейся двери, мужчина вздрогнул. Поднял голову и удивленно пробормотал:

– Это еще кто?

Романов представился. Перекрикивая вновь загремевшую музыку, сказал, что хотел бы поговорить с Анатолием Половинчуком по поводу Медеи Дадияни. На вопрос хозяина, кто он, чума, такой, что врывается без приглашения, ответил:

– Ее знакомый!

– Ага, хахаль, значит, – сделал вывод Половинчук. – Сам пришел! Это хорошо.

С этими словами он уперся кулаками в стол и выпрямился.

Поскольку рост Толи составлял порядка двух метров, то и выпрямлялся он, как показалось Романову, целую вечность. Сначала у него долго раскладывались колени, которым мешал низкий стол, потом обросшая легким жирком поясница не менее долго приводила в вертикальное положение торс, потом расправлялись широкие плечи и становилась куда положено коротко остриженная голова.

Приняв устойчивое положение, Половинчук спросил Романова, чего он, чума, на него устался.

– Может, скажешь, не нравлюсь?

Романов отрицательно покачал головой.

– Нет, – испуганно прошептал он, оглядывая огромную фигуру, – нравиться.

Пьяное лицо Половинчука, добрую треть которого занимали выпуклые надбровные дуги, в глубине которых спрятались черные глаза, искажилось гневом. Небольшие губы прошептали: «Что ты сказал?» – так, словно отказывались верить в то, что донесли до них два оттопыренных уха, и тут же, сложившись в трубочку, надрывно прохрипели:

– Что ты сказал, гомик? А ну повтори!

Оттолкнув табуретку, Половинчук сделал два широких шага, протянул руку и, схватив Романова за грудки, тряхнул.

Поняв, что еще немного – и он задохнется в вороте собственной рубашки, Романов, давясь словами, прошептал, что его де неправильно поняли. Словом «нравиться» он хотел выразить не его, Анатолия, внешность, а свое отношение к незнакомому человеку, которое Лев Гумилев назвал положительной комплиментарностью.

Призадумавшись, Половинчук ослабил хватку.

Воспользовавшись передышкой, Романов, жадно глотая воздух, добавил, что он вовсе не является хахалем Медеи Дадияни.

– А ищущая ее, потому что чувствую: и ей, и мне угрожает беда!

Половинчук с готовностью кивнул: это ты, дескать, правильно чувствуешь. И, чуть приподняв кулак, в котором сошлись концы захваченной рубашки, заставил Романова привстать на цыпочки.

– А теперь, чума, повтори, что про меня сказал этот твой Гумилев!

Романов повторил. И тут же пожалел об этом.

Узнав о том, что положительная комплиментарность – это неосознанное влечение одного человека к другому, Половинчук, не зная, как на это реагировать, сначала просто нахмурил брови. Однако потом, услышав комментарий Романова, заявившего, что Гумилев, когда вводил этот термин, не думал никого оскорблять, обиделся на то, что какая-то там козявка решила, будто может чем-то оскорбить его – человека, передавившего за свою жизнь не один десяток подобных тварей. Он в ярости взмахнул кулаком, но не ударил, как того ожидал зажмурившийся от страха Романов, а презрительно толкнул в грудь, заявив, что никому не позволит унижать себя.

Открыв глаза, Романов торопливо извинился за то, что, видимо, не совсем правильно истолковал смысл выражения «положительная комплиментарность». Отступил на шаг и попросил разрешения сделать это как-нибудь в другой раз.

– А сейчас, если вы не возражаете, я пойду... Хорошо?

Вместо ответа Половинчук втолкнул его в глубь комнаты. Поправил выползшую из-под спортивных брюк майку и, сжав кулаки, предложил поговорить как мужчина с женщиной.

Выставив перед собой ладони, Романов попросил Половинчука успокоиться. Половинчук, не желая успокаиваться, велел сказать, с какой такой целью он, чума, решил вывести его – нормального и почти что трезвого человека – из себя.

Романов попытался объяснить, что у него даже в мыслях не было никого никуда выводить, самому бы, дай бог, скорее куда-нибудь выйти. Половинчук, сделав еще шаг навстречу, потребовал в таком случае ответить, чем он – нормальный и почти что трезвый человек – вызвал столь неуважительное отношение к себе со стороны вконец оборзевших козьяков.

Романов, чуть не плача, сказал, что никакая он не козявка и вообще не понимает, о каком неуважении идет речь. Половинчук, не желая ничего знать, спросил, как бы он, чума, повел себя на месте нормального и почти что трезвого человека, если бы к нему какой-то мужик почувствовал неосознанное влечение.

– Наверное, в небритую морду бы дал? Правильно?

И тут же нанес неловкий удар, пришедшийся Романову в правое предплечье.

Романов упал на спину. Увидев, как в следующую секунду потерявший равновесие Половинчук валится на него, согнул ноги и что есть силы толкнул ими нападавшего в грудь. Вскочил и еще дважды сверху вниз ударил кулаком по затылку. После чего сделал шаг назад и приготовился к последней в своей жизни драке.

Минуту – шестьдесят долгих секунд – Романов, ожидая нового нападения, стоял, тяжело дыша, над огромным, занимавшим чуть ли не половину пола, телом Половинчука, и все эти шестьдесят долгих секунд сам себе казался несчастным, брошенным всеми воробышком, в одиночестве отбивающимся от матерого хищника.

«Пусть он убьет меня! – распаял он в себе мстительное отчаянье загнанного в безвыходную ситуацию существа. – Пусть он сожрет меня со всеми потрохами! Но уж коли мне выпала судьба пропадать ни за грош – пропаду за алтын! Клыну эту тварь напоследок как можно больше, пусть только сунется».

Перевалившись на живот, Половинчук глухо застонал. Одновременно со щелчком закончившейся магнитофонной кассеты осторожно поднялся на ноги и, держась рукой за левую часть груди, медленно прошел к столу. Проклиная на все лады аритмию, сердце, здоровье, не позволяющее дышать полной грудью, упал на табурет и закрыл ладонями лицо.

Поняв, что опасность миновала, Романов опустил кулаки. Осмотрелся по сторонам, все ли спокойно, и бочком-бочком двинулся в сторону двери.

– погоди! – окликнул его Половинчук. – Ты чего приходил-то? Медею, что ли, ищешь? А ты кто ей будешь, я так и не понял: хахаль, что ли?

Романов отрицательно покачал головой: нет, сказал он, не хахаль.

– А вообще-то, – оторвав ладони от лица, выдохнул Половинчук, – мне без разницы. У меня баб этих знаешь сколько? Только свистни... Водки хочешь?

Романов хотел сказать «нет», а сказал «да».

– Тогда проходи!

Стараясь не делать резких движений, Половинчук достал из-за спины второй табурет. Поставил его напротив себя через стол и кивнул, приглашая садиться.

Прежде чем принять приглашение, Романов десять раз подумал, стоит ли рисковать.

Решив на одиннадцатый раз, что стоит, помолился: «Была не была, где наша не пропадала!» – и сел. Взял в руки стакан с водкой и, желая как можно скорее закончить дело, ради которого пришел, спросил, где найти Медею.

– А зачем она тебе?

– Да так. Слишком много накопилось всего... Сразу и не расскажешь.

– А ты выпей! – посоветовал Половинчук. – Говорить легче будет.

Не долго думая, Романов опрокинул в себя содержимое стакана. Поставив его с громким стуком на стол, принялся подробно рассказывать обо всем, что случилось с ним, начиная с той самой ночи, когда над притихшим городом взошла бледно-желтая Луна.

Закончив рассказ, Романов еще раз с удовольствием выпил водки. Торопливо занюхал рукавом рубашки и, обращаясь к пребывавшему в глубокой задумчивости Половинчику, спросил, какую, по его мнению, цель преследовала Медея, явившись к нему.

– И, главное, добились ли ее? А если не добились, что тогда? Как ты думаешь, что еще должно будет произойти? Чего вообще ей от меня было надо?

Половинчук пожал плечами. Сказал, что Медея девочка, конечно, со странностями и приворожить, кстати говоря, может не хуже его летавки, но вот чтобы в полночь явиться бог весть кому в одной ночной рубашке...

– Нет, чума, это не в ее стиле... Что-то тут не так.

Романов уныло согласился: не так.

– А где найти ее, – спросил, – знаешь?

Половинчук ответил: теперь, когда Дадиани сменили местожительство, нет.

– Но, – добавил он, подняв указательный палец правой руки, – попробовать поискать, я думаю, можно.

Толя Половинчук, как и предупреждал, оказался человеком не только нормальным, но и почти что трезвым. Точно извиняясь за поведение, недостойное богатыря, он весь вечер старался заглядывать перед Романовым свою вину – рассказывал все, о чем знал или просто догадывался, делился всевозможными слухами. Отвечая на первые два вопроса Романова – что собой представляет Медея и кто ее друзья, сказал, что по причине крайне редкого пребывания на родине друзей у нее нет и быть не может, за исключением разве что сводной сестры Софико.

– А насчет того, кто она такая...

Задумчиво пожевав губами, Половинчук попросил Романова представить себе человека, которого когда-либо незаслуженно обидел.

Выполняя просьбу, Романов нарисовал в своем воображении себя в обличье двухметрового богатыря с ярко выраженными надбровными дугами, а человека, незаслуженно обиженного им, в виде интеллигентного сорокатрехлетнего мужчины

с усталым лицом, в котором легко читались ум и недавно перенесенные душевные страдания.

– А теперь, – сказал Половинчук, – постарайся вызвать в себе чувство вины перед ним, как будто бы ты только минуту назад узнал о том, что наехал на него конкретно не по делу.

Романову не было нужды особо стараться. Не успели прозвучать слова, как он – двухметровый богатырь с ярко выраженными надбровными дугами – уже испытывал неимоверные муки совести оттого, что издевался над интеллигентным человеком с умным лицом, чья единственная вина заключалась в том, что он всеми силами старался помочь попавшей в беду сироте.

– Почувствовал, да? – заглянул ему в глаза Толя. – Чего молчишь?

Удрученно покачав головой, Романов сказал, что ему сейчас до того худо – хоть в петлю лезь.

– Ну вот! – неизвестно чему обрадовался Половинчук. – Так и с Медеей! Все, кто с ней общались, испытывали примерно те же чувства. И я, кстати, тоже... И до того это, скажу тебе, дошло, что она, по-моему, сама уверовала в то, что все вокруг перед ней виноваты!.. Короче, – он хлопнул ладонью по столу, – ходячий укор совести, вот кто она такая!

Романов спросил, были ли у нее основания считать себя обиженной.

Пренебрежительно махнув рукой, Половинчук ответил, что основания считать себя обиженным, если поискать, найдутся у каждого. Потом добавил, что в случае с Медеей причины как раз таки, возможно, и были.

– Нет, ну ты сам прикинь! Если бы тебя посадили в больницу лет эдак на десять-двенадцать, как бы ты себя вел?

Вместо ответа Романов спросил, чем она болеет.

Половинчук пожал плечами. Сказал, что с Медеей через несколько дней после гибели Любы, ее матери, случился какой-то приступ.

– Что за приступ, не знаю, все кругом как воды в рот набрали, но догадываюсь...

Половинчук осмотрелся по сторонам, так, словно их кто-то подслушивал. Наклонился над столом и, повертев указательным пальцем у виска, сказал, что Медея, по его мнению, немного «того».

– «Того», это в смысле ненормальная? – уточнил Романов.

– Нет, что ты! – замахал руками Половинчук. – В этом смысле она нормальнее нас с тобой, тут вопросов нет... Но ведь знаешь, как иной раз бывает, – шепотом добавил он. – Сегодня ты нормальный и почти что трезвый, а завтра прицепится к тебе какая-нибудь чума, скажет что-нибудь такое, отчего душа наизнанку вывернется, и все – вызывай санитаров!

– Ладно, – Романов в раздражении отодвинул от себя пустой стакан. – Как ты собираешься искать Медею?

Такая постановка вопроса Половинчику не понравилась. Он отвернул от Романова лицо и обиженным голосом сказал, что искать, по его мнению, в таких случаях полагается тому, кому это больше всего надо. А поскольку ему, Толе, это ни к чему, он если и согласится искать Медею, то лишь в качестве консультанта.

### **3 августа**

Половинчук позвонил Романову рано утром и предложил этим вечером, не позже восьми, съездить в поселок Черемисово, где проживают мать и сын Нюры Маняшкиной, бывшей домработницы Давида Дадияни.

– Сама Нюрка, как ты уже слышал, померла несколько лет назад. Но бабка должна помнить, где живет дядя Миша, ее то ли кум, то ли сват.

– Ты хочешь сказать, что дядя Миша, который работал у Дадяни садовником, знает, где искать Медею? – спросил Романов. – А откуда такая уверенность, если не секрет?

Половинчук ответил, что дядя Миша, по словам соседей Давида, которых он навестил два часа назад, работал в саду Дадяни в день, когда те всем семейством переезжали на новое место.

– Значит, – заключил он, – он должен это знать!

Известие о том, что в порядке затянувшихся поисках Медеи появился первый след, обрадовало Романова. Пообещав быть в Липовке ровно в восемь часов вечера, он положил трубку и принялся готовиться к поездке за город.

\* \* \*

Проскочив мост над заросшей густым камышом речкой, от которой не осталось ничего, кроме дорожной таблички с названием, «нексия» въехала в село, расположенное на склоне пологой горы. Руководствуясь указаниями Половинчука, некогда бывшего здесь на похоронах Нюры Маняшкиной, Романов, управлявший «нексией», свернул с центральной улицы сразу после того, как они пересекли первый перекресток, и остановил машину в глухом переулке возле зеленого дома.

Ткнув пальцем в сторону висевшей перед калиткой голой лампочки, Половинчук сказал: «Здесь». Отцепил ремень безопасности и, отвечая на приглашение Романова составить ему компанию, сказал, что лучше поспит часок-другой на свежем воздухе.

– Ты, кстати, чума, там тоже особо-то не расслаивайся! – сказал он, раскладывая переднее сиденье. – А то у меня свидание в полночь. Как бы не опоздать!

Маняшкины – баба Фрося, полная семидесятилетняя старуха, ее внук Боря, нервный, ни минуты не сидящий на месте невысокий худенький паренек лет двадцати пяти, и его жена Надя, дородная молодая женщина, внешне похожая на бабу Фросю, – встретили Романова настороженно. Но уже через минуту, узнав в нем человека, которого совсем недавно показывали по телевизору, успокоились. Усадили за стол и принялись угощать чаем.

К чаю кроме варенья, печенья, конфет, меда подали крупно нарезанные помидоры со свежими огурцами, хлеб, сало, колбасу и холодную курицу.

Окинув недовольным взглядом стол, баба Фрося предложила отведать домашней настойки. Налила в четыре маленькие розовые рюмки красную жидкость из большой трехлитровой бутылки, дно которой устлала мелкие ягоды, и произнесла тост за знакомство. С благодарностью выслушала похвалу Романова в адрес напитка и, не обращая внимания на укоризненные гримасы внука, принялась рассказывать рецепт его приготовления. От рецепта плавно перешла к рано умершей дочери Нюре, очень любившей эту настойку; от дочери Нюры к Давиду, у которого та много лет работала и которого называла не иначе как душегубцем; а от Давида-душегубца к тому, ради чего пришел Романов, – к местожительству деда Михаила.

– В городе он живет, у магазина, наискось от базара. Улица, как сейчас помню, Борисоглебская называется, дом один и квартира тоже один... А на кой он тебе?

Романов сказал, что через деда Михаила хочет отыскать Дадяни.

– А они тебе на кой?

– Да так... Дело есть к ним одно.

– А... – протянула старуха. – Ну, коли дело, тогда конечно.

Почувствовав в голосе бабы Фроси обиду за нежелание говорить о людях, о которых ей, видимо, было что сказать, Романов спросил: отчего, если не секрет, ее дочь Нюра называла Давида Дадиани душегубцем?

– А каким еще словом его, прода, называть? – удивилась та. – Жен своих, что первую, что вторую, со свету сжил? Сжил! Так и Нюрка моя тоже через его попреки захворала! Все ему, видишь ли, было не так! То чай простыл, то харчи не солонны, то штаны не тем концом отглажены. Хотела ему пойти сказать: сам-то ты, безобразник, до какого греха дочь свою довел?.. Да уж ладно! Придет срок, Бог ему сам все что надо скажет.

Только баба Фрося замолчала, как в разговор вступил Боря. Вскочив со стула, он принялся рассказывать о том, о чем, как посчитал, не договорила бабушка. О первой жене Давида, грузинке, от которой у него остались сын Георгий и дочь Софико, и о второй, гражданской, Любви Перебежкиной, местной девушке, родившей Медею – самую красивую шлюху из всех, с кем ему когда-либо довелось встречаться.

Услышав слово «шлюха», Романов решил, что Боря оговорился. Повернул голову в его сторону и попросил повторить еще раз.

– А вы разве не знали? – сев на место, смущенно засмеялся тот. – Медея, она же это... как ее... сексоманка, большая сексоманией. Мать об этом говорила, когда ее в швейцарскую психушку упекли!

Надя поправила мужа: не сексоманией, а сексомнией.

– Да какая разница! – пренебрежительно махнул рукой Боря.

– Большая! При сексомании большой идет на половой контакт сознательно, а при сексомнии – сексуальном лунатизме – неосознанно, находясь в сомнамбулическом сне.

Боря желчно рассмеялся. Спросил, откуда она, медсестра с полутора классами черемисовского образования, может это знать.

– А язык-то на что? – обиделась Надя. – Спросила я! У Елены Марковны, нашего психиатра, после того как ты мне рассказал об этой девушке.

Мысли Романова, и так находившиеся в беспорядке, окончательно спутались. Он встал из-за стола и, торопливо поблагодарив бабу Фросю за угощение, направился к выходу. У дверей остановился, вслух повторил адрес деда Михаила: улица Борисоглебская, дом один, квартира один, и в сопровождении Бори вышел во двор. Увидев, как тот украдкой переложил из кармана в карман металлический кастет, спросил, зачем он ему.

Закрыв за собой входную дверь, Боря нажал на клавишу электрического выключателя. Показал на загоревшуюся над калиткой лампочку, тут же атакованную ночной мошкой, и пожаловался на то, что уже который вечер кто-то расколачивает ее.

– Замучил уже! Я вставляю, а он, как стемнеет, расколачивает! Я вставляю – а он опять. Ну не иначе издевается, гад!.. Но ничего! – погрозил в ночь кастетом. – Вчера я его чуть не поймал, сегодня точно отловлю! И уж тогда ему, придурку, будет не до издевок!

Пожелав Боре удачи, Романов вышел на освещенную лампочкой улицу. Подошел к «нексии», открыл левую переднюю дверцу и завел двигатель. Не обнаружив в салоне Толи Половинчука, опустил боковое стекло. Высунул голову из машины и негромко окликнул.

– Иду, иду! – донесся хриплый голос Половинчука.

Не прошло и минуты, как из темноты выплыла его огромная фигура.

– Ну как? – спросил он, садясь рядом. – Узнал адрес?

Включив первую передачу, Романов медленно нажал на педаль акселератора.

Открыл рот, чтобы передать разговор с Маняшкиными, но тут же, огорошенный внезапно появившейся мыслью, закрыл его.

«А имею ли я право разглашать тайну болезни Медеи, которую она и ее родственники хранят как зеницу ока?»

Решив, что уж кто-кто, а Толя Половинчук, похоже, по уши влюбленный в Медею, обязан знать все или почти все, что касается предмета своего обожания, сказал, что да, выяснил, почему дочь бывшего хозяина разгуливает по городу в одной ночной рубашке. Сказал и тотчас почувствовал острый стыд: еще один человек будет теперь знать о том, что Медея способна отдаться практически первому встречному.

Романов собрался с мыслями и, отвечая на настойчивые расспросы Половинчука, по какой же, в конце концов, причине Медея разгуливает по городу в ночной рубашке, сказал: по причине того, что является лунатичкой. Затем подумал, что ответ получился слишком формальным для того, чтобы выглядеть убедительным, и, почти не разжимая губ, добавил:

– Это все, что мне удалось узнать о ней! Да. И больше ни-че-го!

В этот момент на панели приборов загорелась красная лампочка. Резко затормозив, Романов вышел из машины. Поковырялся в двигателе и, на ходу вытирая руки тряпкой, подошел к Половинчуку. Сказал, что надо сходить за водой.

– Что-то случилось?

– Да. Шланг охлаждающей жидкости слетел. Все вытекло!

Не теряя времени, открыл багажник. Достал полиэтиленовое ведро, вытряхнул из него скопившийся мусор и направился к дому Маняшкиных, до которого на глаз было не меньше двухсот шагов. Не дойдя трех метров до края освещенного круга, в центре которого раскачивалась над калиткой голая лампочка, Романов услышал два коротких щелчка. Одновременно со вторым лампочка лопнула, улица погрузилась во тьму, а из-за горки наваленных дров промелькнула чья-то тень. Не успел он задуматься над тем, что это были за щелчки, почему лопнула лампочка и чья тень промелькнула из-за горки наваленных дров, как почувствовал острую боль. Через какое-то время, обнаружив, что лежит на спине и из последних сил отбивается от человека, пытающегося дотянуться до его лица кастетом, крикнул: «Что ты делаешь? За что?» В ответ человек с кастетом резко развел руки в стороны и, воспользовавшись тем, что лицо Романова на мгновение оказалось незащищенным, нанес удар лбом по переносице. Романов взвыл. Перекатившись со спины на живот, подмял нападавшего под себя и, ни на секунду не переставая выть от боли и ненависти к тому, кто причинил эту боль, принялся осыпать его градом ударов. В этот момент кто-то схватил его и отбросил в сторону, а через секунду-другую поднял с земли и куда-то быстро понес. Романов сделал попытку вырваться, но, услышав голос Половинчука, приказавшего не дергаться, утих.

Добежав до «нексии», Половинчук кинул Романова на заднее сиденье. Сам сел за руль и погнал автомобиль подальше от того места, где произошла драка.

Романов с трудом открыл глаза. Провел липкой ладонью по лицу сверху вниз и спросил жалобным голосом, как они теперь доедут до города без воды.

Не отрывая взгляда от дороги, Половинчук ответил, что вода есть в небольшом болотце в пяти минутах езды от Черемисово.

– Там и зальемся.

– А как зальемся-то? Ведро-то у нас нет!

– Не беда. Выкрутимся.

– Да? Это хорошо.

Облегченно вздохнув, Романов упал на сиденье. Не в силах ни о чем думать, кроме как о потерянном ведре и красной лампочке на панели приборов, закрыл глаза и впал в забытье.

Из всего, что было дальше, Романов помнил немного: то, как Половинчук на кухне промывал ему чаем залитые кровью глаза, прилаживал ко лбу куски оторванной кожи и терпеливо отвечал на одни и те же вопросы – как они доехали до дома и удалось ли сохранить в целости мотор автомобиля.

*Продолжение в следующем номере*



# Истории про Муську

---

Что такое зооцирк? Это миниатюрный зоопарк на колесах. Вот и катит, колесит этот мини-зверинец по стране: с запада на восток, с севера на юг и летом, и зимой. Колесят из одного климата в другой диковинные звери и птицы, крокодилы и змеи. Всякие и разные. Но я хочу рассказать о маленькой обезьянке из семейства макак — Муське. Шестимесячная Муська-лапундр. Она не имеет такой роскошной и прямо-таки необходимой принадлежности мартышек, как длинный и гибкий хвост. Зато у нее цепкие черненькие лапки-ручки и лапки-ножки, остренькие клыки, изумительная, хитрющая мордочка и... характер. Она может быть сварливей десятка базарных торговков: берегись обидчик! — Муська изругает его в таких верещащих тонах — хоть уши затыкай! Но она и ласкова: обнимет за шею и что-то начнет ворковать на ухо, или, сидя на плече, начнет что-то искать в твоих волосах, сооружая при этом из них немислимые прически на голове. Она и воровата: обьщует все карманы. Содержимое, как-то: блестящие монетки (но достоинством не ниже гривенника!), авторучки, брелоки, зажигалки, сигареты — все это будет изъято и присвоено Муськой. Сигареты она не курит, не научилась еще, не то что ее солидная мамаша! Но с удовольствием жует табак, лихо сплевывая при этом коричневую жвачку, как какой-нибудь уважаемый среднеазиатский аксакал, жующий насвай.

## МУСЬКА И КУЛОН

Муська — существо вольное. В клетке она только ночует, да и то не всегда. А так... бегает по разбитому на площади «цыганскому табору» зооцирка, носится по хоздвору, озорует в наших жилищах на колесах и... достает, ох как достает!

Вот и сейчас: занялся я ремонтом машины, а она тут как тут! То стянет гаечный ключ, то детальку какую-нибудь упрет... Отругал я ее. Обиделась. Показала язык и убежала. Через какое-то время появляется на хоздворе взбудораженная мама Нелля (она — мама не только для нас, работающих в цирке холостых парней, но и для всех зверюшек), а с ней заплаканная девица в кофточке с умопомрачительным декольте. На ее прелестной шейке капельки крови. Глотая слезы, обиженно шмыгая носиком, девица то и дело прикладывает платочек к поцарапанной коже.

Небольшое отступление. Мама Нелля — повариха. Но не простая. Она кормит обезьянок (а их у нее — 57, разных видов, размеров, окрасок, вкусов), декоративных кур, павлинов. Таким клиентам не угодит ни один шеф-повар столичных ресторанов, мама Нелля угождает.

«Слушай, — еле переводит она дух, — Муську не видел?» «Видел, — говорю, — крутилась тут, мешала работать. Ну, я ее шуганул. А что стряслось-то?» «Найди ее. Знаешь, что она учудила? Вот у этой... (прости... Господи! — читалось в глазах строгой в делах морали мамы Нелли) девушки Муська сорвала с шеи кулон с цепочкой и куда-то упылила. Найди ее, отбери кулон. Она тебе его отдаст. Я бы сама, да некогда — варить надо.

Легко сказать — отдаст! Тем более, золотую вещицу. У Муськи, как у всякой особы женского пола, — губа не дура! Она же часами может себя рассматривать в зеркальце,

кокетка! Но делать нечего, пошел искать грабительницу. Муську нашел в ее излюбленном месте — на крыше вагончика с прессованным сеном. И, конечно же, она любовалась своим уворованным сокровищем, время от времени пытаясь прикрепить кулон с лопнувшей цепочкой себе на шею. Чертыхаясь, я влез на крышу. Мигом золото у Муськи за щекой. С визгом: «Грабят!» — она начала улепетывать от меня, прыгая с крыши на крышу вагончиков. Разве утонишься! Битый час, весь в мыле, носился я за экспроприаторшей по хоздвору. Нет, так дело не пойдет, надо что-то придумать. И придумал. Знал, что Муська — большая любительница мороженого. Частенько продавщицы близ расположенных пунктов продажи этого холодного продукта приходили к нам жаловаться на ее набеги. И нам, во главе с мамой Неллей, приходилось раскошелиться за свою любимицу.

Купив в киоске два стаканчика мороженого, вернулся на хоздвор. Нюх у Муськи не хуже, чем у Петровича (нашего сторожа), правда, у того нюх однокбок — лишь на то, что пахнет градусами. И так, вижу: описывая сужающиеся круги, Муська с деланным равнодушием приближается ко мне. Подаю ей стаканчик. Та деликатно берет его (мизинчик оттопырен: ни дать ни взять «Купчиха за чаепитием»), выгаскивает изо рта предмет моей охоты, небрежно кидает его на асфальт неподалеку от моих ног и приступает к трапезе. На кулон — ноль внимания, главное сейчас — лакомство! Я тянусь к цепочке, но в доли секунды та, вместе с кулоном, оказывается за Муськиной щекой. В ее глазах — откровенная издевка. Повторяю операцию «Мороженое» еще и еще раз, вхожу в азарт...

Не помню, сколько стаканчиков скормил я Муське, но кулон все же был возвращен владелице. Оскорбленная, обиженная до глубины души, моя маленькая подружка отомстила мне, заболев ангиной. Доставила же она хлопот и ветврачу, и нам с мамой Неллей! А друзьями мы с Муськой все же остались.

## МУСЬКА И ВЫПИВОХИ

Нельзя сказать, что наши обезьянки — трезвенники. На воле, говорят, они способны даже организовывать алкогольное производство: бросят в ямку перезрелые бананы, укроют листьями... и через энное количество времени веселящий напиток готов. Зооцирковские обезьянки такой возможности лишены (бананы, что ли, не те?), но зимой им положены ежедневные «наркомовские» сто грамм кагора. Выпивают свои порции с превеликим удовольствием и чуть ли не выкрикивают: «Повторить!».

Но вот Муськино отношение к водке, как выяснилось, резко отрицательное.

Дальний угол хоздвора привлек мое внимание каким-то шумом. Подхожу, вижу: на дышле вагончика-туалета, на обрывке газеты, стаканчик и немудреная закуска. Небритые, гневные физиономии трех «болящих» устремлены куда-то вверх. «Отдай, сука!» — рычит один из них. Двое других подкрепляют сей монолог более резкими фразами. Задираю голову: на крыше туалета... Муська! Держит в ручках раскупоренную бутылку водки. Что-то будет! Смысл бросаемых реплик вряд ли, по ее малолетству, Муське понятен. Но вот тон их!!!

Сделав пару глотков, Муська скривилась и с омерзением отпихнула от себя бутылку. Та, поливая содержимым потенциальных собутыльников, скатилась с крыши и бомбой взорвалась у их ног. Глядя на осколки, те оцепенели в траурном молчании. Ну а Муська (все-таки неприятный ей напиток начал свое действие), пьяненько похихикивая, бочком-бочком проскакала по крыше туалета, едва не сорвавшись, перескочила на крышу другого вагончика и исчезла с хоздвора.

Участники, а вернее зрители, этого действия разошлись в глубокой печали. Я же пошел искать свою маленькую выпивоху. Как и ожидал, нашел ее у клетки страусов.

Респектабельную чету страусов-эму Муська не раз использовала в качестве скаковых лошадей. Делала она это так.

Промежуток меж прутьями решетки страусов для Муськи — широкие ворота. Повиснет на прутьях и замрет. Чета, по-первости, забеспокоится, издавая звуки, сходные разве что со звуком работающего компрессора грузовика; затем, попривыкнув к неподвижно висящему зверьку, продолжит заниматься своими домашними делами. Муське этого-то и надо! Влетит в клетку, ухватится за шею крайне удивленной птицы и давай галопировать по просторной клетке эдакой амазонкой!

Но в этот раз амазонки из Муськи не получилось — алкоголь подвел... Сначала все шло по старому, наезженному сценарию: вис на прутьях, прыжок... А прыжок-то был неточен. Глава страусиногo семейства ухватил клювом Муську за шиворот, не обращая внимания на ее протестующий визг, «нежно» встряхнул, затем последовал «пушечный» удар ногой. Муська футбольным мячом вылетела меж прутьев клетки, просвистела по воздуху значительное расстояние и шлепнулась к моим ногам.

Кое-как поднявшись, почесывая свою «точку приземления», кряхтя, забралась ко мне на плечо, чтобы долго-долго жаловаться на коварство птицы-«лошади», сбросившей Муську с «седла».

Урок пошел впрок. Больше амазонкой я Муську не видел. Что касается водки, то даже на расстоянии учуяв ее запах, Муська начинала негодующе фыркать.

## ПОМИДОРНАЯ ЭПОПЕЯ

Как-то в середине мая наш зоотабор «застолбил» место на площади старинного уральского городка. Место доходное: рядом — центральный рынок, напоминающий скорее парк культуры и отдыха. Народ валом валит поглазеть на наших зверюшек. Работы — невпроворот! Освободился часам к шести вечера. Дай, думаю, пройдуся по рынку, погляжу, чем тут потчуют горожан.

Сразу же от арки главного входа начались ларьки, ларечки, киоски, прилавки. Привлекла внимание хохочущая толпа у одного из киосков. А сквозь хохот явственно доносится визг, перемежающийся плачущим смехом. Пробираюсь сквозь толпу, умирающую от смеха. Перед киоском свободнее пространство. Вижу: на прилавке гора крупных красных помидоров, из-под прилавка женские причитания: «Хосподы! Люды, та убэрите цюю чертяку, хосподы!» Над прилавком — «крупнокалиберный», туго обтянутый белым халатом, зад. На задку невозмутимо восседает — кто бы вы думали? — Муська! Берет помидорину в ручки, надкусит и, брезгливо скривившись, кидает ее в толпу, беснующуюся в пароксизме смеха. Перед прилавком уже горка раздербаненных помидоров, а Муська все тянется к очередному: а вдруг этот-то окажется так привычным ей и так желанным сладким яблочком?! Дело тухлое! Надо срочно эвакуировать Муську из зоны назревающего конфликта. Но, когда я подхватил ее на руки и хотел уже улизнуть, могучая длань обхватила мою шею. Дородная казачка приподняла меня над землей: «А платыть хто будэ?» Обижают друга? Этого Муська не позволяет никому! Прыжок, два визга (визг казачки и визг Муськи) причудливо переплетаются. Вскоре та же картина: над прилавком возвышается зад, туго обтянутый халатом, как турецкий барабан кожей, а по этому-то «барабану» лупит и лупит возмущенная моя защитница.

Когда я все-таки пробился с Муськой сквозь задыхающуюся от смеха, плачущую толпу и бегом-бегом к выходу рынка, то услышал: «Ой, девки, умру. Сроду такого цирка не видала. Люди! Да за такой номер надо скинуться!».

Не знаю, на сколько «скинулся» народ, но, видать, прилично, ибо незадачливая торговка жаловаться на Муську к нам в цирк не пришла. Так что начальство наше об этой истории не узнало. А то сидела бы наша дегустаторша со своей мамашей в клетке, а в лучшем случае — где-нибудь на хоздворе на цепочке.

---

## ПЕТУШИНАЯ МЕЛЬНИЦА

### Маленькая сказочная повесть

#### Куда улетают одуванчики?

Была та чудесная пора, когда в тени одуванчики еще желтые, а там, где солнце пригрело, они уже белые, пушистые; подует ветер — и легкий одуванчиковый пух разлетается над зеленой травой. А вот кое-где два одуванчика — желтый и белый — стоят рядом, и белый (он ведь старше) рассказывает дружку, еще желтому и несмышленому, как он скоро отправится в далекое путешествие, нужно только дожидаться хорошего попутного ветра. И впрямь случается — пронесется порыв ветра и, к большому удивлению желтоголового одуванчика, его старший друг, который только что рассказывал про будущее путешествие, вдруг исчезает. Выходит, он, дела не откладывая, уже отправился в дальнее странствие.

Вот и цыпленок Айбулат в день, когда исполнилась ровно неделя со дня его рождения, решил узнать, куда же улетают одуванчики.

Он приглядел один белый одуванчик и вместе с ним стал ждать попутного ветра. Налетел ветер и понес перышки одуванчика. Айбулат помчался следом...

Наступил вечер, и к петуху Йондозбаю прибежала пеструшка Суарбике. Он долго не мог понять ее кудахтанья, наконец с трудом разобрал: уже темнеет, а один ее цыпленок куда-то пропал!

— Куда пропал? — спросил Йондозбай.

— Куда, куда! — запричитала Суарбике. — Не знаю куда! Он стихи сочиняет.

— Стихи сочиняет... — задумался Йондозбай. — Дело непростое. Вот мы ходим, зернышко, червячка в траве ищем. А поэты ищут рифму. Где он ищет?

— Йондозбай-агай! Откуда я знаю? Беги! Не стой! На тебя последняя надежда! — снова запричитала Суарбике.

— Так-так-так! Лиса! Коршун! — забормотал петух. Он глянул в небо, коршуна там не было. Значит, лиса?

И петух помчался в дальний конец огорода. Говорили, там порою шныряет лиса. Однако ни лисы, ни цыпленка там не оказалось. Два воробья, сидевшие на плетне, сообщили, что тут никого и не было. И только тогда Йондозбай заметил, что уже темно и у него, как у всех кур и петухов, началась куриная слепота. Как же теперь попасть в родной курятник? Он забегал вдоль плетня в поисках лаза:

---

\* Пересказ Ильгиза Каримова.

— Иди сюда, егет с улицы Серсе! — услышал он.

По голосу петух узнал летучую мышь Ярканат. С некоторых пор тетушка Ярканат решила, что теперь она самая старая жительница нашего аула, и потому все остальные кляшевы (кроме людей, конечно) для нее только «егет» или «сношенька». Йондозбай уже давно не был молодым егетом, но тут же побежал на голос.

— Заблудился? — спросила Ярканат.

— Куда? Где? Заблудился! Я! — залопотал петух.

Надо сказать, что у нашего петуха каждые пять минут случалась небольшая паника. Характер такой. Он немного побегал туда-сюда и спокойно рассказал, как все произошло.

— Цыпленок уже вернулся, — сказала Ярканат. — Не слышал разве, как Суарбике его встречала?

Ярканат не торопилась. Вот стугятся сумерки еще немного, и можно лететь на охоту, а пока с удовольствием поговорит. Хотя и назвала она солидного уже петуха егетом, но относилась к нему с уважением. Во время ночной охоты она всегда послушивала: вот первые петухи, вот вторые, а вот и третьи, пора возвращаться. И самый громкий, самый боевой среди ночной переклички — голос петуха Йондозбая. Она гордилась, что они живут в одном хозяйстве: она с подружкой совой Ябалак в старой бане, а он в курятнике неподалеку.

— Да, Йондозбай, большое у тебя хозяйство, — сказала летучая мышь. — И за каждым присмотр нужен.

— Все на мне!.. — развел крыльями Йондозбай. «Эх, бежать бы скорей домой!» — подумал он. Но — нельзя, пока старшая (или старший) сама не отпустит тебя. Так его в детстве учили. А наш петух не только самый голосистый петух в ауле Кляш, но и самый воспитанный.

— Ты самый старший среди кур, а я — во всем ауле, — сообщила Ярканат. — Но я тебя понимаю. Я-то одну себя кормлю, а на тебе такая орава!

— Да хозяйка вроде нас не обижает.

— Но была бы у вас петушиная мельница, никому бы не кланялись.

— Какая петушиная мельница? — удивился петух Йондозбай.

— А-а, так ты не знаешь, что за петушиная мельница? — обрадовалась летучая мышь. — Вот-вот, все вы одинаковы, что петух, что курица: память короче носа. Сейчас расскажу!

И она поведала петуху историю, которую слышала еще в детстве. Свой рассказ тетушка Ярканат завершила такими словами:

— Никто уже не помнит, я помню. Последняя на свете осталась! — и тут же крикнула: — Скорее, сосед, беги, лиса подкрадывается!

Петух шмыгнул в лаз и припустил по тропке через огород. Летучая мышь пронеслась над землей и, насмешливо проверещав над крадущейся в траве лисицей Сарыкай, исчезла в сумерках.

Лиса подбежала к лазу и по привычке быстро все обнюхала. Поздно нюхать, петух уже был дома.

Сарыкай не упустила ни слова. Потому и не набросилась на петуха сразу, что хотела выслушать все до конца. Интересную историю рассказала старая трещотка. Очень интересную. Теперь надо только присматривать, как пойдут дела.

Вот так и получилось, что сначала цыпленок Айбулат решил узнать, куда улетают одуванчики. Затем петух Йондозбай отправился его искать. Потом летучая мышь Ярканат рассказала ему про волшебную мельницу, и, наконец, лисица Сарыкай подслушала их.

Вот только неизвестно, куда же улетают одуванчики?



## ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО КОТА МАЛАХАЯ

За старой баней в брошенной давным-давно телеге дремал рыжий кот Малахай.

«Как хорошо! — рассуждал он сквозь дрему. — Сначала я ленился дома. Потом на крылечке поленился — наскучило. Теперь вот в старой телеге ленюсь! Хорошо весной — ленись где хочешь! А зимой — только на печке, но и оттуда гонят. Мало того: хотят, чтобы я мышей ловил! А как мышку поймаешь? Она же на месте не сидит, за ней бегать надо, чтобы поймать. То ли дело сметана! Сидит в кувшинчике и никуда спрятаться не может».

Вспомнив про сметану, Малахай немножко расстроился. «Нельзя о неприятных вещах думать, — решил он, — надо быстрее крепко заснуть».

Но разве сметана — неприятная вещь? Нет, самая приятная. Но сегодня утром Малахай обнаружил в сенях под лавкой полную банку сметаны. Он-то думал, что совсем немножко попробует, только лизнет, даже хозяйка Гайниямал-апай ничего не заметит. Но сметаны оказалось совсем мало, и теперь хозяйка увидит, что полная банка стала пустой, и может подумать на него, честного кота Малахая. Что же теперь делать? Малахай знает, что надо делать. Жить надо по правилам, тогда никаких неприятностей не будет. А какое главное правило у него? Кот Малахай, спи, отдыхай! — вот какое. Самое лучшее на свете правило. Когда спишь, ни о каких неприятностях не думаешь.

И кот, повернувшись на другой бок, собрался жить по правилам.

### «БЛИЗКО ИЛИ ДАЛЕКО?»

Но тут целое облачко тополиного пуха облепило его мордочку. Кот Малахай выбрал из усов пушинки, потом открыл глаза и посмотрел по сторонам: откуда ветер дует? Он увидел петуха Йондозбая, который, выпятив гребень, что-то искал в зеленой траве.

Малахай сразу забыл про сон. Интересно, что петух там ищет? На той неделе Йондозбай тоже копошился в траве и нашел колечко, потерянное хозяйкой. Как обрадовалась хозяйка! Посреди двора она поставила большой таз и доверху насыпала отборного зерна. Все птичье население двора собралось вокруг таза и хвалило петуха Йондозбая! Поклюют и погочут, поклюют и покудахчут. Только Малахай сидел в стороне и обижался: лучше бы таз со сливками поставили! Или молока. Хотя бы миску. А что, если петух опять что-нибудь найдет? Хозяйкину брошку, например?

Петух что-то пробормотал. Кот прислушался: «Что он бормочет? Что-то про кisku? Или миску? И что-то про молоко». Во всяком случае, что-то приятное. Спать расхотелось. Малахай свесился с телеги и спросил:

— Кажется, брат Йондозбай, ты что-то про миску молока сказал?

— Про миску молока? — засмеялся петух. — «Ко-ко-ко, ко-ко-ко, близко или далеко?» Вот что я сказал. А зачем тебе миска молока? Говорят, ты с утра целую банку сметаны слизнул. Слышишь, Гайниямал-апай тебя ищет?

Со двора донесся голос хозяйки: «Кто-нибудь видел этого паршивого кота?».

«Зря я проснулся», — подумал кот Малахай.

— А что же ты ищешь, ровесник? — промяукал он. — Что «близко»? А что «далеко»?

— Сказал бы я тебе, сосед, даже помощником бы к себе взял, только...

— Что «только»?

— Только очень уж ты ленивый и лукавый.

— Я «ленивый», я «лукавый»? — напыжился кот. — Как ты можешь так говорить! Ты же знаешь, главное мое правило: «Не спи, Малахай, а друзьям помогай!»

— Впервые слышу.

— Знаешь ли, брат Йондозбай, — рассудительно заговорил Малахай, — конечно, я не прочь иной раз полежать на боку, нам, котам, так и положено. Но стоит другу оказаться в беде, и мы, коты, не смотрим, близко это или далеко! Мы сразу...

— Ну, ладно, ладно, беды пока нет никакой, — остановил его Йондозбай.

«Конечно, Малахай — кот ненадежный, — подумал он, — но мы с ним ровесники, с детства знаем друг друга. Как же ровеснику откажешь?»

— Я ищу клад, — сказал он.

— Клад? — разинул рот Малахай. — Чур-чур, чур-чур, дай мне злата-серебра! Делим пополам!

— Нет там ни золота, ни серебра, — сказал Йондозбай.

— А что же есть тогда?

— Ручная мельница.

— Которой муку мелят? И все? — Кот задумался. — Знаешь, Йондозбай, я от муки чихать начинаю. Так чихаю, что уши могут оторваться. Меня хозяйка с поручением к соседям отправила. Пойду, ты меня не задерживай.

— А мельница-то не простая, — усмехнулся петух. — И не только муку мелет.

— А что еще?

— Чего попросишь.

— Да? — Малахай задумался. — Как же она сливки молоть будет?

— Скажешь, мол, нужны сливки, — и крути ручку. Сливки так и польются.

— Да-а? Это хорошо. От сливок у меня уши не оторвутся. Эх, кот Малахай, беги другу помогай! Найду я тебе мельницу. Только, чур-чур, моя тоже будет. Твоя и моя.

— Почему только твоя и моя? Ее на всех хватит. Вот послушай, какая это мельница! Расскажу слово в слово, как мне летучая мышь рассказала.

Йондозбай взлетел на телегу и взмахнул пестрыми крыльями так, что по всему огороду разлетелись разноцветные всполохи — желтые, красные, синие...

### ЧТО РАССКАЗАЛ ПЕТУХ

— Случилось это в давние времена, — начал рассказ петух Йондозбай, — когда коза ходила в сотниках, индюк — в десятниках, утка — в урядниках, петух был глашатай, сорока — соглядатай...

— Ты, ровесник, так издали не рассказывай. Так только сказки начинаются. А тут не до сказок.

— Научись слушать. Вот эта сорока-соглядатай и подсмотрела, как все произошло. Сто лет назад, а может и двести, жил да был в нашем ауле человек по имени Йомарт. Он и вправду был йомарт — щедрый без удержу. Целыми днями мечтал, как разбогатеет и позовет в гости весь аул. А пока Йомарт был самым бедным в округе, дом его покосился, а внутри — темно и пусто, только тараканы бегают. Даже путники, которые шли мимо, в окошко не стучались, ночевать не просились, искали дома побогаче.

Но однажды заглянул к нему путник, семидесятилетний старик, попросился переночевать. Йомарт от радости не знал, куда его посадить, пыль с хике сдул, чекмень с себя снял, на голые доски постелил. Была в доме одна-единственная



картофелина, Йомарт ее в золе испек, надвое разломил и обе половинки старику подал. А потом еще сплясал для него, хотя в тесной избушке места для пляски было маловато. Утром старик сказал: «Спасибо тебе, Йомарт, гостя ты принял хорошо, от всего сердца. Я тоже хочу отблагодарить тебя, — и он достал из мешка медную мельницу с деревянной ручкой. — Эту мельницу я несу от самой Бухары. Это не простая мельница, а волшебная. Чего ни попросишь, тут же намелет. Скажешь «муки» — намелет муки, скажешь «чак-чак» — посыплется чак-чак, а «беляш» скажешь — тут же беляш выпрыгнет.

Старик ушел, а Йомарт в тот же день созвал к себе весь аул, три дня и три ночи гости гуляли и хвалили хозяина. Когда же Йомарт умер, то волшебную мельницу завещал лучшему своему другу, славному батыру петуху Алтынбаю. А Бикбулат — мой прапрапрапра... в общем, очень далекий дед.

### ПЕТУШИНОЕ ШЕЖЕРЕ

Тут из-под телеги выкатился круглый желтый цыпленок и пропищал:  
 — А мне кем приходится батыр Бикбулат? Скажи, дядюшка Йондозбай!  
 — Ты что подслушиваешь тут? — грозно выгнул спину кот Малахай.  
 — Я не подслушиваю, я заблудился.  
 — Опять? — удивился петух.  
 — Ступай отсюда, желторотый! — фыркнул кот.  
 — Совсем не желторотый! — пискнул малыш.

*Хоть на спинке желтый пух,  
 Не цыпленок я — петух!*

Петух Йондозбай повернулся боком и одним глазом оглядел цыпленка:  
 — Это мой родственник, — сообщил он коту. — Тот самый, который уже говорит стихами. Но здороваться еще не научился.  
 — Я не нарочно, — смутился цыпленок. — Извините! Здравствуйте! Айбулатом меня зовут.

— Вот какая теперь молодежь! Только родился — и уже зазнался! — расфыркался Малахай. — А все потому, что его мама на всю улицу кудахчет: вот, мол, ее сынок только из скорлупы вылез, сразу стихами заговорил!

— Извинения твои приняты, Айбулат, — сказал Йондозбай — Ты спрашиваешь, кем тебе приходится наш славный предок Бикбулат? Боюсь, высчитать это нелегко. Ведь прежде мы жили в темноте и невежестве, счета-грамоты не знали. А вот кем ты приходишься мне — ответчу. Нас было двенадцать близнецов, и самый славный из них — Бикбулат. Он-то, безвременно съеденный еще в молодые годы, земля ему пухом, — и есть твой прапрадед. Значит, ты мне — праправнучатый племянник. Хорошо, что ты спросил об этом: башкирские петухи должны знать свое шежере до седьмого колена.

Шежере — родословная.

— Ладно, Айбулат, ступай, куда шел. У нас тут дела, — сказал кот.  
 — А вот мой прапрадед так не думает! Верно, прапрадедья Йондозбай?  
 — Чего уж так пышно: прапрадедья... — моргнув от смущения, сказал петух. — Можно и уменьшительно: просто дядя. Мы же не чужие.  
 — Дядя Йондозбай, возьмите меня волшебную мельницу искать!



**«ПУТЕШЕСТВОВАТЬ НАДО ВВЕРХ!»**

— Мал еще! — сказал Малахай.

— Да, маловат ты вроде, Айбулат, — согласился Йондозбай. — Дело это нелегкое.

— Это тебе не стихами говорить! — добавил кот. — Маленьким клад не положен. Зачем тебе клад?

— Я попрошу у мельницы воздушный шар!

Кот и петух удивленно переглянулись:

— Зачем?! — спросили они в один голос.

— Затем, что путешествовать надо вверх! — и цыпленок обеими крылышками показал на небо. — На земле я два раза уже заблудился. На шаре я поднимусь высоко-высоко, увижу весь аул, каждую улицу — Совиную, Базарную, Городскую, Школьную, Мерзлых Труб? Все — сразу! Представляете? А выше поднимусь — увижу Девичью Горку, Тугай, речку Дему, озеро Акманай, железную дорогу, а по ней электрички бегают. Если до облаков долечу — может, сама Уфа покажется. А до Луны если — всю землю увижу. Дедушка Ибрагим говорил. А земля — такая же круглая, как воздушный шар.

— Белены объелся! — сказал кот.

— Как ты можешь говорить такое про дедушку Ибрагима?! — возмутился Айбулат.

— Я не про деда Ибрагима, — смутился Малахай, — я про тебя!

— А я только его слова повторяю! И вот однажды мы поднимемся до самых звезд, и ты, дядя Йондозбай, на весь мир прокукарекаешь: «Ку-ка-реку! (Признаться, вместо «ку-ка-реку» у Айбулата получилось «пи-пи-пи»). Слушайте, люди, куры и все остальные! На всем свете ровно полночь!» Так крикнешь, что звезды вздрогнут и луна закачается.

— Ага, и все петухи охрипнут от зависти! — фыркнул Малахай.

Признаться, у дяди немного закружилась голова.

— Кхм-кхм, — прочистил он горло. — Вообще-то, другие петухи ошибаются, не очень точно сообщают, когда полночь.

— Ну что? Найдем волшебную мельницу? — спросил цыпленок.

— Найдем. Только без тебя, — сказал Малахай. — Мельница на троих не делится.

— На двоих делится, а на троих не делится? — удивился Айбулат. — Что за мельница такая?

— Такая!

— Помолчите! — прикрикнул петух. — Ни на два, ни на три и даже на десять она не делится. Она общая.

Петух взлетел на телегу и окинул взглядом огород и траву с одуванчиками вокруг старой бани.

— Клад где-то здесь, — сказал он. — Ищем так. Я иду вдоль огорода по левому флангу, то есть по левой стороне. Айбулат идет по правому флангу, то есть по правой стороне. А ты, ровесник, ищи в центре, то есть посередине, вокруг телеги. Ты целыми днями здесь спишь, и эти места тебе хорошо известны. Занять позиции.

Их хозяин, старый Ибрагим-бабай, иногда выбирается на крыльцо и, греясь на солнышке, рассказывает петуху Йондозбаю про свои подвиги на войне. Другим слушает некогда, старшие в работе, младшие в школе или на улице бегают. А петух слушает и порой скажет: «Ко-ко-о!», за что Ибрагим-бабай уважительно называет его «ровесник». Это его слова — «фланг», «центр», «занять позиции».



Кладоискатели заняли позиции. Забавно было смотреть, как Айбулат спешит на свою «позицию»: все одуванчики, желтые и белые, стоят на месте, только один желтый одуванчик вдруг сорвался с места и помчался куда-то.

Йондозбай кукарекнул, давая сигнал, и поиски начались.

### УЛОВКА КОТА МАЛАХАЯ

Петух пошел по одной стороне огорода, цыпленок — по другой. Кустики картофеля были еще маленькие, все видно, даже маленькая божья коровка не могла бы спрятаться. Однако дядя и племянник не спешили, заглядывали под каждый куст.

Кот, вытянув шею, смотрел им вслед: может, они скоро найдут, тогда ему не придется искать. Но петух с цыпленком уходили дальше и дальше, а мельницы все не было.

Вздохнув, кот посмотрел по сторонам. Разве в такой траве что-нибудь найдешь? И одуванчиковый пух все время к носу липнет! «Ко-ко-ко, ко-ко-ко, близко или далеко?» — передразнил он петуха Йондозбая. — Как же, будет тебе близко мельница, если она позарез сейчас нужна!»

Малахай хорошо знает: если вещь не нужна — она всегда здесь, перед глазами торчит. Но стоит ей понадобиться, то сразу куда-то исчезает, нипочем не найдешь. Вот почему и клад найти невозможно. «Ага! — вдруг догадался кот. — Давай-ка я сделаю вид, что мельница мне не нужна! И она тут же появится».

Впрыгнув в старую телегу, Малахай разлегся и стал делать вид, что никакая мельница ему не нужна. И вообще — он спит. Но все же приоткрывал то один глаз, то другой, чтобы не пропустить момента, когда мельница появится сама собой.

На пятый или шестой раз открыл Малахай глаз — а возле телеги стоял щенок Ялай.

— Прочь отсюда! — прошипел на него кот, затем посмотрел по сторонам и громко сказал: — Совсем не нужна мне эта мельница! — и тихонько спросил у щенка: — Разве по мне сразу не видно?

— Чего не видно?

— Что мне совсем не нужна эта мельница!

— Какая мельница? — удивился щенок.

— Не твое дело! Волшебная.

— Совсем не видно. Я думал, ты просто спать улегся. А дядя Йондозбай с Айбулатом что ищут?

— Мельницу! А я не ищу. Иди, им помогай.

— Не там ищут дядя Йондозбай с Айбулатом! Нюханет у них, — весело покрутил хвостом Ялай, затем потянул он носом. — Откуда-то мукой пахнет. Будто от ручной мельницы.

И щенок, вынюхивая, затрусил вокруг старой телеги, потом стал разгребать лапами землю возле колеса.

«Караул! Спугнет мою мельницу!» — чуть не закричал Малахай. Он выгнулся дугой и уже хотел прыгнуть на щенка, но тут Ялай исчез под телегой.

Оттуда донеслась возня, потом выкатилось что-то круглое, и следом вылез испачканный землей Ялай. Глаза его блестели. Он сказал:

— Вот ваша мельница! — и залился веселым лаем.

### ТРИ И ОДНО

Петух и цыпленок, услышав его, помчались обратно к телеге. Прибежав, они встали вокруг земляного кома. Дядюшка Йондозбай от волнения не знал, что сказать, только квохтал, как курица:

— Кто, где, когда, куда?

Щенок подкатил лапой черный ком земли к телеге, ком стукнулся о колесо, и земля отвалилась. Все увидели ручную мельницу.

— Кто... куда... — кудахнул петух и замолк.

— Караул! Это моя мельница! — закричал кот. — Это я нашел ее!

— Ты нашел? — удивился Ялай. — Ты сам сказал, что лежишь и не ищешь никакой мельницы.

— Я приманивал ее! Сделал вид, что не ищу, она и появилась! Моя мельница!

Йондозбай подошел к мельнице и поскреб когтями. На медном боку была выцарапана куриная лапа.

— Это старинная мельница, — сказал петух, — красивая, медная, с куриной лапой на боку, нашей родовой тамгой. Пусть теперь эта мельница послужит всем.

— Как это всем? — взвыл Малахай. — Ялай просто мимо шел! Это я приманил мельницу! Никто из вас не умеет клады искать, только я!

— Мы тебя и не гоним, — ответил петух. — Все, кто живет на этой земле, имеет право владеть ее кладами.

— Нет уж, ровесник! Мельницу нашел я, значит, она моя.

— А тамга — наша! — грозно чирикнул цыпленок.

— Тогда пополам! Ты, ровесник, свою половину дели с кем хочешь, а мою не тронь!

— Не кричи так! Никто твою половину не тронет, — сказал петух. — Сначала узнаем, работает ли она? Загадывайте желания.

— Зачем это — загадывать желания? — спросил щенок.

Йондозбай стал рассказывать ему историю мельницы, а кот слушал и изнывал от обиды. Каждое лето он целыми днями спал на этой телеге и видел во сне сметану. Проснется — никакой сметаны нет! А она здесь была, рядышком! Стоило только поискать под телегой волшебную мельницу! Тем временем цыпленок принялся начищать мельницу, и вскоре она заблестела медными боками — ярче любого самовара.

— Ты что попросишь, Малахай?

— Потом скажу, — буркнул кот.

— Мне — воздушный шарик! — сказал цыпленок.

— А мне — что-нибудь! Только много! — тявкнул щенок.

— А я попрошу очки от куриной слепоты, — сказал петух, — что-то я в последнее время плохо видеть стал. А ты, Малахай, что надумал?

— Вы сказали три желания, я тоже должен сказать три. Сначала — сметаны. Потом... — он хотел придумать что-нибудь кроме сметаны, но ничего на ум не приходило. Кота распирало от злости. Вместо того, чтобы угощать его, кот Малахая, разными яствами, придется мельнице еще заниматься всякими глупостями: какими-то очками, шариками, непонятным «что-нибудь», которого должно быть много. А вдруг она из-за этого сломается? Справедливо это?

— Начинай, дядюшка Йондозбай! — пропищал племянник.

— Бисмилла рахман рахим! — сказал петух.

— Стойте, погодите! — закричал кот. — Вы хотите погубить мельницу!

## ВСТАЮТ НА ПОСТ

— Погубить? — спросил петух. — Почему?

— Бедная мельница! В какие руки ты попала!

— Ка-ка-ка-кие? — заикаясь, сказал петух. — Попала?



— Жадные, загребушие! Сколько лет она лежала здесь! Сколько лет не могли найти ее! И только нашлась, сразу: «Дай то, дай это!» Но я не позволю! — и Малахай негодующе помахал хвостом.

— Да, ровесник, есть правда в твоих словах. Нехорошо мы поступаем. Сто лет не было мельницы, а нашлась — мы ей сразу: работай! Надо сначала принять ее, уважение оказать. Гость должен с дороги отдохнуть, сил набраться.

— Ага! Тогда знаю! — тявкнул щенок и убежал во двор. Скоро он вернулся, волоча подушку. — Вот, дедушка Ибрагим на крыльце забыл!

Тогда цыпленок пропищал: «И я знаю!», умчался и вернулся, таща по земле полотенце:

— Во дворе на веревке сушилась!

Они почтительно уложили мельницу на подушку, укрыли полотенцем и сели вокруг.

— Как по древнему обычаю положено, как отцы-деды велели... — сказал петух Йондозбай.

Они еще посидели. Малахай спросил:

— И долго она будет отдыхать?

— Пожалуй, до вечера, — ответил петух.

— Так и будем до вечера сидеть? Хорошо вам, никаких забот у вас. А я — кот занятой!

Петух подумал, что давно бы пора обойти хозяйство, осмотреть, все ли в порядке. Цыпленок услышал, как мама Суарбике истошным голосом спрашивает у всех, не видел ли кто ее сына Айбулата. А щенок Ялай, который не мог усидеть на одном месте больше минуты, уже чувствовал, что пора ему мчаться куда-нибудь сломя голову. Все дружно поднялись с места.

— Куд-куда! — всполошился петух. — Нельзя оставлять мельницу одну. Будем сторожить. Как говорит дедушка Ибрагим, «стоять на посту».

— Зачем? — спросил кот.

— Украдут!

— На нашей улице воров нет! — гордо сказал кот Малахай.

— А лисица? Она вчера все слышала!

— Давай считаться, кто за кем стоит на посту! — сказал цыпленок.

Они быстро встали в кружок и посчитались.

Первым «стоять на посту» выпало петуху, вторым — цыпленку, третьим — щенку, четвертым — коту Малахаю.

Йондозбай «принял пост», цыпленок и щенок убежали, а кот Малахай спрятался за телегу и стал смотреть, как петух важно расхаживает вокруг подушки.

«Какой глупый петух! — подумал он. — Разве на посту стоят? На посту надо лежать. На правом боку, на левом боку. Можно и поспать. А этот — ходит взад и вперед!»

Йондозбай все так же ходил на посту. Поправит полотенце, которым вместо одеяла была укрыта мельница, посмотрит грозно по сторонам и — опять шагает по тому же кругу.

От такого кружения у кота голова тоже закружилась, все мысли рассыпались и перемешались. Он помотал головой и исчез.

## ПРОТИВНЫЙ ГОЛОС

Кот исчез, а петух все так же маршировал вокруг мельницы. Вдруг он остановился и глянул на солнце: какой же час?

И тут:

— Что же делать? Как же быть? — толстым противным голосом кто-то завыл из-за соседского забора. — Уже полдень, а петух не кукарекает! Останемся без полудня! Наверное, спит где-нибудь! Гоните его из курятника!

— А? Кто? Куда? — всполохился петух. — Зачем? Где? Какой? — Он забегал на месте, не зная, что делать, куда броситься. — Ай, полдень! Забыл! Прозевал! Где? Бегу-у! — и Йондозбай помчался было к воротам, с которых каждый день сообщал аулу свою важную новость. Но вспомнил о мельнице и понесся обратно: — Куда? Украдут! Ее!

Мельница была на месте. Тут петух немного успокоился и заметил, что тень от трубы их дома еще не дошла до соседского забора. Как только тень от трубы коснется его — тогда и будет полдень.

И Йондозбай снова принялся ходить дозором вокруг мельницы. «Кто же это хотел сбить меня с толку?» — думал он, бросая грозные взгляды на белые и желтые одуванчики.

### ГРОЗНЫЙ БАШКИСЭР\*

— Моя очередь караулить, дядюшка Йондозбай! — послышалось рядом.

Петух оторвал взгляд от одуванчиков.

— А не боишься? — спросил он.

— Нет, дядюшка Йондозбай! Ты разве не знаешь?

*Хоть на спинке желтый пух,  
Не цыпленок я — петух! —  
Когти — медны, клюв — булат.  
Только тронь — не будешь рад!*

— Расхвастался, стихотворец, не хуже Ялая, — сказал петух. — Ладно, передаю пост тебе! Если что — сразу зови на помощь!

Петух ушел, и вскоре по всем улицам разнеслась весть о том, что в ауле Кляш наступил полдень.

Тем временем Айбулат побегал, нарвал желтых одуванчиков и положил возле отдыхающей мельницы. Потом решил сочинить в честь нее стихи. Стихи лучше сочинять на ходу, и цыпленок тоже принялся ходить кругами, как и старый петух.

Стихи уже были почти готовы, когда из-за телеги выползло страшное существо. Даже рассказать, как выглядит это чудовище, будет нелегко.

Представьте себе что-то большое и страшное.

— Я страшный разбо-о-о-йник, я грозный Башкисэ-эр, — завыло, застонало чудовище. — Я ем курятину-у! Я люблю яичницу-у!

— Еще чего! — крикнул Айбулат, —

*Убирайся сам отсюда,  
а не то придется худо!*

Он прыгнул вперед и крепеньким клювом тюкнул разбойника прямо в повязку на глазу.

---

\*Башкисэр — головорез, разбойник (башк.).



— Ай, мой глаз! — взвизгнуло чудовище и бросилось прочь. Цыпленок успел вцепиться когтями ему в хвост. Чудовище заколотило хвостом по земле, скинуло Айбулата, взбежало на забор и исчезло у соседей. Цыпленок вспорхнул в воздух, но перелететь через забор не смог. Опустившись на землю, он выплюнул шерстинки из клюва и, пригладив свой растрепанный пушок, сказал:

— Яичницу он любит!

### ТАИНСТВЕННЫЙ КЫСТЫБЫЙ\*

— Эй ты, недозрелый одуванчик, чего задумался? — весело протявквал щенок Ялай. — Я здесь! Где пост? Готов принять! А я, Айбулат, тоже стихи сочинил! Вот слушай:

*Я лучший на свете сторож!  
Быстрее всех бегаю, громче всех лаю!  
Меня не запугать!  
Буду стоять на посту! —*

Ну, как?

— Хорошо. Только ты не стихи сочиняй, а смотри по сторонам. Тут разбойники ходят, Башкисэры всякие. Я одного в глаз клонул. Если увидишь кого-то кривого...

— Р-разорву! — тявкнул Ялай.

Цыпленок отлетел в испуге.

— Видишь, сам любого напугаю, — засмеялся щенок. — Громче всех лаю, быстрее всех бегаю! Нипочем мне Башкисэр!

— Ладно. Если что, зови нас! — сказал цыпленок. А стихи лучше немного подправить. Вот так:

*Лучший я на свете сторож —  
От ушей и до хвоста.  
Хоть пугайте, хоть ругайте —  
Не покину я поста!*

Айбулат убежал. Ялай быстро все обнюхал, затем принялся туда-сюда бегать, подкрадываться и бросаться на всяких букашек в траве. Когда же надоело, он решил придумать что-нибудь еще. Тут из-за угла их дома выкатилось что-то круглое.

— Ты кто? — тявкнул щенок.

— Я кыстыбый\*, — послышалось откуда-то изнутри кыстыбыя.

— А ты куда катишься? Ты вкусный?

— Я самый вкусный на свете кыстыбый. И достанусь только самому лучшему щенку. Который громче всех лает, быстрее всех бегает. Знаешь такого?

— Я громко лаю, я быстро бегаю! — сказал Ялай. — Еще я стихи сочинил.

— Даже стихи сочинил? О таком щенке я даже не мечтал! Ты имеешь полное право съесть меня. Что же ты стоишь? Докажи, что быстрее всех бегаешь! — и кыстыбый укатился за угол дома.

Ялай ринулся следом, но за углом никого не оказалось. Только на земле лежала старая шапка-малахай. Прежде ее не было. Щенок обнюхал ее. Кыстыбыем и не пахло.

\*Кыстыбый — башкирское национальное блюдо, вроде чебурека с картошкой.

Посмотрел по сторонам, туда-сюда бросился. Ничего похожего. Ялай вдруг подумал: «А ведь все это неспроста!» — И понесся обратно за дом.

Мельницы там уже не было.

### КТО ЭТО?

Ялай на всякий случай заглянул под подушку. Тоже пусто. Отчаянный лай разнесся по улице Черче. Никто не удивился, все и так знали, что наш щенок лает громче всех в ауле. Встревожились только Йондозбай с Айбулатом. Они тут же примчались к старой бане.

— Кыстыбий... — еле выговорил Ялай. — Нашу мельницу... украл!

— Кто-кто? Куда-куда? — запаниковал петух.

— Не знаю. Нет мельницы! И кыстыбья нет!

— Это Башкисэр! — подпрыгнул на месте Айбулат. — Я же тебе говорил!

— Забыл! — понурился щенок. — Он назвался Кыстыбием.

— Кто это — Башкисэр? — спросил петух.

Айбулат рассказал, как отбил атаку страшного и грозного разбойника, а Ялай про то, как этот Башкисэр притворился Кыстыбием и обманул его.

«Откуда же такой разбойник?» — задумался петух. Никогда прежде о таком и не слышали.

Ялай побежал за угол и принес в зубах старый малахай. Это он назвался Кыстыбием. Затем обнюхал ее. Шапка пахла... кем же?

Тут и цыпленок Айбулат побежал на место своего сражения с Башкисэром, поискал в траве и принес находку в клюве. Это была шерстинка. Длинная, рыжая, как у... кого же?

А петух подумал про отвратительные вопли, которые чуть не заставили его прокукарекать полдень раньше времени. Явно измененным голосом кричал... кто же?

— Лиса! — воскликнули все трое.

— Остается одно: взять у Ибрагима-бабая ружье и открыть охоту на лису! — сказал петух.

— Ура, на охоту! — обрадовался щенок. Он уже забыл, что прохлопал мельницу.

— Ты на охоту не пойдешь, ты еще пост не сдал, — сказал Айбулат.

— Да, а где дядя Малахай? — вспомнил Ялай. — Почему на пост не заступает? Всегда так, а потом собаки виноваты, — проворчал он.

## БЕЛЫЙ ФОНТАН

### Итоги конкурса поэтического перевода

*Удивительное — горькое, лирическое и философское — стихотворение Раиса Туляка «Белый фонтан» (оригинал и подстрочник смотрите в № 6, 2008 нашего журнала) вызвало настоящий поток переводов. В творческом состязании приняли участие несколько десятков человек — письма шли со всей республики. Свои силы пробовали и совсем неопытные, начинающие авторы, и уже известные поэты и переводчики. Мы благодарим всех участников и просим не бросать это увлекательное и достойное дело — поэтический перевод, — наращивать мастерство, присылать нам свои эксперименты в области поэтического состязания с оригинальным текстом.*

*В завершающем 2008 год номере был обнародован лонг-лист конкурса, и сейчас читатели могут ознакомиться с шорт-листом, куда вошли самые лучшие работы. Конечно, многие переводчики достаточно вольно обошлись с предложенным стихотворением, создав на его основе уже собственное произведение. Кто-то сумел передать один нюанс башкирского стихотворения, кто-то — другой. Оставленные в шорт-листе переводы не бесспорны, и жюри старательно выбирает победителя, который будет объявлен в конце января. Здесь авторы выстроены по алфавиту.*

*Приглашаем всех желающих обсудить представленные работы. Пишите нам на наш электронный адрес [br2002@inbox.ru](mailto:br2002@inbox.ru).*

#### ПЕРЕВОД КРИСТИНЫ АНДРИАНОВОЙ

То в осенний закован ты холод,  
То цветешь по весне, как тюльпан...  
Здравствуй тот, что по-прежнему молод —  
Синеглазый мой белый фонтан.

Не приветствуя снега вторженья,  
Вздых молитвой несешь в облака...  
Снов и мыслей моих отраженья,  
Без которого душит тоска.

Сколько раз горьких слез твоих лава  
Ввысь взлетала и билась о твердь,  
Столько раз моя кровь бушевала,  
Побеждая измены и смерть.

Мы с тобою как будто родные,  
В наших днях — пилигрима печать.  
Я покинул края дорогие —  
И по ним нам с тобою скучать.

Мы свободны — и словно в зиндане...  
Что бездушные нам города?  
Где не знал ты неволи страданья  
И каких родников ты вода?

Ты на цыпочках тянешься к Богу,  
Дом желая увидеть с небес, —  
Но кругом объездная дорога —  
И не мостик, не горы, не лес.

В белых брызгах твоих я читаю  
Не игру, а томления пыл.



Дикий конь, ты о воле мечтаешь —  
И в оглобле её не забыл.

Но теперь голубой своей кровью  
Дал железным артериям речь...  
Мы не можем, не можем с тобою  
Наших горестей панцирь рассечь!

В бессердечном металле несчастий  
Мы устали года прозябать...  
Только грезится мне: в одночасье —  
Мы свободными станем опять.

Не приветствуя горя вторженья,  
Вздых последний вернем в облака —  
И дождями прольемся, поверь мне!..  
Но сегодня простимся пока.

Не грусти без меня одиноко,  
Знай, что рухнет треклятый зиндан...  
Я вернусь к тебе, белый цветок мой —  
Синеглазый печальный фонтан.

---

#### ПЕРЕВОД АЛЕКСЕЯ КРИВОШЕЕВА

Иссякнуть с наступленьем холодов,  
Весной желанной распуститься вновь...  
Проточного цветенья белый вал,  
Привет, фонтан! Я по тебе скучал.

Суровою зимой ты не звенишь,  
Наверно, хрупок твой прекрасный стан.  
Ты сокровенных чувств и дум моих  
Живое отражение, фонтан.

Раз в тысячный низвергшись, как вулкан,  
И ударяясь оземь в тот же раз, —  
Десятки лет уж кровь моя, фонтан,  
Все не стихает, так же горячась.

Быть может, мы знакомы? Может, ты  
Примчался из родных моих краев?  
Как я тоскую по местам родным,  
Так ты — как знать! — свой вспоминаешь кров?

Чем городские камни омывать,  
Уж лучше орошать поля цветов.  
Откуда путь ты держишь — не узнать!  
И все ж, вода, каких ты родников?

Чтоб увидеть разок родимый край —  
Вскипаешь высоко, но видишь вдруг:  
Объезжая лежит дорога, ай  
Объезжая! — как жизни длинный круг.

В безудержном стремлении твоём  
Я узнаю томление и пыл,  
Как если бы — в телегу запряжен —  
Вдруг аргамак всю прыть свою явил!

Ни птичье пенье, лилий, ив привет —  
Тебя не провожают в дальний путь.  
Железным руслом вымощен твой след  
И каменной стопой сдавило грудь.

И я, как ты, устал! Но верю: всклянь  
Наполненные, возвратимся мы,  
Как облака, в родную глухомань,  
Прошелестим в степные ковыли.

Пока прощай! Нас двое — не грусти.  
Я вновь приду, и это не обман.  
А ты играй, как прежде, ты цвети —  
Журчи златым цветком, белый фонтан!

---

#### ПЕРЕВОД А. ПЕТРОВА

По осени под землю он ушел,  
ведь так суров зимы мороз трескучий.  
Весна настала — он опять расцвел,  
цветок прозрачный из воды текучей.

Привет, фонтан! Рад встретиться с тобой.  
Когда гляжу на светлых струй движенье,  
я вижу сходство в них с моей судьбой  
и чувств моих живое отраженье.

Как из вулкана, в небо бьет вода  
и падает, о камень ударяясь...  
Не так ли кровь все долгие года  
во мне кипит, ни капли не смиряясь?

Я ощущаю: что-то нас роднит.  
Быть может, ты — из мест, где я родился?  
Меня тоска по родине томит —  
и ты, наверно, тоже истомился.

Здесь моет камни города вода,  
что на луга рососою выпадала...  
Скажи: откуда приведен сюда,  
какие родники — твое начало?

Не для того ль,  
чтоб хоть разок родной  
увидеть край,  
ты рвешься выше, выше...  
Напрасно все.  
Путь дальний и кружной  
до мест, откуда ты однажды вышел.

Игривость есть в тебе и даже пыл,  
Но этот ритм какой-то напряженный  
(так аргамак, пока что полный сил,  
легко везет в упряжке воз груженный).

Никто не провожал тебя сюда:  
ни ивы плач, ни лилии, ни птицы  
(в железном русле ведь течет вода).  
Наверное, душа твоя всегда  
так мечется, стремясь освободиться.

И я устал. Но верю: в край отцов  
однажды мы когда-нибудь вернемся.  
Два облака собой  
заполнив до краев,  
Мы поплывем домой.  
А там — прольемся.

Сегодня же — прощай. И не грусти  
под ясным небом в день весны приветный:  
ведь я вернусь. Лишь ярче ты цветы,  
фонтан мой белый. Мой цветок заветный.

---

### ПЕРЕВОД РИММЫ САФИУЛЛИНОЙ

Хмурится осень — и гаснет цветок твой,  
Прекрасна весна — расцветаешь ты с ней...  
— Здравствуй, теплом возрожденная радость!  
Как же я ждал тебя, звонкий ручей!

Горек для нежного стана фонтана  
Холод зимы и тяжесть снегов...  
Белый цветок — ты мое отражение,  
Мыслей моих, моих чувств и стихов.

Тысячи раз поднимаешься в небо,  
С неба на землю ты падаешь вновь...  
Вот и во мне, не стихая, вихрится  
Десятилетий усталая кровь.

Может, знакомы мы, может — родные,  
Может, и ты из моих тех краев,  
Что сердце волнуют. По ним я тоскую,  
Тоскуешь и ты средь чужих берегов...

Лучше... скажи мне, конечно же, лучше  
Чистой росой омыwać лепестки...  
Как здесь оказался ты, как заблудился,  
Где твой исток, где родные твои?

Не для того ль ты вскипаешь высоко,  
Чтоб берег родной увидеть хоть раз?  
Но к дому дорога кружит далёко —  
Дорога в объезд — не прямая сейчас...



В быстром, игривом твоём поведении  
Видится мне томления жар —  
Так аргмак горячится в стремлении  
Сбросить оглобли, будто пожар.

Ивы плакучие, лилии, птицы —  
Рядом с тобою их нет, ты ничей...  
Русло железом сковали ... не спится...  
Тесно душе твоей, звонкий ручей...

Как я устал... Но найдем мы дорогу,  
К дому дорогу найдем, ты мне верь:  
Облаком белым, белым и чистым  
Вернемся. Прольемся дождем...  
Только верь...

Прощай на сегодня, мой друг одинокий,  
Ты не грусти, я вернусь, я приду.  
Цвети и живи, мой родник ясноокий,  
Звонкий цветок чистой воды!

---

### ПЕРЕВОД АЙДАРА ХУСАИНОВА

Исчезнет ли осеннею порой,  
Весной, глядишь, опять сияет нам.  
Привет тебе, цветок воды живой!  
Я по тебе соскучился, фонтан!

Зима — страшнее всех иных потерь —  
И не щадила, и не пощадит.  
Смотрю — и отражаюсь я в тебе —  
В тебе как будто жизнь моя кипит!

Вот снова в небо прыгнул, как вулкан,  
Вот повалился, хлещешь по земле.  
Десятки лет — хотя и не века —  
Такая ж кровь беснуется во мне.

Быть может, мы с тобою земляки.  
По тем просторам — родовым, степным —  
Тоскую я. Наверное, и ты  
Тоскуешь по краям своим родным.

Чем камни мыть вот этих городов,  
Была б росой чистая вода.  
Ты из каких заветных родников?  
Откуда привезли тебя сюда?

Чтоб край родной увидеть хоть глазком,  
Затем и рвешься в небо каждый раз?  
Но далеко до дома, далеко!  
Судьба всегда кругами водит нас.

Ты так игрив и весел, как чужак,  
Но эту ярость скрыть я не берусь —

Так мечется в оглоблях аргамак,  
Что рвет и тащит непосильный груз.

Ни птиц вокруг, ни лилий, ни зверей,  
Тебя зажали в страшные тиски.  
Чтоб из железа вырваться скорей,  
Душа, наверно, рвется на куски.

А я устал. Но чувствую одно:  
К родным краям мы все равно придем  
И чистоту, уж как заведено,  
Из облаков на землю мы прольем!

Ну не грусти, ну что ты, бог с тобой,  
Ведь суждено еще видаться нам.  
Цвети, цвети, цветок воды живой,  
Мой золотой, мой верный друг фонтан!

---

### ПЕРЕВОД СЕРГЕЯ ЯНАКИ

Сколько раз умирал ты в промозглую стынь,  
Столько раз я с тоски умирал.  
Сколько раз восставал из ледовых простынь,  
Столько раз я весной воскресал...

Нежной лилии стан и невесты фата  
В пенных струях привидятся мне...  
Где невеста моя, о мой белый фонтан?  
Да и сам я — в какой стороне?

Век ли минул, — всё рвётся в напрасную высь,  
И во мне та ж мятежная кровь.  
Бьётся оземь и птицей уносится мысль:  
Долететь до родных бы краёв.

Мы, по-братски обнявшись, тоскуем с тобой,  
Может быть, по одним берегам,  
Разделённым до боли знакомой рекой...  
Что ж не делится боль пополам?

Моешь грубые камни седых мостовых...  
Только в детстве, привстав на носки,  
Целовал ты глаза васильков голубых  
И росой умывал лепестки.

В руку сон: снова ввысь!  
Вот и тропка — домой.  
Значит, с Богом!.. ах, мой золотой,  
Объездная рукав к тебе тянет пустой.  
Нет дорог, кроме той — объездной.

Ты ли робок-несмел, норовист и горяч? —  
Что такому завалы и рвы?..  
Это кто ж повелел аргамака запрячь  
Да в оглобли хозяйской арбы?



Складно птахи поют. Ивы шепчутся всласть.  
Знать не знает в лугах черемша,  
Как, стальную рубаху не в силах порвать,  
Изнывает живая душа.

Вот и я изнемог. Но надежда, как тень,  
Возвращается пасмурным днём —  
Облаками, дождями налитыми всклень,  
Мы над родиной тихой пройдем.

А сегодня — прощай. Не грусти обо мне.  
Ты из праха земного — восстань!  
И опять, как цветок, расцветай по весне...  
Мы вернемся, мой белый фонтан!

# Литература. Культура. Имена.

---

\* \* \*



3 февраля 200 лет со дня рождения немецкого композитора, дирижера, пианиста и органиста **Якоба Людвиг Феликса Мендельсона (Мендельсона-Бартольди)** (1809—1847). Мендельсон один из классиков XIX столетия. Его имя известно всем по «Свадебному маршу». Именно он основал первую немецкую консерваторию в Лейпциге в 1843 году.

Мендельсон автор множества произведений в различных жанрах. Среди оркестровых сочинений выделяются программные увертюры: «Сон в летнюю ночь» (фрагментом которой и является «Свадебный марш»), «Морская тишь и счастливое плавание», «Фингалова пещера», «Сказка о прекрасной Мелузине», «Рюи Блаз». Из 5 симфоний Мендельсона наиболее значительны «Итальянская» и, особенно, «Шотландская».

\* \* \*



3 февраля 135 лет со дня рождения американской писательницы **Гертруды Стайн** (1874—1946). С 1902 года она жила в Европе. В период между мировыми войнами ее парижская квартира превратилась в художественно-литературный салон. Друзьями Гертруды Стайн были Пабло Пикассо и Анри Матисс, Эрнест Хемингуэй и Фрэнсис Скотт Фицджеральд, гостями ее салона были многие американские писатели «потерянного поколения». (Именно Стайн принадлежит авторство этого названия.) Автор формально-экспериментальной прозы в русле литературы «потока сознания»: повесть «Три жизни», романы «Становление

американцев», «Автобиография Алисы Б.Токлас», книг «Войны, которые я видела» и «Брюси и Уилли».

\* \* \*



9 февраля 135 лет со дня рождения режиссера, народного артиста **Всеволода Мейерхольда** (1874—1940). С 1898 года он работал в труппе Московского художественного театра, где сыграл 18 ролей. С 1902 года становится во главе «Товарищества новой драмы». С 1902 по 1905 год Мейерхольд осуществил постановку 170 спектаклей. В 1921 году организовал Высшие режиссерские мастерские, на базе которых позднее был создан Государственный институт театрального искусства (ГИТИС). В 1939 году Всеволод Мейерхольд был арестован и в ночь со 2 на 3 февраля 1940 года расстрелян в Бутырской тюрьме в Москве.

\* \* \*



15 февраля 445 лет со дня рождения итальянского ученого, одного из основателей точного естествознания **Галилео Галилея** (1564—1642). Галилея можно считать изобретателем первого телескопа, он установил закон инерции, законы свободного падения. От Галилея ведёт своё начало динамика. Галилей открыл горы на Луне, 4 спутника Юпитера, фазы у Венеры, пятна на Солнце. Активно защищал гелиоцентрическую систему мира, за что был подвергнут суду инквизиции, вынудившему его отречься от учения Н. Коперника. Только в ноябре 1979 года Папа Римский Иоанн-Павел II официально признал, что инквизиция в 1633 году совершила ошибку.



\* \* \*



19 февраля 140 лет со дня рождения армянского писателя, общественного деятеля **Ованеса Туманяна** (1869—1923). В своих произведениях он показал жизнь армянского народа, его фольклорные традиции, картины родной природы. Автор поэм «Лореци Сакко», «Маро», «Ануш», «Давид Сасунский» (эта поэма — лучшая обработка героических сказаний в армянской литературе). Армянские и восточные легенды лежат в основе многих баллад и поэм Туманяна (например, «Взятие крепости Тмук», на ее сюжет создана опера А.А. Спендиарова «Алмаст». С 1912 по 1921 г. О. Туманян был председателем Кавказского общества армянских писателей. В 1921 г. в Тифлисе основал Дом армянского искусства. В том же году он стал президентом комитета помощи Армении.

\* \* \*

20 февраля 280 лет со дня рождения актера и театрального деятеля, создателя первого постоянного русского театра **Федора Волкова** (1729—1763). В 1750 году Федор Григорьевич организовал в Ярославле любительскую труппу, на основе которой в 1756 году в Петербурге был создан первый постоянный профессиональный публичный театр. Как актер Волков исполнял роли героев, восстающих против тирании монарха в трагедиях Сумарокова. Среди ролей Волкова: Американец, Осольд, Хорев, Трувор, Ярополк («Прибежище добродетели», «Семира», «Хорев», «Синав и Трувор», «Ярополк и Демиза» Сумарокова). Для торжеств по случаю коронации Екатерины II Волков поставил маскарад «Торжествующая Минерва» (1763). В. Г. Белинский называл

его «движителем общественной жизни» и ставил его имя рядом с именем М. В. Ломоносова. В 1911 году театру в Ярославле было присвоено имя Волкова.

\* \* \*



26 февраля 445 лет со дня рождения английского драматурга и поэта **Кристофера Марло** (1564—1593). Известны такие его произведения, как пьеса «Трагическая история доктора Фауста», историческая хроника «Эдуард II», трагедия «Тамерлан Великий». Творчество Марло оказало огромное влияние на Шекспира. Предполагают даже, что он был соавтором Шекспира в некоторых его ранних пьесах. Помимо сценического жанра, Марло удачно применял свои таланты в поэзии, известна его поэма «Геро и Леандр», а также великолепный перевод «Любвных элегий» Овидия. Кристофер Марло внес истинную поэзию в английскую драму эпохи Возрождения. Он преобразовал драматическое искусство в первую очередь тем, что поднял его на высоту поэзии.

\* \* \*



26 февраля 140 лет со дня рождения **Надежды Крупской** (1869—1939). Надежда Константиновна была женой В.И. Ленина. Была секретарем редакции газет «Искра», «Вперед», «Пролетарий», «Социал-демократ». С 1917 года член коллегии, с 1929 года заместитель наркома просвещения РСФСР. С 1920 года — председатель Главполитпросвета при Наркомпросе. Автор трудов по педагогике, истории КПСС.

Подготовила Анна Ливич